

1988 № 3 (15)

МАРТ

РОДІННИК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА,

ПОЕЗИЯ,

КУЛЬТУРА,

ПУБЛИЦИСТИКА,

КРИТИКА



РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ И СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ, Г. РИГА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор),
ЭДГАРС БАНС,
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС,
ПАВЕЛ ВИШНЕВСКИЙ,
ГУНТАРС ГОДИНЬШ
(редактор отдела),
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС,
РОСТИСЛАВ ЗУБКОВ,
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора),
СТАНИСЛАВА МАРСОНЕ,
МИЕРВАЛДИС МОЗЕРС,
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ,
МАРИС ОГА,
ЯНИС ПЕТЕРС,
ЯНИС РОКПЕЛНИС,
БАЙБА СТАШАНЕ,
АЙВАРС ТАРВИДС
(ответственный секретарь),
АДОЛЬФ ШАПИРО.

РЕДАКТОРЫ:

РУДИТЕ КАЛПИНЯ,
ОЛЕГ МИХАЛЕВИЧ,
НОРМУНДС НАУМАНИС,
ЭВА РУБЕНЕ,
ТАТЬЯНА ФАСТ.

ПЕРЕВОДЧИК

ТАМАРА РИНГА.

КОРРЕКТОР

ЛИЛИЯ КРУГЛИКОВА.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТЕ МАЛИНЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ.

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

ЛИТЕРАТУРА

- АНДРИС КОЛБЕРГС. «Ничего же не случилось» (1).
«Из истории латышской поэзии». Янис Райнис (8).
ЗИГМУНДС СКУИНЫШ. «Хроника одной ночи» (12).
АНАТОЛИЙ НАЗАРЕНКО. Стихи (20).
ЕВГЕНИЙ ЗВЯГИН. «Бестолковые похороны» (21).
«Из истории русской поэзии». Четыре забытых поэта (24).
ЯНИС ШКАПАРС. «И было у отца три сына . . .» (27).

КУЛЬТУРА

- ДАЦЕ ЛАМБЕРГА. ««Синтезирующая простота» Екабса Казакса» (32).
ИНТЕРВЬЮ С РЕКТОРОМ ВГИКа (40).
СЕРГЕЙ ДАУГОВИШ. «Может ли фотография стать частью нашей культуры?» (43).
ВАДИМ РУДНЕВ. «Введение в XX век» (46).
АЛЕКСАНДР ЛИПКОВ. «Первые уроки» (49).

ПУБЛИЦИСТИКА

- ГРИГОРИЙ ПОЖЕНЯН. ««Нейтральный лидер» (52).
ИЛАН ПОЛОЦК. «Растут ли волосы на пятке?» (53).
ГРИГОРИЙ СИМОНОВИЧ. «Новое мышление требует мужества» (55).
АНДРЕЙ ФАДИН. «Воспоминания о непережитом» (58).
МАНФРЕДС ШНЕПС. «Мятежный род Баллодов» (61).
ИВАРС ЛЕДУС. «Кода» (66).
ЭДМУНДС РУДЗИТИС. «Самый здоровый наркотик» (68).

ЛИТЕРАТУРА

- МИКОЛА РАБЧУК. «Мы умрем не в Париже . . .» (72).
ПАВЛО МОВЧАН. «Слово былое и нынешнее» (73).
МОЛОДАЯ УКРАИНСКАЯ ПОЭЗИЯ (74).
ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ. «Скотный Двор» (76).

АНДРИС КОЛБЕРГС

НИЧЕГО ЖЕ НЕ СЛУЧИЛОСЬ

РОМАН

— Скажите, пожалуйста, Таня — это кто?
 — Наша дочь, — стиснув зубы отвечал мужчина. — Прописана она здесь, но живет в другом месте... Я скажу адрес...

— Где она работает?
 — В гостинице, администратором. Стыд, какой стыд...

Увидев Танину комнатушку, следователь сразу понял, что она из тех, где человек не может чувствовать себя счастливым, хотя и предпринимает отчаянные попытки произвести впечатление благополучия: красит стены в яркий вишневый цвет, продавленный диван застилает дорогим покрывалом, а дефекты мебели прикрывает кружевными и вышитыми салфеточками. В таких комнатушках с узким окном, выходящим в тесную и темную шахту двора, раньше ютились кухарки. Все здесь свидетельствовало о том, что квартиранты тут подолгу не задерживаются, ибо подобное жилище не может стать домом в том смысле, какой мы вкладываем в это понятие, а всего лишь кратковременным пристанищем.

У Тани ум был куда изворотливее, чем у матери: она избрала ложь, которую не сразу проверишь. В том, что она говорила, была логика, и лишь ее желание доказать правдивость своих слов казалось неискренним.

Не дожидаясь начала обыска, она выложила на стол десять штук часов «Tissot» — все были гонконговскими подделками, но она наверняка об этом даже не подозревала.

Таня призналась, что давала продавать часы не только матери, но и двум своим подругам — скрывать такое было бы глупо: при проверке квитанций в комиссионном магазине это все равно обнаружилось бы. Продавала и сама, и чтобы ей поверили, сказала даже, что двое часов из гостиницы с какой-то туристической группой прямоком отправились на Урал, но когда ей задали вопрос о вырученных за них деньгах, Таня заявила, что все до последней копейки вручила настоящему владельцу часов: «Товарищи, со спекуляцией у меня нет ничего общего — я жертва собственной доброты и желания выручить человека».

— Значит, владелец часов — ваш хороший знакомый, если уж доверяет вам свои ценности?

— Да.

— Стало быть, знаете его фамилию и имя, вам известен также его адрес?

— Мы были... как бы сказать... коллеги.

— Были?
 — Его примерно месяц назад арестовали.
 — Находится в заключении?
 — Да.

У следователя вертелся на языке вопрос: «А вы тем не менее продолжали торговать его часами?», но он припас его на потом, ибо не верил басне, что Таня продавала часы без всякой выгоды для себя. А почему продавала сейчас, было яснее ясного — чтобы получить деньги полностью.

— За что он арестован? — спросил москвич, наблюдая за своей подопечной. Он заметил, что и Таня пристально его изучает.

«После первой же дискомфортной ночи, которую ты проведешь в камере, сама попросишь, чтобы тебя выслушали, — усмехнулся про себя следователь. — Еще, может, и не всю правду расскажешь, но во всяком случае намного ближе к правде».

«Если пообещает не выдавать, откуда у него такие сведения и если мне это будет на пользу, я рассказала бы им не только про часы. Например, про Старика, — размышляла Таня, но, вспомнив бледное отечное лицо с мешками под глазами, сиплое дыхание и очкастого телохранителя Старика — подонка из подонков, — осеклась. — Нет, про Старика пусть выпытывают у Ромы! Так и скажу: спрашивайте Раусу — он знает!»

— За взятку, — ответила Таня безо всяких эмоций, мол, это факт. И все.

— Вы забыли назвать фамилию.

— Ах, да... Роман Романович Рауса — бывший директор ресторана «Ореанда». А я работаю по соседству — в гостинице. Попросил продать часы, мне было неудобно отказать, потому что он меня рекомендовал на работу в «Седьмое небо».

— И вы не спросили, откуда у него столько часов?

— Сразу мне это не пришло в голову... А потом казалось нетактичным навязываться с такими вопросами...

Конечно, самые лучшие истребители крыс — их природные враги, и в особенности сарычи, совы, вороны, ласки, кошки и пинчеры; но часто случается, что кошки не решаются вступать в борьбу с крысами, особенно с пасюками. Дэнз видел в Гамбурге, на берегу канала, собак, кошек и крыс, прогуливавшихся вместе совершенно весело и без малейшего желания начать войну между собой; я сам знаю

много примеров, что кошки не обращают внимания на крыс. Между кошками, как и между всеми домашними животными, есть хорошие породы, все члены которых с истинной страстью ведут войну с крысами, хотя вначале им стоит большого труда справиться с зубастыми грызунами. Одна из наших кошек ловила уже крыс, когда еще достигала одной трети настоящего своего роста, и преследовала их с такой энергией, что раз дала огромной крысе протащить себя по всему двору и поднять до половины стены, не выпустив из когтей своего врага; наконец ловким движением она обезоружила крысу. С этого дня кошка стала самым отъявленным врагом крысиного рода и почти очистила от него двор. Впрочем, нет особенной надобности, чтобы кошка ловила усердно крыс: она выгоняет их уже тем, что бродит по сараям и амбарам, по погребам и кладовым. Крысы действительно чувствуют себя неловко, когда этот страшный враг близко. Тогда им нет ни одной покойной минуты. Неслышно крадется враг в ночной темноте, ни одним звуком, ни одним движением не выдаст он своего приближения, во все щелки заглянут зловеще-блестящие глаза, он сидит на самых бойких дорогах и ждет. Не успеешь оглянуться, как он нападет и схватит крепкими когтями и острыми зубами так сильно, что спастись нет возможности. Такого рода положения крысы не может выносить и уходит в места, где может жить более покойно, поэтому кошка становится все-таки лучшим помощником человека в деле изгнания этих докучливых гостей.

Потом в «Ореанде» никто уже не мог вспомнить, кто именно принес новость об аресте Романа Романовича Раусы. Может, кому-то сообщили по телефону?

В арест Раусы, конечно, не верили: «неправда!» Ничего подобного не могло быть по той простой причине, что этого не могло быть. «Нашего директора?.. Да за такие слухи по морде надавать!»

Может показаться странным, но когда в ресторане узнали, что Ималда выстрелила в Романа Романовича из дуэтовки с расстояния нескольких шагов, никто и не подумал, что это может быть шутка. Ну и что — глупая девчонка влюбилась в него — от такой жди чего угодно. Им, рациональным и практичным, хотелось быть свидетелями чего-то романтического и потому непонятного, похожего на необъяснимое чудо. Они понимали, что чудеса еще встречаются в этом мире, но боялись обнаружить свою тягу к романтическому, поэтому вслух девушку осуждали:

«Идиотка! Психопатка! Он что — ее тискал? А мне казалось, у него совсем другая!»

«Какое-то время вроде бы, странно... А фигура у нее и в самом деле классная!»

«Я всегда говорил — крутить можно только с замужними!»

С волнением ждали вестей из больницы — другого директора не хотели. С Раусой все сработались, во время его правления «Ореанда» цвела пышным цветом и для холодных закусок всегда находились разные деликатесы, красная и черная икра или по крайней мере, кета, если уж ничего лучше в «резерве» на складе не было. При прежнем директоре ничего подобного они не видели — изо дня в день готовили жареное филе трески да заливную говядину. А много ли может иметь официант с жареной трески? Копейки! Вообще-то, старый директор был неплохой человек, только вот не умел срабатывать с начальством и снабженцами. А занял его место Рауса — все сразу изменилось. Как говорится, хватало и нашим и вашим. Во времена Раусы ни о ком не забывали — каждому перепало от жирного пирога, даже для уборщиц сбрасывались в конце смены по двадцать копеек, но тогда уж и в зале и в вестибюле все блестело и сверкало — приятно войти!

Ималда стреляла мелкой дробью, а Рауса был одет в атласный халат на вате. Первый выстрел, правда, свалил его на пол и лишь несколько дробинок пробило халат, а второй — в том патроне дробь была набита в контейнер и потому практически не рассеялась — пришелся в пол рядом с Раусой и выбил дырку величиной с чайное блюдце, оторвав от доски длинную щепу. «Вот если бы вторым выстрелом она угодила в Раусу — тогда б ему как! Патроны-то старые, и наверное

в первом не весь порох загорелся. Капсулы тоже хреновые, были бы длинные — «жевелю», она его даже пыжами уложила бы!»

Когда выяснилось, что жизни директора ничто не угрожает, да и здоровье его не так уж сильно пострадало, официанты на радостях напились, причем даже всегда воздерживающийся Леопольд принимал участие: «Да, но он был на волоске от смерти!»

Кто-то рассказал, что и Ималду милиция привезла в ту же больницу, куда доставили Раусу, и там ей перевязали раненную правую руку. Знатки поясняли — рана у нее от того, что ствол слишком близко держала у спускового кольца.

«При сильной отдаче я видел однажды, когда... С пальца все мясо долой!»

«У нас тоже как-то на охоте был случай...»

«Ну разве не чокнутая! Точно, чокнутая!»

«У этих малолетних бандитов вообще в котелке пусто! — говоривший выразительно постучал себя по виску. Он был уже под парами. — Вытаращат глаза: один, как говорится, на нас, другой в Арзамас и кайфуют под громовую музыку. Откровенно говоря, их я боюсь больше, чем обэхээсников... Никогда не узнаешь, что таким может взбрести в башку!»

Но вот в день самых противоречивых слухов наступил час ежедневного обхода, а Раусы все не было. Персонал «Ореанды» забеспокоился. Что, если все же правда? Нет, не может быть! Исключено! Хотя... В последнее время чего только не было: кое-кого даже с самых верхов забрали и посадили.

«Как они там разбираются — кого посадить, а кого оставить? Тогда уж проще все торги обнести забором с колючей проволокой!»

Леопольд, придумав повод средней важности, решил позвонить Раусе домой. Трубку подняла жена Романа Романовича и сказала, что он где-то задерживается, но на работу заедет непременно. Однако Леопольд заподозрил, что она старается поскорее свернуть разговор, больше того — ему показалось, что рядом с ней кто-то стоит и приказывает, что именно говорить.

«Ореанду» начали заполнять первые посетители — то были «торжественные», а не свои, постоянные. И хотя ощутимых благ от таких Леопольду не перепало — приобретали билеты они заранее — Леопольд любил их больше. «Торжественные» привносили какую-то особую атмосферу праздника, им все в ресторане казалось значительным и красивым. А Леопольд именно к этому стремился всю жизнь, потому и старался услужить им во всем.

— Сюда... Сюда, прошу вас... — провожал он к столикам на указанных в билетах места, предупредительно усаживал дам, и, вручая меню в папочке из искусственной кожи, проникновенно говорил: — Желаю приятно провести вечер!

В такие минуты Леопольд был центром всей «Ореанды», да и сам он чувствовал свою значительность, но вовсе не потому, что ему платили чаевые. Он незримо присутствовал в зале, следя за работой официантов.

Вот почему те невероятно удивились, заметив, что Леопольд одевает плащ и шляпу.

— Сбегаю в трест, — пояснил Леопольд, глянув на часы. — Там, наверное, еще кто-нибудь есть!

И хотя до треста было рукой подать, он запыхался от быстрой ходьбы.

Внизу, у лестницы, он оперся обеими руками на перила и решил чуть-чуть перевести дух: спешить уже некуда, теперь никто из трестовских мимо него не проскочит, если раньше времени не смыслил с работы.

На лестничной площадке пролетом выше висела витрина — Доска почета с портретами лучших работников. Роман Романович — первый слева.

Вдруг Леопольд увидел, как кто-то спустился по лестнице, остановился перед витриной, вынул из кармана ключик, открыл витрину и сорвал портрет Раусы. Фотография была приклеена основательно и сдирать ее пришлось по кускам.

Ошарашенный Леопольд даже рот открыл — в человеке он узнал начальника отдела кадров.

Справившись с делом, начальник отдела кадров повернулся и тут увидел Леопольда.

— Не оправдал нашего доверия, — по щекам кадровика текли искренние слезы — такие крупные и чистые, какими плачут только по своей, а не по чужой судьбе. — Совсем не оправдал нашего доверия! — и швырнул обрывки фотографии на пол рядом с плевательницей.

Поскольку причина ареста Раусы оставалась неизвестной, в «Ореанде» тут же предприняли элементарные меры предосторожности: официанты без промедления очистили свои шкафчики от банок с малосолевой лососиной и от «криминальных» — купленных в магазине — бутылок с водкой. Стакле приказал принести из холодильника большую говяжью ляжку, смолоть и добавить к уже готовому котлетному фаршу, предназначенному для продажи в магазине «Илга». Булочки в кондитерском цехе в тот день выпеклись необычайно жирные и слоистые, и в фирменном напитке на настоящем лимонном соке, а не на лимонной кислоте, как обычно, плавали настоящие дольки настоящего лимона. Однако никакой проверки не последовало и в конце концов все пожалели о таких крайностях.

Потом обсудили, что можно, а чего нельзя говорить следователю, если вызовут в качестве свидетелей.

Самое главное теперь было выяснить, за что арестовали Раусу. А как это сделать? Никто даже предположить не мог, что среди них находится человек, который об аресте Раусы знает все — вплоть до мельчайших подробностей.

Роман Романович Рауса был одним из первых, кто пал жертвой указа о борьбе с пьянством, изданного в тысяча девятьсот восемьдесят пятом году, хотя сам никогда не напивался, да и подчиненным не позволял. Однако обстоятельства, как известно, иногда бывают сильнее людей, даже если они являются директорами ресторанов.

Об ожидаемом указе заговорили еще рано весной и, как всегда, сведения поступали из надежных источников, хотя были противоречивы. Конечно, речь не шла о таких ужасах, что всех пьяниц моментально перестреляют, но и не сомневались в том, что репрессии будут серьезными. Коллективу «Ореанды» грядущее теперь рисовалось темно-серым: повсюду носились слухи, что каждому посетителю будет позволительно выпить за целый вечер лишь по сто граммов алкоголя. «Тогда пусть работают другие! Я за голую зарплату не могу вкалывать, да и не собираюсь!» Были и оптимисты: «Лет десять назад уже пытались покончить с пьяницами, только не прошло и месяца, как указ похоронили и сверху венки возложили!» Но никакие оптимистические разговоры не могли успокоить встревоженные умы, ведь высокопоставленные и сверху руководящие работники, служебные «Волги» которых раньше ночи напролет простаивали у дверей, пока те предавались веселью — некоторые при этом разоблачались по пояс, оставив один только галстук, — вот они-то больше не показывали в «Ореанде» и носа. Уж кто-кто, а руководящие работники знали, откуда и какой ветер подует! В ожидании беды — а она походила на ураган, разгулявшийся над Южным морем и стремительно приближающийся к густо обжитым островам — у некоторых сдали нервы: два официанта расстались со своими фиолетовыми смокингами и устроились в пункт приема стеклотары, третий подался в дежурные на бензоколонку. Такой хлеб хоть и с черствой коркой, а покажется хорош, когда вообще порядочных мест не будет, потому что все дадут деру.

«Кабак без водки — все равно, что девка без титек».

«Еще хуже! Для нас, бедных официантиков — и того хуже...»

Именно в столь напряженное время ожиданий, полное слухов и беспокойства, какой-то родственник предложил буфетчику «Ореанды» перейти в гриль-бар, который в Межапарке открыл один из богатых колхозов Рижского района. Помещение там было небольшое, но оформлено со вкусом, имелась и новая импортная установка для за жаривания кур — за стеклом на вертеле с шипением жарились аппетитные коричневые цыплята.

Еще год назад подобное предложение просто оскорбило бы буфетчика — разве на цыплятах заработаешь? Вот помешивай-ка коктейли, тогда увидишь, как потекут денежки!

Однако теперь буфетчик смотрел на будущее совсем другими глазами: уж едоков-то новый указ наверняка не затронет, во всяком случае, ни о чем таком пока не говорили. Жареных цыплят продают в гриль-баре на вес, значит, будь психологом да присматривайся, кого обслуживаешь, — потребует, например, этот в присутствии своей дамы сердца, чтобы цыпленка еще раз взвесили или нет, да и кофе, говорят, там разливают не из автомата, а из кастрюли. Стало быть, существовать можно вполне сносно, надо только разузнать условия приема на работу. Ведь все всегда имеет свои условия — и при приеме на работу, и при увольнении, да и в самой работе... «Вот пиво как янтарек, а не пьешь — так дурачок...»

Второе действие трагедии внешне довольно безбидно начиналось с автомобильного рынка в Румбуле, куда в последние месяцы регулярно наведывались старшая посудомойка Людмила Пожарецкая и ее фактический муж Юрка.

Они хотели купить «Запорожец».

Без спешки, потихоньку — нам не горит! — и без переплаты. А если точнее — они хотели приобрести автомобиль с небольшим пробегом по стоимости металлолома. Люда накопила три тысячи, сестра обещала одолжить еще одну. Наблюдательный человек заметил бы, что появление супружеской четы на автомобильной площадке вызвало испуг у желающих продать машину. Она — уже в годах, рыхлая, густо покрашенная, он — сухощавый, кудрявый, в расцвете лет. Оба были исполнены достоинства — жена держалась за локоть мужа.

— Вот этот... цвет мне нравится, — показывая пальцем, громко объявила Люда. — Подойдем... Посмотрим...

— Сколько хотите? — спросил Юрка.

— Три с половиной, — ответил владелец.

— Совсем совесть потеряли! Никакой меры не знают! — воскликнула Люда еще громче.

— Перекрашена! — раздался голос Юрки с другой стороны машины. — Причем видно, что перекрашена!

— Вы что глупости болтаете! — владелец «Запорожца» опустил стекло. — Посмотрите на спидометр — машина почти новая!

— Он мне будет рассказывать про спидометр! Да нынче любой мальчишка умеет крутить его взад-вперед!

— Вы... Вы... Как вам не стыдно!

Юрка достал из кармана и раскрыл перочинный нож, намереваясь поковырять краску, дабы доказать, что под верхним слоем старая. Оказывается, что ковырять он начал еще до разговора с хозяином машины — в одном месте было сильно поцарапано. Владелец «Запорожца» с криком «Что вы делаете!» выпрыгнул из салона с такой прытью, словно его катапультировало из кабины горящего истребителя.

— Вы приехали сюда машину продать, а я — купить. Имею право осмотреть товар досконально! — Юрка громко втолковывал хозяину машины.

— Ты... Ты... Болван! Пошел вон! Ничего я тебе не продам! Другому вообще отдам задаром, а тебе не продам!

— В таком случае здесь, на базаре, стоять вы не имеете права! — вопила Люда. — Еще оскорбляет! Смотри, старый козел, угодишь на сутки!

— Ничего я вам не продам! — Владелец «Запорожца» почему-то тоже начал кричать. — Ничего! Убирайтесь отсюда!

— Нас обмануть не удалось, так теперь других будешь дурачить! Спекулянт проклятый, насосался, как клоп, крови честных людей! — визжала Люда. — Никто твою помятую консервную банку не купит! Надо быть совсем безглазым дебилом, чтобы брать такое барахло!

Слаженная супружеская пара нагнала такого страху на продающих машины, что при ее приближении некоторые сразу выходили из автомобиля, торопясь сообщить: «Извините, но я уже почти продал!»

Покупка автомобиля и посещение рынка скрашивали жизнь Люды и Юрки, как их предкам три поколения назад скрашивали жизнь церковные праздники с яркими ритуалами. Теперь их мысли целиком были заняты предстоящей покупкой, резко изменился их социальный престиж на ра-

боте, где они постоянно заводили разговоры о машинах, а не о вчерашней передаче по телевизору.

Юрка вообще был в выгодном положении — в его бригаде еще никто не имел собственной машины, хоть мужики и неплохо зарабатывали, но семейному человеку трудно скопить такую сумму даже при приличном заработке.

Товарищи едва услышав что-то о машинах, спешили сообщить Юрке: «У «Запорожца» ненадежный коленвал!», «С мотором в тридцать лошадиных сил не бери — в жару, говорят, сдает охлаждение!»

Один из них нашел по соседству гараж, который сдавали внаем, и Юрка с Людой отправились осматривать, но забраковали по причине недостаточной вентиляции. Владелец потом вышиб в торцевой стене несколько кирпичей, а двери изрешетил дырками, после чего в гараже гулял такой сквозняк, что шапку с головы срывало.

Супруги вдруг стали людьми, с которыми следует считаться, благосклонность которых может пригодиться — рыболовы упрашивали, чтобы Юрка отвез их в налимьи места, и будущий автовладелец великодушно обещал, но предупредил, что бензин им придется оплатить — слишком нынче дорог. Юрка с Людой вдруг заважничали, в любом разговоре упоминали о своих накопленных тысячах, словно тысячи придавали особую мудрость высказываемым ими мыслям. Львиная доля почета доставалась, конечно, Юрке, ведь в «Ореанде» почти каждый имел собственную машину. А Люда, всякий раз словно невзначай заговаривавшая на эту тему, обычно и подытоживала: «Твой «Жигуль» — дерьмо — слишком тонкая жесь!»

Однажды Люда пришла домой с работы какая-то взволнованная, чего раньше за ней не замечалось, и заговорила с Юркой вполголоса, словно боялась, что ее кто-то подслушает:

— Юрочка, дорогой, мне намекнули на место буфетчицы...

— А куда прежний денется?

— Нашел для себя кое-что посолиднее. Тот еще фрукт — и в огне не сгорит и в воде не утонет!

— А что — в буфете разве выгоднее?

— Конечно, Юрочка! Такое место предлагают раз в сто лет! Оно три тысячи стоит! Я-то свой человек: столько лет там работаю, все мне доверяют, знают, что не заложу их. Да и работа совсем другая — за стойкой, в красивом платье, музыка...

— Три тысячи! Сдурела? — Но тут же прикусил язык, ибо в ресторанных делах не разбирался, к тому же Люда ни разу не дала повода упрекнуть ее в том, что транжирит деньги. — А как сама думаешь?

— Неделю работать, неделю отдыхать... Думаю, за смену сотня чистыми там набегает...

— Что — в день?

— А то как же? Конечно, в день. Ведь буфет! Бутылку коньяка по графинам разольешь — пятьдесят граммов твои. Можно и в магазине купить, а в буфете продать — вот тебе и денежки!

— Тебе старый буфетчик сказал?

— Как же, как же! Такой жук разве скажет! Но я-то вижу, как он каждый год новую машину покупает. Вот совсем недавно купил восьмую модель «Жигуля»... Чуть-чуть поедит и загонит. Говорит, не нравится, мол, седьмая лучше — будет покупать ту!.. Я другого боюсь, Юрочка, — все болтают про сухой закон...

— Ерунда! Русский народ без водки не может! — Следует заметить, что русскими он считал почти все известные и неизвестные ему народности. — Как без водки план выполнят? А план у нас — закон! Хоть сдохни, а план должен быть!

И вот в конце мая месяца улыбающаяся и благодушная Люда встала за стойку буфета. Ко всем она обращалась на «вы». Свою грубость вместе с грязным халатом она оставила в посудомойне, но при этом Юрка все же пострадал — дома Люду он видел только с бигуди.

Первого июня буфетчица со спокойной улыбкой сведущего человека: ничего, ничего — побесятся и перестанут! Внимательно, как дисциплинированный работник, выслу-

шала новые инструкции и наливала посетителям только по сто граммов водки или двести — менее огненного напитка.

В июле появились все признаки крушения надежд, а в августе уволилась большая часть официантов. «Раз перекрыли кислород, пусть теперь переходят на самообслуживание!»

Люда направилась к директору — за справедливостью. — Роман Романыч, — захныкала она. — Мы с таким трудом накопили... Муж ругает, бьет и выгоняет из дому... Отдайте обратно, Роман Романыч, пусть этот буфет возьмет кто-нибудь другой... Извините за беспокойство, но верните все же!

— У меня нет... Я же не для себя брал... Будто не знаешь! — Рауса вскинул выразительно глаза кверху, дав понять, что жирная взятка поступила к богам. — Я поговорю... Но по-моему, ты напрасно разволновалась — все уладится...

— Все соки да соки, соки да соки... Разве на них заработаешь?

Директор «Ореанды» и в самом деле надеялся, что все обзаведется, вернется на круги своя.

Теперь им крепко доставалось! Друг от друга, в зависимости от подчиненности! Ресторанам планы не подкорректировали, как ожидали, и их выполнение давалось великим трудом. Центром, откуда поступали доходы, стали кухня и кондитерский цех, там пришлось увеличить объем работ, а магазин кулинарии не справлялся с продажей полуфабрикатов. Стакле предложил распродавать полуфабрикаты на заводах, но неоткуда было взять транспорт. А тут еще эта Люда! «Отдайте!» В силу особых правил, деньги действительно не целиком достались Раусе. Он, конечно, и не подумает звонить кое-кому: «Отдайте, она передумала!» Ведь знала, что именно покупает, да и цена отвечала создавшейся ситуации.

Леопольд, правда, возражал против перевода Люды, но в таких делах не за ним последнее слово, да и не было среди других кандидатов такого, кто мог бы сразу отсчитать три «куска».

«Ладно, нечего ломать голову, все давно уже быльем поросло! Она ничего не давала, а я ничего не брал!»

Автомобильный рынок с перепуганными владельцами «Запорожцев» теперь казался супружеской чете прекрасным прошлым.

Юрке на работе в связи с его угасшим интересом к покупке автомобиля пришлось проглотить не одну пилюлю, но когда в раздевалке к Юркиному шкафчику приставили велосипед без колес с надписью: «Не трогать мой «Запорожец!»», терпению его пришел конец.

— Пойду к прокурору и все тут! — сообщила Люда, узнав, что дающий взятку освобождается от уголовной ответственности в том случае, если раскаивается и сам заявит в милицию.

— Свидетели были? — издевался Юрка и тут же отвечал: — Не было! Не докажешь!

— По крайней мере перепугается и отдаст!

— Эх, деревня ты, деревня!

Плохо, когда противника недооценивают... Ведь бывает и так: во всем тупица тупицей, а оказывается силен, например, в шахматах и способен рассчитать вперед пять-шесть ходов.

Роман Романович Рауса влип как последний идиот, во всяком случае, именно так потом он оценил ситуацию, хотя расчет Юрки и Люды был тонко психологически продуман.

Явившись снова к директору, Люда о деньгах даже не заикнулась. Пришла с другой просьбой:

— Роман Романыч, отдайте мне павильончик в Юрмале... Ведь там все равно кто-то должен работать, а мне в буфете трудно...

— Хорошо, я подумаю. Зайди завтра!

Павильончик — не такое уж райское место — там продавали пирожные, кофейные булочки и другую продукцию кондитерского цеха, а из напитков — только лимонад и минеральную воду, кроме того, работал лишь во время купального сезона.

Чем Люду привлек павильон? Левый лимонад? Левые бу-

тылочки? Директор пожал плечами, ничего не разгадав, и махнул рукой. Но, как настоящий торгаш, знал: если кто-то чего-то хочет, значит согласен платить. А посему — глупо полениться поднять деньги, которые валяются прямо у ног, даже если это не тысячи.

— Роман Романыч, я насчет павильончика...

— В тресте мы говорили... В сущности, они не возражают... — Рауса поднял кверху два пальца, а чтобы Люда не поняла его превратно, добавил: — Сотни...

— Хорошо, хорошо... Завтра...

— Завтра я весь день на работе.

Гражданка Людмила Пожарецкая заявила в милицию со слезливым признанием: по состоянию здоровья была вынуждена просить администрацию «Ореанды» перевести ее на другую работу. Директор предложил должность буфетчицы, но потребовал пять тысяч, которые она, не сознавая, что делает, ему вручила. Почему сумма с трех тысяч вдруг выросла до пяти? Да чтоб справедливо было: «Запорожец» тоже подорожал, и теперь ей, может, долго придется ждать, пока с бандита Раусы получит всю сумму. А если бы ее денжки лежали в сберкассе, то получила бы проценты, ведь так? Люда с Юркой ни минуты не сомневались в том, что деньги с Раусы взыщут и они свое получат.

— У вас есть свидетели?

— Нет, но он опять требует... Двести рублей...

За сим последовало почти классическое мероприятие работников по внутренним делам. Невидимыми чернилами в ассигнациях написали «Взятка Р. Раусе» и Люда вручила деньги директору, после чего Раусу тихонько арестовали и увели. Когда деньги, оказавшиеся в кармане директора, в его же присутствии обрызгали специальным химическим раствором, на них отчетливо проступила надпись «Взятка Р. Раусе». От испуга и неожиданности у него отвисла челюсть.

Как только в ресторане стало известно, кто и каким образом завалил директора, Люда с перекошенным от злобы лицом закричала:

— Такому прямая дорога в тюрьму! У нас в стране справедливый закон! Я вас, жлобов, всех на божий свет повытаскиваю!

Людмила Пожарецкая была материально ответственным лицом за посуду.

Вдруг у нее стали пропадать тарелки и рюмки. Понемногу, но каждый день. Люда пристально следила за официантами и работницами кухни, пожаловалась Леопольду, но ничего не помогало.

Стоимость исчезнувшей посуды у Люды вычли из зарплаты, но она почему-то не поднимала шум, как раз наоборот — стала тише воды и ниже травы.

Не помогло и это — посуда все пропадала. У Люды снова вычли из зарплаты.

Пожарецкая написала заявление и уволилась из «Ореанды» по собственному желанию.

Следователь испытывал странное чувство.

Потому что допрашиваемый вел себя странно.

Следователь медленно вынимал из папочки документы и раскладывал их на небольшом простом письменном столе, у которого не доставало ящиков — просто они были здесь не нужны, зато ножки крепко привинчены к полу, как и у табуреток по обе стороны письменного стола.

Помещение для допросов было переоборудовано из бывших камер-одиночек, снаружи по коридору взад-вперед ходила стража, изредка заглядывая в окошечки дверей.

Следователь медленно раскладывал документы, чтобы собраться с мыслями. С пострадавшим при таких обстоятельствах он виделся впервые.

Роман Романович Рауса вынул из кармана ватника пачку сигарет «Pall Mall» и, не спросив разрешения, закурил.

— Я привык к хорошим сигаретам, от дрянного табака по ночам у меня начинается кашель...

Оправдывается?

На дне папки следователь нащупал шариковую ручку.

Забыв, что у табуретки нет спинки, Рауса откинулся назад. Тогда он заложил ногу за ногу и продолжал сидеть так.

Следователю вдруг подумалось: бывший директор «Ореанды», видно, мысленно все еще в своем кабинете, как во время приема посетителей.

— Вы уже получили заключение из психиатрической больницы?

— Еще нет, — отвечал следователь.

— Что-то долго вы возитесь, не уложите в срок! Что касается меня, то заявляю, что к Мелнаве претензий не имею. Если судить объективно — ничего же не случилось. Лично я считаю, что девчонка совершила преступление в состоянии аффекта. Я много над этим думал, но иначе объяснить ее поведение не могу. Я Ималде делал только добро. Даже уволена она была для ее же блага — чтобы одна не противостояла всему коллективу.

Бывший директор искренне так думал — он даже не заметил недоумения в глазах следователя.

— Кто звонил в «скорую помощь»? Я проверил — вызов по адресу Ималды Мелнавы зарегистрирован.

— Если бы она оказалась в больнице, все от этого только выиграли бы. Но прежде всего она сама! Дальнейший ход событий неопровержимо доказывает это.

— Может, я неясно сформулировал вопрос?

— Вы подозреваете, что звонил я? — Рауса, казалось, даже повеселел. — С вашего позволения... — он закурил еще сигарету. — Признаться: мне такая мысль на ум не пришла! Думаю, кто звонивший так и останется в ваших бумагах «неизвестным лицом». Наверняка это был кто-то из «Ореанды»... Если индивид противопоставляет себя коллективу, он обречен на проигрыш!

— Да, но коллектив противопоставил себя обществу!

От этих слов Рауса буквально рассвирепел, подскочил, но тут же сел на место.

— А что выиграло общество? Что? В этой самой «Ореанде»? Нерегулярно, но до меня все же доходят сведения о происходящих там переменах... Программа варьете ниже всякой критики, помещения и даже посуду моют кое-как, из старых официантов осталось всего несколько человек, а новые не умеют и не хотят прилично обслуживать, кухня стряпает невкусно, потому что качество продуктов низкое. Хороших продуктов им не видать!.. Надо уметь работать с людьми и каждого заинтересовать! Для посетителей вечер в «Ореанде» уже стал не праздником, а испытанием нервной системы: им приходится слышать не только косвенные, но и прямые оскорбления! Вот чего вы, слуги закона, добились, вот он, ваш подарок обществу!

— Мы уклонились от темы! — сухо сказал следователь. Он знал, что Рауса прав. Знал и то, что много еще таких, кто убежденно говорит: «У нас честно работать невозможно, вам наша честность невыгодна — станет еще одним лишним бременем!» И есть должностные лица, которым удобно слышать подобные мнения — благодаря им и возникают легенды об объективных причинах, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Усталый человек медленно поднялся по лестнице на шестой этаж.

Открыл дверь, у порога разулся, неторопливо переделся — натянул измазанный известкой комбинезон, туфли и, недолго поразмыслив, сложить или не сложить из газеты шляпу, решил работать сегодня без нее. Зашел в кухню, помешал в ведре синтетический клей для обоев — уже достаточно разбух, — осмотрел свои орудия труда, выстроенные красивым рядком вдоль стены: сто и стошестьдесятимиллиметровые шпатели, разные кисти, пакетики с сухой краской, клещи, рубанок, молотки.

Выбрал макловицу, взял ведро с клеем и, осмотрев углы потолка, — не надо ли подбелить? — направился в комнату.

— Добрый вечер! — приветствовал он Хозяина.

Иногда ему казалось, что Хозяин смотрит на него доброжелательно, иногда — с ненавистью. Усталый человек понимал: это все фантазии, потому что картина — нечто неподвижное, застывшее, а причина разного ее восприятия в его собственном неустойчивом настроении.

Он приоткрыл окно, которое оставил вчера открытым, чтобы лучше проветривалось и сохло — наступала мягкая теплая

ночь угасающего лета, и человека все время клонило ко сну.

— Извини, что опять пришел поздно и нарушаю твой покой, но в другое время не могу. У меня много детей и, стало быть, мало денег, но лучше уж так, чем наоборот. Трое их. Нынче это много, хотя у тебя самого наверняка было три брата и три сестры, но даже столько раньше считалось «так себе — не много». Мастеров нанимать мне не по карману, потому и приходится делать ремонт самому.

Ему было жаль, что, пожалуй, никогда не узнает имя Хозяина, за что тот имеет Лачплесиса третьей степени — орденом награждали только за личную отвагу в бою и вручали вместе с описанием конкретного подвига.

— Довольно болтать, пора за работу!

Повернулся спиной к Хозяину, взобрался на стремянку почти под самый потолок и начал равномерно наносить клей на стену, размышляя об ордене и геройстве и о том, что геройство никогда не награждается соответствующим образом: вот хоть ты — во фраке, а квартира на шестом этаже. Вряд ли тогда тебя заботило улучшение собственного кровообращения и сердечной деятельности. Шестой этаж — скорее свидетельство скромного достатка. К тому же истинное геройство не жаждет вознаграждения, а скорее является внутренней потребностью в конкретный момент — те, кто не способны на геройский поступок и осознают свою неспособность, считают его ограниченностью и даже глупостью. Если бы геройство шло от расчета — размышлял человек, — то было бы возможно и такое: «Согласен проявить смелость на столько-то рублей и столько-то копеек!»

Намазав стену клеем, он прилепил газету, разгладил ее сначала ладонью, потом старой, отслужившей свой век одежной щеткой, — обои держатся долго, если под ними хорошая основа.

Ремонт человек начал с коридора, потом перешел в кухню — так немного набил руку. Он серьезно подготовился: прочел книгу о том, как самостоятельно делать ремонт, побеседовал с теми, кто имел опыт, и теперь наверняка работал не хуже квалифицированных мастеров. Может, медленнее, зато аккуратнее.

«Глупо считать, что умеешь делать все, но еще глупее — что не умеешь ничего!» — похвастал он перед Хозяином, с которым подолгу разговаривал, чтобы скоротать время.

Когда он приступил к делу, понадобилось много старых газет, и друзья натащили ему целый воз, очистив свои чердаки и шкафы, встречались тут и отдельные страницы из журналов — полуистлевшая коричневатая-желтая бумага, которая быстро пропитывалась клеем, и буквы на ней расплывались, так что ничего уже не удавалось прочесть. Наклеивая обрывки разных исторических моментов, порой он увлеченно зачитывался.

«Вот уже с 1890 года каждый новый день наполнял душу буржуазии смятением. Это чувство то усиливалось, то ослабевало — в зависимости от политического и экономического положения рабочего класса...»

«Не следует думать, что директор взморского казино Герде, который сбежал за границу в связи с неприглядными делами, обнаружившимися в игорном доме, не вернется. Ведь еще не доводилось слышать, что рижские трактирщики вдруг с горя запили только потому, что вскоре вступит в силу закон об искоренении пьянства!»

«Соблюдая указания партии и требование народа создавать высокоидейные произведения литературы, многие писатели, в свое время подвергшиеся заслуженной критике за формализм и безыдейность, перестроили свою творческую деятельность и встали на путь социалистического реализма, однако есть поэты, которые все еще не освободились от элементов формализма (Чакс, Вилипс, Кемпе, Плаудис)».

«Историческое место в Бауске: камень на улице Калею, на котором Петр Великий, шведский и польский короли подписали мирный договор. Камень имеет треугольную форму, углы его обращены в стороны, соответствующие расположению государств».

«Фарс, 17 октября 1905 года, сыгран. Шельмовские маски исчезли, а на сцене остались палачи, которые без колебаний громоздят горы трупов».

«Своеобразен язык Валдиса Руи. Есть лишь опасение,

как бы актер не вытеснил в нем поэта. Было бы жаль! Еще следует упомянуть Таливалдиса Бричку, Давида Церса, Арвида Скалбе, Зигфрида Страута из Вентспилса, Хария Хейслера из автономной республики Коми и работницу фабрики Эмилию Клушу».

«На местном рынке крестьянское масло стоит 2,70 лата за килограмм. Повышенным спросом пользуются творог и казеин, на них постоянно есть покупатели. Рынок, где торгуют яйцами, без перемен, привоз небольшой. Цены — 9—11 сантимов, диетические по 12 сантимов за штуку».

«Наш Энвер — так называют его народ в свободной Албании. Все — от мала до велика. Он самый любимый, самый дорогой человек на свете. С именем Энвера Ходжи народ связывает свободу своей родины, победу над фашистскими захватчиками, землю, которую крестьяне получили в вечное пользование, первые заводы и фабрики, каждый метр железнодорожного полотна в стране, где до войны железных дорог вообще не было».

Перед человеком как бы проплывали давно забытые лица, воздвигнутые и поверженные монументы, стремительно возводившиеся воздушные замки, лежащие теперь в руинах, потопленные в лужах крови и возродившиеся народы, упрямо шедшие вперед. Мы жили! Мы живы! Мы будем жить! Вырубленные языки и культуры, но оставшиеся пни давали новые побеги. Мы живы! Мы будем жить!

И все это за какое-то неполное столетие!

История казалась ему длинной цепью ошибок и их исправлением. Ей присуще одно удивительное свойство — она засыпает песком забвения войны и лозунги, почетные звания и высокие должности, даже кратковременные шабаши, — все, кроме честности и труда.

Окончив клеить, человек на минуту присел на нижнюю ступеньку стремянки и глянул на Хозяина в золоченой раме с виноградными листьями.

Рама была широкая и тяжелая, и человек решил, что лишь потому ее не утащили из квартиры как остальные вещи — когда он пришел сюда, то увидел только грязный, годами неухоженный паркет, на котором валялись клочки ваты и морской травы.

Хозяин мрачно и молча смотрел на человека. Слово имел об истории другое мнение.

В конторе домоуправления долго изучали полученный человеком ордер и неохотно дали ключи: инженер эксплуатации устроилась на работу туда, чтобы улучшить свои жилищные условия и надеялась, что квартира достанется ей.

Претендентов на квартиру было много, и он совсем уж потерял надежду, но потом прибыла какая-то депутатская комиссия. Она заперлась в кабинете и, не вынося никаких решений, просто проверила, насколько обоснованы претензии желающих и полные воплей справки из различных учреждений.

После этого человек стал в очереди вторым — за толстым гражданином в велюровой шляпе и лакированных туфлях.

«Шестой этаж без лифта... А за чей счет ремонт? Ремонт следует делать сразу! Думаю, я заслужил что-нибудь получше!» Сделав ударение на «я» и «заслужил», толстый гражданин от квартиры отказался.

В задней комнате на двух скамеечках лежали сколоченный из досок щит, на котором человек отмерял обои, линейка и сапожный нож.

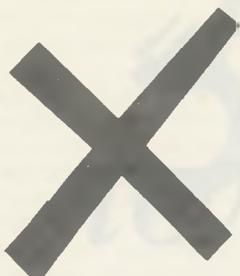
Человек потрогал стены и решил, что наклеенные газеты высохли.

«Кому сдать картину?» — спросил он у дворника, когда впервые переступил порог квартиры.

«А куда мне ее девать?» — дворник замахала руками. — Оставьте, пусть висит! Ее и шевелить-то опасно — рама пересохла, только прикоснешься — рассыпется на кусочки!»

«Странно как-то... Висит портрет совсем чужого человека... Слово член семьи... Он тут жил?»

«Не знаю — сама тут недавно... Только не вздумайте выставить на лестнице! Отнесите во двор и прислоните к помойке. Кому-нибудь понадобится — возьмет. Да не намусорите во дворе. И подметите за собой, а то гипс растащат по всему дому — потом не домоешься!.. И не забудьте взять в домоуправлении расчетную книжку!»



— Начнем резать обои, — сказал человек и подмигнул Хозяину. — Еще с часок выдержу! — Хотя веки, как чугунные, сами собой смыкались.

Он знал, что прежде надо нарезать все полосы обоев, но, отхватив первую, не удержался от соблазна приклеить.

Чистая белая полоса с серым орнаментом перекрыла Всероссийскую олимпиаду в Киеве, где «рижане завоевали пять первых мест и одно второе в следующих видах спорта: Бирзникс из «Любителя» — в толкании ядра, Рукшис из «Марса» в спортивной ходьбе на десять километров, Краузе в выживании гири — 230 фунтов, Полис — во французской борьбе, Краузе — в штанге — 356 фунтов и Аунс из «Марса» в велопробеге Киев — Чернигов».

«Кришс Кюкис — самый серый депутат сейма. Ходит в деревенской одежде — другой нет. Едва заканчивается заседание сейма, в пятницу вечером спешит на вокзал. Дома пашет, боронит, сеет, точит косы и чинит хомуты, смазывает телеги — и так до самого вторника. Утром опять в сейм».

«Предназначение поэзии — воспевание жизни, у Гревиня же мы читаем различные вариации на загробную тему. В книге тридцать раз повторяется слово «могила», не говоря уже о песке и других символах смерти, поэтому мы с уверенностью можем сказать — советскому читателю с такой поэзией не по пути».

«Магазин Б. Элиасстама предлагает драгоценные камни, часы, товары из золота, серебра и альфенида — улица Александра, 5».

«Рижский скульптор М. Гриншпун закончил работу над бюстом генералиссимуса И. В. Сталина. Товарищ Сталин изображен в парадной форме. Высота бюста — более метра».

«Я. Плуме предлагает призовые автомобили, автопокрышки фирмы «Excelsior» и шланги».

«Директор киностудии т. Черняк и Министерство кинематографии Латвийской ССР обязаны организовать и тщательно разработать систему воспитания и обучения национальных киноработников по всем специальностям».

Он сидел и с удивлением смотрел на белую чистую полосу — она ничего не закрыла.

Там, под наклеенной полосой, все имело свой запах, свой вкус и от них никуда не денешься, их не забыть, от них не спрятаться, не оправдаться — я совсем из другого поколения и с происходившим не имею ничего общего. Как бродячий пес, оно идет и идет за тобой. Ты можешь его убить, но оно возродится и последует за твоими детьми и внуками, мучая их угрызениями совести за духовную скудость родителей, преследуя стыдом назвать их имя в присутствии честных людей.

Все вопросы стояли в ряд, один за другим.

Добро и зло попеременно лежат в сундуке истории, из которого никто и ничего не может выбросить.

Человек глянул на Хозяина.

Тот усмехался: я тоже вечен. Можешь сжечь меня — останется эта стена, можешь выломать стену, — останется этот дом, можешь снести дом — останется это место: я останусь.

Вдруг раздался короткий звонок в дверь.

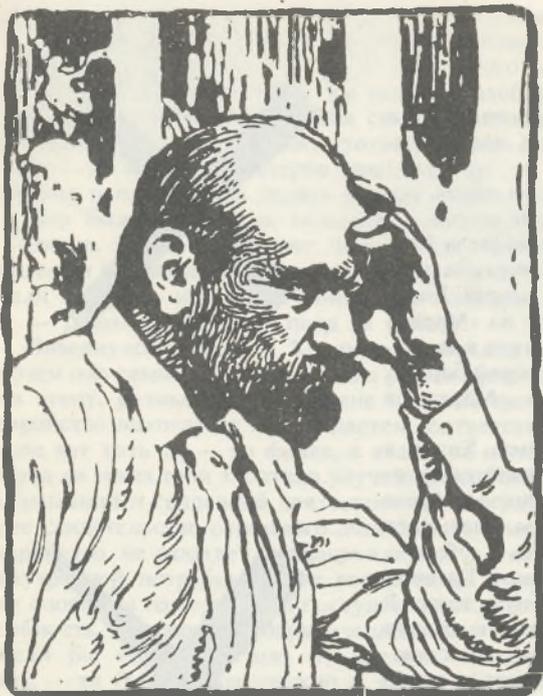
Человек вначале решил, что ему послышалось, но пошел открывать.

На пороге стояла странно одетая девушка — в тонкой куртке, линиям бесформенном джемпере и неумело перешитом платье из дорогой ткани.

— Входи, — сказал человек. Он был уверен, что сказать следует именно так. Не «пожалуйста», не «хотелось бы знать...» и не «извините, но уже поздно». — Входи, — спокойно повторил он, как сказал бы любому голодному, жаждущему, иззябшему, неприютному.

Мы живы! Мы будем жить!

1987 год.



ЯНИС РАЙНИС

СУРОВАЯ ДУША

Рекою слез ты душу затопил,
Она, как луг, впитавший влагу ливней.
Ты эти слезы с детства накопил,
Прилив их все сильнее, все неизбывней.

Иной поплакал — душу облегчил,
И люди столько доброго нашли в ней:
«Он так отзывчив, трогателен, мил!»

Не плачешь ты, хоть слез в тебе сверх меры,—
Пролей же их на чернь потоком серы!

ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР

Мерцает свод зеленовато-синий,
В огне закатном золотится мгла,
Блестит роса на мокрой луговине,
И растеклось дыхание тепла.

Час бледных красок, полустертых линий.
На долы тьма, как тяжкий сноп, легла,
И ветерки крадутся по низине...

Где все мерила? .. В сердце острее ...
Шум ветра, пустота, небытие.

ИДУЩИЙ В ГОРУ

Все больше, больше будешь одинок,
Друзья, отстав, тебя покинут втайне,
Случайный в скалах встретится цветок,
А люди по душе еще случайней.

Потом один ты будешь в пустоте,
Навалится безмолвья мир бескрайний;
Покоя нет на снежной высоте.

Тебя всего броней лед покроет,
Но пламени в груди не успокоит.

Перевел Александр Ревич

«Надежда твоя — только сердце твое»

Райниса знают многие, но знание это ограничивается в основном одной пьесой, парочкой стихотворений или же только сознанием того, что у латышей есть Райнис. Вины в этом плохие переводы, а еще укоренившаяся традиция — считать Райниса лишь поэтом революции и пролетариата. Нередко литовцы и эстонцы задавали мне вопрос: так в чем же на самом деле это прославленное величие Райниса? Прочитав несколько его произведений в эстонском переводе, я понял, что на их месте спросил бы то же самое. Во-первых, вымученный перевод, во-вторых, выбор составителя не вышел за пределы традиционного круга стихотворений. Утверждение, что он классик и великий поэт, действует на многих как наркотик, и они теряют зрение и слух: не воспринимают его силу и слабость, взаимоотношения самого Райниса и мирового мыслительного процесса, сомнения и страдания поэта и эпохи.

В драмах «Огонь и ночь», «Индулис и Ария», «Вей, ветерок!», «Вороненок», «Золотой конь», а особенно — в таких произведениях, как «Иосиф и его братья», «Илья Муромец», «Играл я, плясал» Райнис сумел объединить философский, мифологический, фольклорный и исторический способы познания и отображения мира, первым использовав в латышской драматургии символу и полифонию.

Первый сборник стихов Райниса «Далекое отзвуки синим вечером» вышел в свет, когда ему исполнилось уже тридцать восемь лет. Те тридцать томов, которые выходят теперь и в которых намечается познакомить нас со всем его творчеством, заставляют изумиться тому, что сделано им в последний этап жизни, а порой и связывает по рукам: с чего начать знакомство, что тут самое главное?

Сегодня я выбираю не конкретную пьесу или сборник стихотворений, не поэтику или философию, а как начальную точку, точку отсчета, беру ДАЛЬ — это совсем ненаучное и не имеющее отношения к категориям понятия. Райнис начинается издадека. И этих далей — несколько. И мучительная ссылка в Слободске, и долгие годы, проведенные в швейцарской провинции Кастаньоле — это физическая отдаленность, это первая даль, которую лучше всего можно понять по его полным отчаяния письмам, которая отчетливее всего проступает во всех произведениях, созданных на чужбине. Совсем не такова отдаленность постижения и переосмысления им мировой культуры. При внимательном прочтении сборника переводов Райниса «Беспокойное сердце» яснее становятся его собственные мотивы, точнее становится представление о его широком круге интересов, начиная с русской, литовской, эстонской народной песни, с лирики Лермонтова, Пушкина, Гете, Шиллера, Гейне, и кончая Ли Тай-пе, Ригведой, переводами буддистских сочинений. Эти две первые дали создали третью — даль отчужденности и одиночества. «Я один со своей правдой, я один против целого мира», — так писал Райнис, ибо он верил в знание, а мудрость иногда скрывает в себе отчужденность, непонимание и отталкивание. Герои его пьес — чужаки и одиночки. Это — Илья, Иосиф, Тот, Стенька Разин. Чужаком и непонятым был и сам Райнис. Сборник стихотворений «Пять тетрадей Дагды» можно считать поэтическим дневником души Райниса. В этой книге часто упоминается змея. Мудрость и просветленность Райниса — не в прямом утверждении, а в образе, хотя бы оборотившись свернувшейся змеей, а змея, как утверждает Райнис, бессмертна. Этот мифологический образ символизирует вечность не только у латышей, но и в фольклоре других народов.

Умереть нам, истлеть,
а словечку — здесь остаться,
а словечку здесь остаться,
в этой комнатке, в углу.

Как видно из латышской народной песни, как известно из пьес и стихотворений Райниса, обитателем вечности было слово. Понятое или непонятое, оно оставалось всегда — и было свидетелем.

Стихотворение «Идущий в гору» Райнис написал, когда переводил «Каина» Байрона, и в этом сокращенном сонете мотив одиночки и непонятого тесно переплелся с вопросом из пьесы:

Люцифер: «Предчувствовал ли ты приход мой?»

Каин: «Как?»

Люцифер: «В страдании».

Эта мысль родственна взгляду Ницше — будто страдание есть сила, быстрее всего приводящая к совершенству. И Идущий в гору Райниса, и Каин не прячутся от страданий, а обретают в них убежденность.

Четвертой, очень важной для Райниса далью была природа — перевоплощение, осознание себя через окружающее. В одном из самых композиционно цельных и глубоких сборников стихотворений «Конец и начало» Райнис раскрывает взаимоотношения человека и окружающей среды, одни из самых прекрасных и самых сложных отношений.

Природа не знает, насколько она велика.

Солнце не знает, насколько оно горячо.

Небо не знает, насколько оно глубоко.

Разумеется, у Райниса есть и наивные стихи о цветочках и пчелках, но в основном доминирует только что приведенная мысль, что не в превосходстве человека над природой, а в единении с ней нужно искать путей понимания и природы, и других людей, и самого себя.

Поэзия — это предчувствие, она может угадывать и предсказывать судьбы. И у Райниса были предчувствия, породившие пророческие стихотворения. Но время было трудным и сложным не только в Латвии — в мире: революция, войны, борьба партий за власть, ссылка... Это — самая мучительная даль Райниса, даль незнания и выбора. Вспоминается Ашот Хумарьян, один из героев романа Яниса Калниньша «Райнис», рассказывавший Райнису во время ссылки о своей Армении, о земле, которая «пугалась в ногах» у захватчиков и завоевателей. И эту тему судеб маленьких народов можно почувствовать в драматической поэме Райниса «Даугава», хотя написана она только про Латвию — сходна историческая ситуация, все те же черты общечеловеческой психологии проявляются в разных народах.

Я хочу убедить вас этими строчками, что Райнис не однозначен, что он не только автор пылких революционных стихов, не только автор «Сломанных сосен». Подлинная суть Райниса — в его сомнениях, и в этих и еще более далеких далях, ибо ничто так не убеждает человека, как сомнения. Только в них можно искать и находить выводы и правду:

И когда тебе нечего ждать уж извне,
начинается счастье твое настоящее.
И надежда твоя — лишь в тебе самом,
правда твоя — лишь в тебе самом,
счастье твое — лишь в тебе самом.
Одного не найдешь ты в себе — своей цели.
Надежда твоя — только сердце твое.

ЯНИС РАЙНИС

ДЛИННЫЙ ПУТЬ

Но выше, выше все ведет мой путь,
Как утром тень, все тает сном бесплодным,
А воздух стал прозрачным и холодным,
Но выше, выше все ведет мой путь.

Земных оков упали с тела звенья:
Зло, ненависть, волненья и мученья.
Без прошлого, без страсти, без греха,
Гляжу, как даль, вся в золоте, тиха,
И, крылья пробуя в эфире чистом,
Душа — как белый снег на склоне льдистом;
И, сбросив все, что тяжело, она,
Как звезд мерцаньем, нежностью полна...
Но выше, выше все ведет мой путь.

Как утром тень, все тает сном бесплодным,
А воздух стал прозрачным и холодным,
Но выше, к солнцу тянется мой путь:
Нет мига в вечности, чтоб отдохнуть...

Перевел Валерий Брюсов

АРОМАТ ПОЛЯНЫ

Как память сон далекий сохранила?
Умчались старые воспоминания,
Их разметала грозной бури сила,
Они исчезли в бездне мироздания.

Я вдруг цветок сорвал почти невольно
Там, дома, на поляне в миг мечтания
И аромат вдыхаю — сердцу больно.

Любовь я вспомнил, что назвать мою
Так жаждал я. И был обманут ею.

Перевела Анна Ахматова

Ночь, луна и звезды

Промчалась тучка мимо звезд,—
Звезда двойная показалась:
Глаза прищурил, ты смеялась.

Перевел Арсений Тарковский

КОГДА ПРИХОДИТ ОСЕНЬ

Когда приходит осень,
Я вижу: падают и умирают листья,
И льется дождь весь день, всю ночь, темнеет рано...

«Когда приходит осень, мне так страшно
Становится, как будто гибнет мир,
И я одна должна остаться в мире
И видеть, как — день изо дня — все гибнет,
И муки — все, какие есть на свете,—
Одна я на себя должна принять,
Но не могу решиться,— трудно, трудно,
И некому пожаловаться мне,
Когда приходит осень».

Ах, слабенькая девочка, кто силен?
Кто менее тебя, родная, одинок,
Когда приходит осень?

Перевел Семен Липкин



ОТРАЖЕНИЕ

— Ну, почему же ты молчишь?
— Да так...
— Зачем ты так глядишь — зрачки в зрачки?
Слова твои, как взор твой, далеки...
— Да? Далек?

В твоих глазах я вижу чей-то лик,
Он из сиянья бледного возник;
Нет, нет, не я! Я раньше там была,
Я раньше там, в твоих глазах, жила —
Там девушка, ты с нею, с молодой,
С красивой, на щеке твоей ладонь,
Нет, не твоя — ее, ее рука
Из прошлого скользит, издадека,
И в прошлое влечет тебя с собой —
Назвать ли имя — прежней, дальней, той?

— Ах, сумасбродка, что ты говоришь!
Ведь это ты, лишь ты в моих глазах...
— Не уходи к ней! О, не уходи!
Не уходи!..

Перевел Юрий Петров

РУКА С ПЕРСТНЕМ

Дождь кончился. Как белая рука,
Простерлось облако над тихой далью,
И радуги сияющий осколок
Переливался, точно камень перстня.
Тянулось облако из дальней дали,
И таяло едва, и таял перстень,
И ночь на море пала покрывалом.

Не ты ль меня звала из дальней дали?..

Перевел Арсений Тарковский

ВОСК В РУКЕ

Любовь твоя растет, но страшно мне:
И так уже моя душа в огне!
Страшусь, страшусь:
В твоей любви я в пепел превращусь!

«В любви ты не сгоришь, а возродишься вновь».
Но что же из меня создаст любовь?

Я словно воск в твоей руке мягка,
Как мед из улья твоего сладка,
Я гасну, как свеча, пощады не прося.
Я вся твоя, вся, вся!

Что из меня создаст твоя рука?

ОПЬЯНЕННЫЙ ЛУНОЙ

Твои глаза опьянены
Хмельною влагою луны,

А сердце,— горе мое, горе,—
Все лунное испило б море.

Дурной от хмеля, ты бы влез,
Я знаю, на хребет небес.

На небе ты б сломал ворота,
Ты б звезды разбросал без счета,

Ты поскользнулся бы, едва
Планет рассыпалась дресва,

Упал бы наземь и разбился,
Ты б лунной девы не добился.

СЛУЧАЙНОСТЬ

«Я для тебя — случайное событие.
Что ныне мило, завтра ты забудешь,
И только дочерью луны ты бредишь».

Мы все — случайности на сей земле,
Сама земля есть частный случай солнца,
А солнце есть случайность во вселенной,
Да и вселенная, увы, случайность!

Мы ничего не знаем: только то
Мы знаем, что ничто не исчезает,
Ни ты, ни я и ни любовь, что нас,
Красивая, связует, и начало
Есть у нее, но нет конца. А ты —
Ты дочь луны.

Перевел Семен Липкин

Этой подборкой переводов стихов Яниса Райниса мы продолжаем публикацию антологии латышской поэзии конца XIX—первой половины XX века — во втором номере журнала читатель уже встретился с поэзией Эдуарда Вейденбаума. Задача наших поэтических публикаций та же, что и публикаций антологии прозаических произведений малых форм — помочь русскоязычному читателю более подробно познакомиться с латышской литературой.

В последующих номерах журнала мы хотим предложить вниманию читателей стихотворные произведения Р. Блауманиса, Я. Порукса, Аспазини, В. Плудониса, К. Скалбе, Ф. Барды и других латышских поэтов в русских переводах 1910-х—1980-х годов.

У литературных произведений, как и у людей, свои биографии. Иные появляются на свет мертворожденными, и никаким искусственным дыханием их не оживить; иные растут и набирают силу, уходя в мир и в вечность.

Биография рассказа Зигмундса Скуиньша «Хроника одной ночи» сложна и тяжела. Он «родился» в сентябре 1957 года, когда в руки читателей попал очередной номер литературного журнала «Карогс» («Знамя»). Это было время после XX съезда партии, на котором был осужден культ личности, время, когда в общественную жизнь и в литературу ворвались свежие ветры обновления, когда они (пользуясь сравнением И. Эренбурга, ставшим названием его романа) принесли оттепель после долгих лет сковывающего холода.

Но сопротивление укоренившихся догм ощущалось на каждом шагу. Был принят в штыки и рассказ З. Скуиньша. «Когда недостает партийной постановки вопроса» — под таким суровым заголовком в газете «Литература ун Максла» («Литература и искусство») появилась 4 января 1958 года оценка Р. Ласенберги (Эзеры). Автор ждал, что встреча героев рассказа с бандитами будет показана так, «как это обычно случалось в послевоенные годы, когда советские люди, исполненные ненависти к фашизму, участвовали в безжалостной борьбе с бандитами». Но в произведении З. Скуиньша никаких доподлинных сражений не происходит, даже старый почтальон Смилга стреляет без особого воодушевления.

«В действительности, конечно, мог быть такой случай», — признает автор статьи. «Но советский писатель не должен лишь пассивно фиксировать какое-то отдельное событие, он должен быть целенаправленным художником, способным уловить в отдельном отрезке времени самое существенное и показать это с позиций партийности. Этой позиции не чувствуется в рассказе «Хроника одной ночи», и поэтому в произведении отсутствует идейное звучание социалистического реализма». Это не только попытка загнать литературу назад, в старые схемы, это — прямое обвинение — и против автора, который не потрудился как настоящий «советский писатель», и против рассказа, который не нуждается в «звучании социалистического реализма», и против его героев, ибо они не такие советские люди, какими должны были быть. «В деятельности Христа, человека с портфелем, Амбайниса, Риты, шофера, Смилга нет ничего, свойственного советскому человеку».

Но уже наступил 1958 год. И это нападение не осталось без ответа. Эвалдс Вилкс озглавил свою принципиальную ответную статью «Когда в рассказе видят то, чего в нем нет» («Литература ун Максла», 18 января 1958 года). Э. Вилкс ясно говорит: «Не рассказу Скуиньша «Хроника одной ночи», а рецензии Р. Ласенберги на этот рассказ не хватает партийности». Метко охарактеризован и безымянный герой рассказа, «человек с портфелем», вызвавший самые серьезные возражения: «Это погрешка, пузырь, который в результате каких-то обстоятельств оказался наделен небольшой властью и самым неприятным образом любит ею похвастаться, это человек, который на словах — величайший борец за советскую власть, а когда этой власти приходится плохо, когда ему чуть прищемили хвост, он первый прикусил язычок. Ведь не всегда тот, кто кричит громче всех, оказывается самым большим патриотом».

Этими публикациями на страницах «Литература ун Максла» началась оживленная дискуссия, появились и отклики читателей, и материалы обсуждения на секции прозы Союза писателей, и материалы читательской конференции. Большой частью, хотя с известными оговорками, рассказ берут под защиту.

Но в редакционной статье «Завершая обмен мнениями» (8 марта 1958 года), выражающей «мнение большинства членов редколлегии», отмечая, что дискуссия получила широкий резонанс и о рассказе З. Скуиньша высказались «ведущие периодические издания республики», поддержку получила критическая оценка: «Совершенно ничтожная... идейная нагрузка положительных персонажей рассказа. «Хроника одной ночи» скорее кажется интересным этюдом характеров в предлагаемых обстоятельствах, а не законченным произведением социалистического реализма. (...) Мо-



ФОТО АНДРИСА КРИВИНЬША

ЗИГМУНДС СКУИНЫШ

жет быть, было бы правильнее, если бы эти наброски еще не покидали какое-то время писательского блокнота, пока их не оплодотворит достойная эпоха идея».

Здесь же критиковался еще один рассказ З. Скуиньша: «Что ты, писатель, хочешь нам сказать? В чем смысл твоего труда? Никуда не денешься от этого вопроса, читая новый рассказ З. Скуиньша «Во имя Иисуса Христа» («Карогс», январь 1958 года). Очевидно, не помешало бы задать этот вопрос одаренному прозаику еще раньше».

К дискуссии подключился В. Мелнис своей статьей «О ясности принципов критики» («Карогс», апрель 1958 года). В ней показывается, к чему привели в рецензии Р. Ласенберги «игнорирование специфики литературы, навязывание нормативных предписаний, тенденция к иллюстративности». Хотя В. Мелнис и сомневается, что в рассказе так уж был необходим «человек с портфелем», но строго подчеркивает, что такие нападки на литературное творчество недопустимы: «... хуже всего то, что Скуиньш получает дезориентирующие удары критики именно тогда, когда... он опубликовал яркий, основанный на интересных характерах, навеянный серьезным идейным замыслом... рассказ».

Дискуссия вокруг рассказа З. Скуиньша отчетливо и, хочется сказать, поучительно показывает нам не только один эпизод литературной борьбы, но и общую атмосферу общественного мнения того времени.

Но этим сложная биография «Хроники одной ночи» не завершается. Когда шесть лет спустя она все же появилась в сборнике рассказов писателя «Гость с того света» (1963), читатель обнаружил, что она заботливо отредактирована.

Прежде всего замечаем, что совсем исчез «человек с портфелем», а героя, чтобы не упоминать этот раздражающий атрибут начальнической власти, всюду обозначают словами «чужак», «чужой», «попутчик». Его теперь даже «товарищем» не называют. Предложение «Товарищ правильно сказал...» теперь читается так: «Человек правильно сказал...». Вычеркнута и существенная для замысла рассказа характеристика этого героя: «Он был создан, чтобы требовать объяснений, и это качество выпирало из него, как шило из мешка».

Услышав, что вокруг бродят бандиты, бывший «мужчина с портфелем», а ныне «чужак» причитает: «Куда смотрит милиция? В журнале это место выглядело так: «Кто им это позволил? Скажите: где тут советская власть?»

— Советская власть? — Амбайнис оскалил свои большие желтые зубы. — Простите, а кто вы такой? ...»

Вычеркнута и немаловажная деталь, касающаяся того же портфеля, — когда в комнату входят бандиты, «из рук чужака выскользнул портфель, но он не обратил на это внимания».

И совсем уж принципиальное значение имеет одно короткое предложение, существенно меняющее всю ситуацию и отношение к герою, — когда все ужасы позади, он признается: «У меня в портфеле револьвер». В тексте книги этого предложения больше нет.

Старый почтальон Смилга — хорошо выписанный, характерный и узнаваемый тип. Скуиньш в рассказе раскрывает его характер лаконично: «... Смилгу слегка передернуло, но уже в следующее мгновение им овладел глубокий покой: он знал, почему остался здесь. Его обязанности были ясны и просты».

Старик не борется ради каких-то высоких идейных соображений, револьвер ему дан, чтобы защищать мешок с почтой, и, стреляя в нападающих, он только выполняет свой долг. Не больше. Но и не меньше! «Мужчина с портфелем», например, не взялся за свой револьвер и остался жив.

В книжном варианте Смилгу попытались сделать героичнее. Вычеркнуты слова, которыми он просит нападающих не лезть в машину, иначе ему придется стрелять: «Думаю о том, что сейчас прозвучит выстрел, Смилга закрыл глаза».

— Я прошу вас...»

Вместо этого он теперь непонятно почему восклицает: «Именем Советской власти...»

В такой редакции «Хроника одной ночи» опубликована в сборнике З. Скуиньша «Нападение на ветряную мельницу» (1976).

Как все эти события повлияли на молодого писателя, у которого тогда вышла всего одна книга рассказов? Много лет спустя З. Скуиньш признался: «Критику «Хроники одной ночи» я понял только так: очевидно, еще не пришло время писать про такие минорные вещи». (см. А. Скурбе. Зигмундс Скуиньш. Р., 1981, стр. 29.)

Как видите, не только литературное произведение, но и рассказ о его биографии может быть и интересным, и поучительным.

ХАРИЙС ХИРШС

ЗИГМУНДС СКУИНЫШ

ХРОНИКА Х ОДНОЙ НОЧИ

РАССКАЗ

Осенью 1945 года средством сообщения между районным центром Н. и лежащей километрах в тридцати от него железнодорожной станцией Рога служил небывалого вида экипаж с дребезжащим, крытым фанерой кузовом, — и грузовик не грузовик, и на автобус не похоже. Это чудо техники смастерил один расторопный шофер из деталей машин самых неожиданных марок, согнанных оккупантами в Курземе со всех концов Европы. После капитуляции весь этот хлам валялся и ржавел где попало. И хотя до станции было недалеко, а поезд в Рогу приходил за полночь, машина из города Н. обычно выезжала в начале одиннадцатого. Пассажиры собирались на базарной площади напротив колонки. Пока они рассаживались на жестких, неудобных сидениях, шофер заливал водой радиатор и яростно пинал сапогом потертые шины, проверяя их прочность. Затем он заезжал на почту захватить там старого Смилгу, потом, еще раз встряхнув пассажиров на булыжниках базарной площади, выбирался на шоссе.

Так началась и та поездка, о которой пойдет речь в нашем рассказе. Сначала в машину сели трое — двое мужчин и женщина. Когда шофер завел мотор и отпустил тормоза, со стороны гостиницы, размахивая портфелем, подбежал четвертый пассажир.

— Стойте! — кричал он на ходу. — Я должен попасть на поезд! У меня командировка...

Человек прыгнул в машину, с трудом переводя дыхание, — на вид ему было лет сорок, — и прежде всего пристально, настороженно оглядел попутчиков. Лампочка под дребезжащим потолком светила тускло и неровно. Чтобы лучше видеть, человек наклонился то в одну, то в другую сторону. Последним, зато основательней, чем остальных, он оглядел шофера.

— Автобус отошел на три минуты раньше положенного срока, это куда не годится. Моя фамилия Путниньш. Разве вам обо мне не звонили?

Пожалуй, шофер был скорее озадачен, чем напуган грозным тоном незнакомца, и в ответ лишь пожал плечами. Вместо него ответил один из пассажиров:

— В этом расчудесном автобусе телефон установят только на будущий год...

Это насмешливое замечание каждый воспринял по-своему. Прищуренные глаза шофера сверкнули тем искренним весельем, каким наделены лишь люди с хорошим чувством юмора. Пассажир — тот, что сидел в проходе на огромном, обвязанном веревкой чемодане, — расплывшийся толстяк в новом кожаном полупальто, издал что-то вроде звериного рыка. Радостная поспешность, с которой были исторгнуты утробные звуки, наводила на мысль, что этот человек готов смеяться всякой шутке, даже и неумной. Сам автор замечания, смуглый юноша, чем-то похожий на цыгана, сжал губы и прорывно обернулся к своей соседке в надежде увидеть на ее лице хотя бы тень улыбки. Но девушка, широко раскрыв глаза, смотрела куда-то в сторону и, казалось, совсем не замечала того, что происходит в машине.

До незнакомца смысл шутки дошел лишь тогда, когда толстяк загоготал ему прямо в лицо. Поначалу он даже посмеялся вместе с ним, как бы по инерции, но тотчас опомнился, овладел собой и заговорил своим прежним тоном:

— Вы, конечно, вольны смеяться, товарищи, но это так. Одними смешками от непорядков нам не избавиться. Много ли не хватило, чтобы пассажир — в данном случае я — остался на дороге...

— Зачем же оставаться? — совершенно серьезно заметил шофер. — Подъедем к почте, вернемся назад.

— Ну да, конечно! — добродушно прибавил толстяк, вытирая ладонью слюнявые губы. — А вы чего же стоите, присаживайтесь. В наших-то краях впервые?

— Да, по делам... — Незнакомец многозначительно встряхнул портфелем, но больше ничего не сказал.

Нешадно скрипя тормозами, машина резко остановилась. Шофер распахнул дверцу, и тотчас же, протолкнув вперед большую брезентовую сумку, в машину степенно, неторопливо полез человек небольшого роста. Синяя тужурка, казалось, была непомерно велика для его худых плеч, а висевшая на широком поясе кобура выглядела смехотворно — с таким же успехом там мог висеть, скажем, будильник или велосипедный звонок.

— Добрый вечер! — произнес он. — Подтолкни-ка, шофер, милоч, мою сумку, задвинем ее под скамейку, чтоб не путалась под ногами. Осторожней, милоч, осторожней, матерьяльчик-то с гнильцой, заплатка на заплатке. Пора бы ее на помойку, да кто новую даст?

Для толстяка это оказалось достаточным основанием, чтобы снова прыснуть. Пытливый незнакомец смотрел на почтальона суровым, осуждающим взглядом; его густые, с едва заметной проседью брови то опускались к самым ресницам, то поднимались высоко на лоб. Примерно так учитель, не желая попусту тратить слов, глядит на болтливую ученика. Однако почтальона не смутил этот взгляд, и на лице незнакомца появилось нечто вроде грустного укора.

— Возможно, вы, товарищ, в чем-то и правы, — вступил он в

разговор. — Но не следует забывать: всего три месяца назад мы воевали! А сумки с неба не падают.

Толстяк еще посмеивался, но уже без прежнего задора. Запльившие жиром глаза оторвались от почтальона и юрко скользнули к незнакомцу. Булькающие звуки затихли — он, казалось, проглотил их.

— Конечно! — опять заговорил смуглый юноша. — Велика ль беда, дяденка, письма! Иное дело, если б вам в этой сумке пришлось поросать возить...

Все, кроме девушки, наблюдали за старым почтальоном. А он, пристроив свою сумку, стоял теперь под лампочкой и большим платком утирал с лица пот. Его серое, будто помятое лицо сплошь покрывали мелкие морщинки. И только густые желтоватые усы выглядели бодро и молодцевато.

— Тоже верно, — помолчав немного, согласился Смилга. — Если б толще и беды было от войны, что дырявая сумка!..

Машина тем временем опять пересекла базарную площадь и, выбравшись на шоссе, набирала скорость. За мутными стеклами сверкнули последние огоньки города. Вокруг была ночь, ясная, усыпанная звездами. Окрестные луга и поля лучились млечным светом. Полная луна только поднималась, и придорожные деревья, телефонные столбы бросали поперек дороги длинные черные полосы. А тень машины — тяжелая, громоздкая, уродливая — все забегала вперед, кувиркаясь по кустам и кочкам, карабкаясь, сжавшись в комок, на косяги, бросалась под колеса, вытягивалась на лугу.

Потом справа от дороги появилась темная высокая стена, — дорога углубилась в лес.

— Маловато нас нынче едет, маловато, — примостившись напротив толстяка, опять заговорил Смилга, не обращаясь ни к кому в особенности.

— Тринадцатое число! — негромко буркнул шофер.

Смуглый юноша, все еще поглядывая украдкой на свою хорошенькую соседку, принял замечание шофера как удачный пас.

— Пра-вильно! — воскликнул он. — Ровно месяц назад на двадцатом километре автобус из Римупе задержали бандиты. А милиционера, сопроводившего автобус, в лес увели. Верно!

На этот раз ему повезло: девушка словно очнулась от глубокого сна и подняла голову. Лежавшие на коленях руки порхнули вверх, но тут же, успокоившись, опустились на прежнее место.

— Говорят, они так делают: на дорогу бревно выкатят, а сами в канаве спрячутся. Тут уж — хочешь не хочешь — жми на тормоза.

И, обращаясь уже к девушке, юноша с притворным ужасом втянул голову в воротник:

— А вдруг и нам на двадцатом километре — бревно поперек дороги?

Она не ответила, но было видно, что эти слова взволновали ее. Толстяк беспокойно поерзал и, тяжело вздохнув, краем глаза глянул в окошко.

— Хорошо, у нас хоть пушка имеется. — Юноша кивнул на кобуру почтальона.

— Ну и времечко... — протянул почтальон, достал из кармана блестящую металлическую табакерку и принялся свертывать цигарку. — Время-времечко... А ты, Амбайнис, как я погляжу, тоже «почту» развозишь. И багаж у тебя куда крупнее моего...

— Зато ездит он только два раза в неделю... — вставил шофер.

Толстяк Амбайнис все еще косился в окошко.

— У меня ведь дочка в Риге! — сказал он запальчиво.

— Вы поосторожней, не то раскормите дочку — жениха не найдете! — съязвил юноша. — Два таких чемоданчика в неделю — шутка сказать.

Что и говорить, тут можно было посмеяться. Сам Амбайнис хохотал от души и пухлой, красноватой ладонью поглаживал пальцы своего кожного пальто.

Незнакомец лишь сдержанно улыбнулся очередной остроте юноши. Он привстал, поднес руку к лампочке и взглянул на часы.

— Половина одиннадцатого, — произнес он. — Где мы находимся?

— Семнадцатый километр. Сейчас начнется Большой лес...

Воцарилось молчание. Крытый кузов машины мерно поскрипывал, будто по нему быстро-быстро водили тупой пилой. Такт нарушался, лишь когда на пути попадалась яма или крупный камень. Тогда размеренный скрип рассыпался в беспорядочную грудку звуков: все, что лежало в кузове, подпрыгивало вверх, затем с шумом и треском валилось обратно; пустая канистра давала длинную очередь, а чемодан Амбайниса грохотал тяжелым молотом. К этим шумам все успели настолько привыкнуть, что перестали их замечать. И потому, когда смолкли разговоры, все ощутили тишину. Мертвую тишину.

Теперь по обе стороны машины темной стеной поднимался лес. Поперек дороги, как поваленные бревна, лежали черные тени.

— Тут говорили о задержанном автобусе из Римупе, — первым нарушил молчание незнакомец. — Просто удивительно, с какой быстротой незнакомые люди способны из мухи сделать слона. Я специально поинтересовался этим происшествием. Да будет вам известно, что все виновные давным-давно под арестом. А тот мили-

ционер оказался тряпкой. Сам себя не сумел защитить... Струсил...

— Ну да, конечно! — поспешил согласиться Амбайнис. — А ведь чего только не наплетут. За шкуру таких болтунов надо брать, за шкуру.

— Надо сознательность прививать, сознательность...

— Двадцатый километр... — деловито бросил шофер.

Под машиной что-то звучно треснуло, она накренилась, затем последовал сильный толчок. Девушка вскрикнула. И — тишина. Теперь уже настоящая.

Юноша ощутил у себя на груди плечо соседки. И хотя любопытство подстегивало его поскорее подняться, разузнать, в чем дело, он даже не шелохнулся, боясь отстранить это плечо, — неожиданная близость и теплота его вызвали в нем дрожь. Первой опомнилась девушка. Когда юноша взглянул на нее, она сидела на прежнем месте, оправляя платье. Их глаза встретились. И юноша, которому в тот момент было не до смеха, немало удивился, разглядев у нее на лице добрую улыбку, предназначенную как будто ему одному. И он улыбнулся ей в ответ.

— У вас все косточки целы? — спросил он небрежно и громко.

— Я только испугалась. А что с нами?

Этот вопрос задавали теперь все.

— Да что же случилось? Что?

Амбайнис все еще лежал, растянувшись на полу, обхватив обеими руками свой чемодан. Путиниш утирал платком слегка ободранную щеку. Старый Смилга озадаченно ощупывал сумку, но все его внимание было приковано к дороге, где в лунном свете серебрилась ночь, испещренная черными тенями, откуда можно было ждать чего угодно. Однако все было тихо.

— Водитель, объясните, что означает это безобразие? Вы что, в канаву заехали? — раздался требовательный голос Путиниша.

Шофер с мрачным спокойствием сунул в рот папиросу. Чиркнул спичкой — не зажглась, чиркнул другой — опять ничего.

— Я и сам удивляюсь, отчего мы не в канаве, — прикурив от третьей спички, произнес он, почесывая затылок. — Там бы нам и лежать. Правое переднее сломалось, разве не видите?

— Что сломалось?

— Ну колесо сломалось!

— Рухлядь, она рухлядью и остается, — теперь и Амбайнис поднялся. — Уливляться надо, что она и так долго тянула...

— Меня одно интересует: мы поспеем к поезду или нет? — и Путиниш вскинул левую руку с часами.

В его самоуверенном жесте сквозило злорадство. Вытянутый указательный палец, казалось, говорил: «Вот вы смеялись, а ведь я вас предупреждал. Поездка безобразно началась, безобразно она и кончилась». А вслух добавил:

— Прежде чем отправиться в дорогу, автобус надлежало проверить. Вам известно, кого бы призвали к ответу, если бы имелись жертвы?

Но его слова все пропустили мимо ушей. Слов было слишком много, чтобы в такой момент уловить их смысл.

Пустив через нос густое облако дыма, шофер дернул книзу засаленный козырек своей кепки и сказал:

— Ну что ж, попробуем вылезти.

В раскрытую дверцу пахнуло свежей прохладой — бодрящей, как родниковая вода.

Смилга, терзаемый дурным предчувствием, по-прежнему поглядывал в темноту и вдруг отпрянул от окна: ему почудилось, будто застывший в кювете черный бугорок внезапно ожил и прыгнул на дорогу. И Амбайнис вздрогнул. Но там, на дороге, вихлялась только тень шофера, скорее смешная, чем страшная.

— Эй, вы, передние! Если сами не вылезаете, дайте нам сойти, — и юноша подтолкнул локтем Амбайниса. Он сказал «нам», сам не веря своей смелости; да и во все происходившее ему верилось с трудом. Обыкновенная поездка превращалась в увлекательное приключение. И ему, окрыленному радостью, надеждами, не терпелось что-то делать, двигаться, действовать. Он уверенно протянул руку девушке и просто сказал: «Идемте».

Надо было видеть машину снаружи, чтобы по-настоящему понять ее плачевное состояние. Правое переднее колесо слетело с оси и валялось в канаве, метрах в пяти. Ось и крыло, проехав по дороге, оставили на ней глубокий след, а в отместку дорога погнула и помяла что только могла. Нет, на скорую руку тут ничего нельзя было исправить. Теперь колымаге требовалась хорошая мастерская. Лучшее всех понимал это шофер. Он внимательно разглядывал сломанную ось, а руки его в безнадежном спокойствии лежали на бедрах.

— Ну, водитель, что скажете? Поспеем к поезду? — Вылезая из машины, незнакомец подтянул брюки и ступил на дорогу с опаской, точно под ним была трясина.

— Поспеем! К следующему обязательно поспеем...

— Как же так, водитель?!

Шофер подождал, пока из машины вылез Амбайнис, и негромко, словно в раздумьи, протянул:



— Можно поспеть, а можно и не поспеть. Смотри по тому, как резво будете шагать . . .

— Шагать? Вы что, рехнулись? Сейчас, среди ночи, целых десять километров, а времени всего часа полтора!

Незнакомец выкрикивал все это с таким негодованием, будто был уверен, что стоит ему как следует отругать шофера, и машина сразу встанет на колеса.

— А вы что же посоветуете? Какие у вас предложения? — Парзительное терпение шофера дало едва заметную трещину.

— У меня? Предложения? К черту . . .

Эти слова, вернее даже их тон, говорили, что наконец и Путнинш перестал витать в облаках. Теперь и он увидел сломанную переднюю ось и лежавшее в канаве колесо. Нет, посоветовать он ничего не мог. Но и молчать был не в состоянии. Неудача распалая его все больше и больше. Честное слово, этот шофер — подозрительный малый. А вся поездка от начала до конца пахла саботажем . . .

Он сплюнул и повернулся к Амбайнису:

— Тонко сработано, не правда ли?

— Будь оно неладно . . . — помедлив, неопределенно согласился Амбайнис. Его мясистые плечи бессильно поникли, круглая спина выгнулась горбом. Застыв на месте, он настороженно прислушивался, всем своим видом напоминая кошку, почуявшую близость собаки. Только маленькие глазки металась во все стороны, заставляя думать, что точно так же суетятся и его мысли под лысым черепом.

— Я пешком не пойду! Вон попробуйте поднять мой чемодан . . . Лучше подождать попутную машину.

— Так она и поедет, — отмахнулся шофер.

Из темноты скользнули тени девушки и парня. Молодые люди прошли вперед и теперь бегом возвращались к машине.

— Слушайте! Нам повезло! — юноша звонко щелкнул пальцами. — Пoblзости дом!

— Видите, там, внизу, огонек, — показывала девушка.

В самом деле, из беспросветной чащи леса проглядывало слабое мерцание. Все смотрели туда.

— Хутор Ургас, что ли? — гадал шофер.

— А что это нам дает? — обратился Амбайнис к юноше.

— Если там дом, — найдется и лошадь. Сговоримся, чтобы отвезли. Вещи на телегу, сами сверху и пошел!

Сначала решили, что за лошадью отправятся юноша с девушкой и Путнинш. Но когда они тронулись в путь, Амбайнис не выдержал.

— Пойду, пожалуй, с ними, — сказал он. — На худой конец, заночую там. Что ни говори, а под крышей лучше, чем на дороге. — И, взвалив на плечи свой тяжелый, перетянутый веревкой чемодан, он проворчал себе под нос: — А то, глядишь, одни уедут . . .

Шофер дождался, пока затихли шаги Амбайниса, потом прыгнул через канаву и направился в лес. Старый Смилга следил за ним в окошко. Он остался в машине один.

— Вот несчастье-то, вот несчастье . . . — Смилга свернул сигарку, но в коробке не оказалось ни одной спички. Неожиданно с губ сорвался вздох. Он вслушался в этот печальный звук, и ему почему-то пришло в голову, что так вздыхают лошади в ночной тишине конюшни. Время, казалось, остановилось, и чувство полного одиночества охватило его. словно ища поддержки, Смилга нащупал в темноте грубую почтовую сумку. Так надо. У каждого свое место. Его место — здесь . . .

Тем временем остальные пассажиры разыскали ведущую в глубь леса просеку и по ней, как по огромной темной трубе, пришли во двор одинокого хутора. Службы его жались друг к другу, а ночь сливалась их в сплошной черный бугор, преграждавший путь напористому лесу. Немного поодаль стоял дом, мрачное каменное строение с изуродованной крышей — следами недавно прошедшей войны. Оголенные стропила, груды битой черепицы вдоль стен — от всего этого веяло запустением. Мрачное впечатление еще больше усиливалось грубоватой тишиной. Обычно к человеку, пришедшему на одинокий хутор, с лаем кидается собака. Здесь же навстречу им устремились лишь летучие мыши. И если бы в одном окне не светила огонек, можно было подумать, что дом необитаем.

Недолго думая, юноша взбежал на крыльцо и громко постучал. Тишину разрезало, как сметану ложкой, но она тут же слилась, еще гуще прежнего. Юноша снова постучал, настойчивей и громче. Таким стуком мертвых можно пробудить.

Но опять тишина. И все же за дверью что-то происходило. В этом убеждало скорее чутье, чем слух. Да, там кто-то был. Вот отодвинули засов, и, возможно, потому, что косяк был поврежден, дверь открылась сама по себе, со скрипом, медленно, но до конца. На пороге стояла старая женщина. Луна освещала ее бледное и скорбное лицо. Ни о чем не спрашивая, не говоря ни слова, она стояла и смотрела на них удивленным, пристальным взглядом.

Это было так странно, что юноша растерялся и даже отступил на полшага. И тогда мужчина подвинул его в сторону.

— Добрый вечер, — начал он не своим, приторным голосом. — С нами случилось несчастье. Не найдется ли в вашем доме лошади? Лицо женщины по-прежнему оставалось безжизненным, как гипсовая маска.

— В этом доме ничего нет, — сказала она. — Все, что было, давным-давно взято . . .

— Но в ночлеге-то нам не откажете? — вмешался Амбайнис, вылезая вперед. И, давая понять, что отступать он не намерен,

Амбайнис снял с плеча чемодан и расправил онемевшие руки.

— Не мне вам предлагать или отказывать.

— Ну вот и порядок. Заходи!

И Амбайнис, громко крикнув, снова взвалил чемодан на плечо.

Те двое уже скрылись в черной пасти двери. А юноша с девушкой все еще медлили у порога. Сделай она хотя бы полшага, он пошел бы за ней. Но она не спешила. Юноша чувствовал это и тоже не торопился, желая лишний раз убедиться, что девушка ждет именно его. Сейчас для него это было самым главным. Где-то на дороге стоит сломанная машина, скоро к станции подкатит поезд, даст гудок и побежит дальше — все мелочи. Главное — девушка ждет его.

Ночь стояла теплая, без малейшего ветерка. Осеннее небо до краев засыпано звездами, как закрома зерном. То там, то здесь блестящее зернышко срывалось с высоты и падало, оставляя позади себя огненный штрих. В вышине было слишком много блеска, и оттого звезды падали вниз.

Юноша отошел от двери и прислонился к столбику крыльца, чтобы лучше видеть лицо девушки. В лунном свете она казалась красивее, чем при тусклой лампочке в автобусе. Темные, слегка вьющиеся волосы отливали синеватым серебром, легкие тени делали черты лица хрупкими и нежными.

— Откровенно говоря, мне туда, — и он указал большим пальцем на дверь, — совсем не хочется... Обидно, если нас, благополучно переживших катастрофу, до смерти загрызут клопы. Пешком к поезду теперь не поспеть. А может, все-таки попадется попутная машина.

— Вам тоже в Ригу? — спросила девушка.

— В Ригу? Нет. Мне всего две остановки. До Пунской МТС.

— А...

В ее голосе звучало разочарование: «Всего-навсего... две остановки!»

— Я завтра должна быть в Риге. Экзамены начинаются. А теперь меня могут поймать и вернуть...

— Вернуть? Куда вернуть?

— Домой!

— Как вернуть? Ничего не понимаю!

Девушка молчала. И без того сказала слишком многое. Не потому ли, что начатый разговор сильно занимал ее, или потому, что главное уже было произнесено, она колебалась недолго.

— Я уехала из дома, не спросив согласия родителей... Ну, не понимаете? Очень просто... оставила записку — и до свидания! Хочу поступить в мореходную школу, а отец заупрямился... Предрасудки... Тогда я — назло. Почему я не могу быть штурманом, если мне это нравится и если девушек в школу принимают? Мне деревня вот так надоела! Я хочу мир посмотреть!

Может быть, в иной обстановке он бы отнесся к подобным словам иначе, но это был совсем особенный случай. И эта девушка не такая, как все.

— И отец вас разыскивает?

— Конечно. Он свое дело знает — он милиционер.

— А в школе все улажено?

— Документы послала почтой. И получила ответ.

Она опустила руку в карман жакета и достала аккуратно сложенный листок бумаги.

— Темно только, ничего не видно. Экзамены по математике, языку, истории. Больше всего боюсь математики. Когда я волнуюсь, у меня все формулы вылетают из головы.

Он взял листок, повернулся к свету и долго разбирал написанное.

— Да, Рита, вы смелая девушка! — прочитав письмо, произнес он с нескрываемым восхищением. Теперь он знал ее имя, и это было новым, очень важным открытием. — Но я ручаюсь, мы где-то с вами встречались! Вы живете на улице Лиела?

— Нет, я живу на улице Пурву. И то всего третий месяц. Во время оккупации я жила с бабушкой в Талсах. А вас как звать? Юноша усмехнулся.

— У меня такое дурацкое имя, — начал он не совсем уверенно. — Меня зовут Кристом¹. Я, разумеется, тут ни при чем!

Она слабо улыбнулась, и снова лицо ее приняло озабоченное выражение.

— Мне бы выехать с предыдущим поездом, но я никак не могла решиться. Всегда вот так. Но теперь-то все пути отрезаны. Я должна, должна ехать... Где я была, что видела? Талси да наш городишко. А чем занимаюсь? Мараю бумагу в заготовконторе. Выкроишь свободную минутку, так мать сейчас же: «корову подои», «грядки прополи», «картошку почисти». Контора, коровник да огород. А мир так велик, в нем так много городов, морей, океанов, лучезарных островов. Вы читали «Потерянную родину» Лациса?

— Читал. Это про Аю.

— И у вас никогда не появлялось желание услышать, как в корал-

ловых рифах разбиваются громады океанских волн, как шелестят пальмы от дыхания горячих пассатов?

— Я об этом просто никогда не думал...

— А я думала. Эти же звезды мерцают и над Таити, Самоа, и над Маркизскими островами. Вы читали «Сказку южного моря» Сомерсета Моэма?

— Нет, но я слышал, там, на юге, — другие звезды. Там, говорят, сверкает Южный Крест.

— А вы его видели?

— Не приходилось...

— И не придется, если будете вечно дома сидеть. Нет, с меня довольно крутиться белкой в колесе. Корабли бороздят планету. Рига, Шанхай, Рио-де-Жанейро, Вальпараисо... Вы думаете, из меня не выйдет штурман? В войну женщины водили бомбовозы... И вообще мы, дуручки, не используем своих возможностей.

Это был не праздный разговор. Каждое слово вылетало яркой искрой из пламени, того пламени, что давно горело в груди и теперь, наконец, прорвалось наружу. Все это она говорила больше для себя самой, чем для Криста, чтобы лишний раз проверить правильность своих доводов, как проверяют оружие перед решающей битвой. Это были высказанные вслух «за», которым предстояло опровергнуть невысказанные «против».

Крист, конечно, об этом не думал. Каждое слово Риты ему представлялось ослепительным откровением. Да и кто раздумывает, любящий праздничным салотом?

Между ними возникло то чувство доверия, близости, когда люди бывают до конца откровенны друг с другом. Наигранность, фальшь, стремление показать себя с лучшей стороны — все это само собой исчезло. Где-то на дороге лежала сломанная машина, где-то к станции подъехал поезд, прогудел и покатыл дальше, а здесь, посреди дремучего леса, во дворе таинственного дома звездной ночью стояли двое, сплетая радужные сны наяву.

— Когда я раньше смотрел, как падают звезды, — говорил Крист, — мне казалось, что рушится целый мир. А ведь это всего-навсего небольшие камешки...

— И все же странно: на таком же камешке, может, немного побольше, мчимся и мы в космосе. Почему? Неизвестно... И почему это все происходит в такой тишине? Там, во вселенной, где все крутится, вертится, казалось бы, должен стоять оглушительный гром, свист, скрежет. Может, мы просто не слышим?

— И хорошо, что не слышим, а то не могли бы сейчас разговаривать.

Две звезды проскользнули бок о бок через весь небосвод. Рита проводила их взглядом. Звезды скрылись за макушками леса, двор сиял точно позолоченный. Поднимался легкий ветерок. Воздух был полон запаха сена и звучного стрекота кузнечиков.

Теперь уже Крист не совсем понимал, что с ним происходит. Ему казалось, он плавно погружается в нечто бесконечное, прекрасное, и это нечто лучится в нем самом и вокруг него, и на земле, и в небе — повсюду. Так пловец иногда отдается течению. Плывьешь не шелохнувшись. Нежно ластится мелкая зыбь, ветерок качает гибкие стелби осики, в воздухе млеют стрекоты. Тебе хорошо, ты ни о чем не думаешь...

— Не пойти ли нам обратно к машине?

Слова Риты не сразу дошли до его сознания. Сначала он воспринял только звук — просто их музыку. Прошло немало времени, пока он понял сказанное, вернее, понял, что было что-то произнесено.

— Что вы сказали?

— Я говорю, а не пойти ли нам обратно к машине?

Это сразу отрезвило Криста. Он отвел взгляд от Риты — она стояла совсем близко — и молча кивнул.

— Хорошо, пойдёмте.

Они осторожно спустились с крыльца.

Крист сделал всего несколько шагов, как вдруг почувствовал — безотчетно, но остро, что они во дворе не одни. Когда окончательно Крист стянул с себя мечтательное настроение и осмотрелся, он убедился, что чуть не поддело его.

— Видели? — Крист схватил Риту за руку и увлек ее в тень сарая. — Видели?

В другом конце двора показались люди. Один, два, три, четыре. Да, четверо. Холодным блеском отливали в лунном свете стволы автоматов.

Как и прежде сверкало небо, до краев засыпанное звездами, воздух по-прежнему был полон запахом высохшей травы и звучного стрекота кузнечиков. Но теперь они видели только стволы автоматов и скользившие по двору тени, густые и грузные, будто слитки ужаса.

... Правой рукой придерживая чемодан, а левой ощупывая в темноте дорогу, Амбайнис осторожно шел за женщиной. Крепко вцепившись в его кожаный воротник, то и дело наступая на пятки, за ним плелся его спутник. Судя по глиняному полу, они находились на кухне. Тыфу ты, черт! Ушиб коленку. Никак, печка.

Женщина отворила какую-то дверь, и в глубине блеснул огонек. Еще шаг, другой — и они в просторной комнате, освещенной керо-

¹ Иисус Христос по-латышски произносится Езус Кристус. Потому-то юноша и стыдился своего имени (прим. пер.).

синовой лампой без стекла. Посреди комнаты четыре стула с высокими спинками. В углу за печкой — плохонькая деревянная кровать, совсем не под стать массивному, с дорогой отделкой шкафу, вплотную придвинутому к противоположной стене. Другой мебели не было.

— Будто в склеп спустились, — ворчал себе под нос Амбайнис, снимая с плеча нелегкую ношу. Он обшарил взглядом комнату, и вдруг его пронзительные глаза наткнулись на картину, висевшую в тени шкафа в широкой золотой раме: в терновом венце, смиренно сложив руки, молился Христос. По его изможденному лицу ручейками стекала кровь, красная, как клюквенный сок.

— Уж если здесь ночевать... — оглядываясь, сказал Путниньш. — По-моему, куда приятней на свежем сене...

При этих словах старуха разразилась громким хохотом, который никак не вязался с выражением глубокой печали на ее лице. И потом он был настолько неожиданным и неуместным, этот смех, что мужчины невольно вздрогнули и устались на старуху.

— Свежее сено!.. Ха-ха-ха!.. — своим колючим взглядом она впиалась то в одного, то в другого. — Будто здесь вы найдете свежее сено!.. А было когда-то, было... Сарай ломился от клевера. Гостям полотняные простыни стлали... А теперь... Теперь ничего не осталось. Все прахом пошло. Одну кровать на всех, вон ту, могу предложить...

— Ну что вы, что вы! Мы и на стульях подремлем. А то прямо так, на полу... — Амбайнис пристукнул каблуком по дощатому полу — он не выглядел грязным. — Верно говорю?

Вопрос адресовался Путниньшу. На самом же деле это был не вопрос — Амбайнис просто предоставлял товарищу по несчастью возможность выразить свое согласие. И вообще отношение толстяка к своему спутнику заметно изменилось. Он больше не утруждал себя любезностью. А Путниньш беспокойно хмурил густые брови и безо всякой причины теребил свой портфель. В его лице сквозили растерянность и недоумение. Он, видимо, сознавал это и всеми силами старался сохранить достоинство.

— В конце концов меня интересует, где мы находимся, — овладев собой, спросил он строго. — Чей это дом?

— Чей это дом? — повторила женщина, с угрожающим видом наступая на него. Она подошла так близко, что он ощутил ее дыхание на своей щеке. — И вы еще спрашиваете? Неужто господе у вас отняла глаза! Каленым железом на каждой стене выжжено, чей это дом! Это дом убийцы Бочи! Но всевышний воздал ему за все сторицей. Без его господней воли ни один волосок не упадет с головы...

Мужчины испуганно переглянулись, а старуха, не обращая на них внимания, продолжала все той же скороговоркой:

— Вам бы видеть, как он жил в ту пору, когда всех тут в кулаке держал. Я-то, дура, была молодая... Обманул он меня. Сам сатана язык ему подшеивал. Потом все годы мучалась, а он, знай, посмеивался... Он и сына родного, моего сыночка, смеясь, смерти предал. Говорила ему: «Побойся бога! Свою же кровь проливаешь!» А он, зная себе, щерится. Ох, кровавадный... И вся его банда такая же. Днем пили да пели, а ночами душегубством занимались. Вот тут же, за сараем, на опушке — сколько там их, расстрелянных, — хромой Аболиньш, Левинсон, Кильпенс. Артура они закопали заживо... Заживо! Он тогда что-то сказал Боче, а тот как толкнет его в яму... Сама видела... Знаю... Глаза-то ему не закрыли, глаза его песком забиты...

Женщина склонила голову и громко всхлинула раз, другой; крючковатые пальцы плыли в пустоте, с нежностью лаская что-то неуловимое, только ей одной видимое.

Амбайнис крикнул, покосился на соседа и довольно громко шепнул ему на ухо:

— Сумасшедшая... Ей-богу, спятила... Нет, уж какая тут ночевка...

Впрочем, если бы даже он кричал во все горло, женщина все равно бы не услышала. В это мгновение она склонилась над ямой, в которую душегубец Боча заживо закопал ее сына.

Путниньш направился было к двери, но старуха преградила ему дорогу. Весь ее вид говорил о решимости во что бы то ни стало закончить рассказ.

— И вот пришла расплата, — продолжала женщина немного спокойнее. — Что осталось от того вертепа? Голые стены да худая крыша! А где Боча, всевластный хозяин? В одной рубаше в окно выскочил, насили ноги унес из своего же дома! И нашел себе конец на дороге... А дружки его, ровно волки серые, по лесам, болотам рыщут... Иной ночью и сюда забредут, я-то их знаю. Днем боятся, окайные, все в ночь да в темень. Подкрадутся тихонько, на цыпочках. Жажда томит их, жажда. В лесу холодно, а кровь у них горячая... Погоди, погоди, никак снова рыскают? Шаги мне почудились...

Женщина бесшумно скользнула к окну и застыла там, напряженно вслушиваясь.

— Нет, — сказала она. — Это ваши те двое, что во дворе одолись.

Над коптящим пламенем лампы кружились мотыльки.

— Насколько я понимаю, сюда навевываются бандиты, не так ли? — произнес Путниньш, изобразив на лице подобие улыбки, но голос его звучал неуверенно.

— Да вроде, — отметил Амбайнис.

— И они приходят и уходят, словом, делают все, что взбредет в голову? Чепуха! Никогда не поверю! Леса очищены. Мне это известно совершенно точно.

— Если бы товарищ был здешний...

— Но куда же смотрят власти, если у них под носом орудуют бандиты? Скажите мне, куда смотрят власти?

— Чш-ш! — женщина заслонила ладонью рот. — Не так громко. Я все-таки слышу, они идут. Идут. Уже вошли во двор... Послушайте сами!

— Ничего не слышу, — отмахнулся Амбайнис. — А может, огонек-то все-таки погасить?

— Не троньте огня! Пускай горит!

Теперь со двора отчетливо доносился шум шагов. Кто-то поднялся на крыльцо. Вот каблук застучал по глиняному полу кухни. Так уверенно в потемках мог идти лишь свой в этом доме человек. Подойдя к двери, он задержался.

— Матильда! — прошептал хриплым голосом. — Это я... ты не бойся... Отвори...

Из груди женщины вырвался душераздирающий вопль.

— Ты? Нет! Не ты! — Вытянув руки, словно отгоняя привидение, она, пошатываясь, отступала от двери. — Ты лжешь, Боча! Теперь уж ты меня не проведешь! Ты умер! Это твой треклятый дух, нет ему покоя в аду... Э-э-э-э!

Она рухнула на пол, судорожно скользнув по стене сведенными пальцами.

В дверях с автоматом под мышкой стоял бородатый старик. Он выглядел не менее удивленным и растерянным, чем те двое, которые при виде оружия медленно подняли трясущиеся руки. Он хотел было бежать, но, увидев их дрожащие пальцы, остался. Высокий, немного сутулый. Бледное, худое лицо с запавшими глазами... С виду в нем ничего страшного. Попадись он вам на базаре с корзиной яблок, вы бы сочли его добродушным деревенским дедушкой. Но сейчас он пришел из черной ночи, его палец лежал на спуске автомата...

— Янис! Никак ты! — первый опомнился Амбайнис. — Неужто не признал меня? Мы ж вместе у отца Митула грамоте обучались. Вишь, как встретились!..

Лицо Амбайниса, застывшее в испуге, исказилось кривой улыбкой. Осмелев, он даже приснул жиденьким смешком и собирался опустить руки, но резкое движение автомата заставило его отказаться от этой мысли.

— А спутничка моего — его ты хорошенько пощупай. Он из Риги. Хи-хи-хи... И чего им тут надо, чего сюда повадился...

— И рядовой... самый обыкновенный человек... Навешал родных. Я никому не сделал зла... — беспомощно мямлил Путниньш.

Бородатый сделал несколько шагов вперед и осторожно левой рукой прощупал у обоих карманы. Пальцы у него от грязи были коричневыми, как у разлагающегося трупа. На самом деле, он был моложе, чем казалось с первого взгляда, — лет пятьдесят, не больше. Его внимание привлек чемодан Амбайниса.

— А ну раскрой-ка этот сундук! — произнес он с усмешкой.

Не спуская глаз с черного дула, Амбайнис угодливо и ловко распахнул чемодан: в нем было сало, яйца и бутылки с самогонном.

— Больно кожанка у тебя хорошая, — сказал бородатый почти дружелюбно. — Осень на носу, зачастят дожди, такая вещь для меня — находка. Знаешь, что, снимай-ка. От чужого, может, и не принял бы, а от тебя, старого друга...

— Ну, конечно... Раз нужно...

Амбайнис послушно скинул пальто и бросил его на спинку стула.

— А теперь надо бы спрыснуть это дело. Открой нам бутылочки, скажем, три.

И этот приказ был быстро исполнен.

— Ну, ну, ты тоже бери! — крикнул бородатый Путниньшу.

Все трое разом приложились к горлышку и отпили по глотку. После этого бородатый закупорил свою бутылку и сунул ее в карман. Амбайнис с Путниньшем потянулись было к пробкам, но бородач грозно шевельнул автоматом.

— Вам до дна пить! Что за фокусы! Чтоб у меня все выдули!

И они пили, задыхаясь, захлебываясь, проливая слезы. Лица их стали багровыми, зрачки расширились. В глотках булькала жидкость — вот-вот хлынет через край. Но бутылки все же осушили. И потом долго хватили руками воздух.

Позабавившись немного этим зрелищем, бородач забрал пальто, прихватил еще пару бутылочек самогона, увесистый окорок и попятился к двери. Мимоходом он просто так, без всякой надобности пнул ногой женщину. Она не шевельнулась — лежала как мертвая.

Над пламенем лампы кружились мотыльки, под потолком нудно зудели какие-то насекомые.

А те двое, обнявшись, колобродили в комнате. Временами они смеялись, временами плакали, бормоча бессвязные слова, вроде «да я ему», «ну, погоди».

Ведь и чайник кипит еще несколько мгновений после того, как его снимут с огня.

... При виде вооруженных людей у Криста по спине забегали мурашки. Это был тот обыкновенный страх, который в большей или меньшей степени испытывает всякий в минуту опасности. Но тут же он ощутил в себе и другой страх — страх оказаться трусом в глазах девушки. И этот страх пересилил первый, он заставил Криста собрать воедино все свои силы. Девушка в опасности — надо спасти девушку. О себе он не думал. С бешено бьющимся сердцем, но внешне спокойный, Крист еще раз внимательно оглядел двор и теперь совершенно отчетливо представил себе, что произошло.

— Наше счастье, что вовремя ушли с крыльца, — наклонившись к Рите, прошептал он. — Здесь мы пока в безопасности.

Он чувствовал, что Рита дрожит всем телом, даже зубы у нее слегка стучали.

— Уйдем скорее отсюда! — молила она, отступая еще дальше в тень.

Те четверо с автоматами уже были посреди двора. Шли они порознь, неторопливо, словно на прогулке. У крыльца остановились, посоветовались. Потом один из них широким валким шагом поднялся на крыльцо и скрылся за дверью. Остальные уселись на ступеньках и молча закурили. При каждой затяжке папиросы бросали на лица красноватые блики. Потом светлое пятно гасло и вспыхивало снова.

«Что теперь делать? Что делать?» — в голосе Криста, словно крылья ветряной мельницы, вертелся один и тот же вопрос. Остаться с Ритой здесь — нельзя. Здесь их в любую минуту могли обнаружить. Укрыться в сарае? Рискованно. Кто знает, что на уме у бандитов. Только теперь он вспомнил о своих попутчиках. Предупреждать Амбайниса с Путниньшем уже поздно. Единственный выход — скорее вернуться к машине, известить обо всем шоферу и Смилгу. Значит, надо выбраться со двора, а это не так-то просто. Одно неосторожное движение — и их обнаружат. По спине Криста вновь забегали мурашки, будто к ней прикоснулась чья-то холодная рука. Но рассудок, как и прежде, работал четко, ясно, и в Кристе просыпалось что-то похожее на азарт. Те, что сидят на крыльце, — они сделали свой ход первыми. Теперь его черед. И он должен сделать верный ход, ошибиться нельзя.

— Пошли! — не медля ни секунды, Крист нащупал в темноте руку девушки: — Тише! Вдоль стены!

Он почти волочил Риту за собой. Его пальцы крепко сжимали руку девушки, и он отчетливо слышал, как скачет ее пульс. И в этот миг Рита показалась ему такой беспомощной и слабой, что захотелось взять ее на руки.

С большой осторожностью они добрались до угла сарая. Теперь им предстояло самое трудное — пересечь залитую лунным светом лужайку, отделявшую сарай от просеки. Безопасней было сделать это в одиночку, но Рита не могла и шагу ступить без Криста. И тогда они побежали вместе. Бежали, не чувствуя под собой ног, а Кристу все чудилось, будто кто-то внутри отбивает бешеный такт: «Вот-нас-уви-дят! Вот-нас-уви-дят! Вот-нас-уви-дят!» Но это стучало его сердце.

На просеке они остановились и, затаив дыхание, вслушались в обманчивую тишину ночи. Кристу казалось, что целая вечность прошла с тех пор, как они пришли к этому страшному дому. И как звонко отдаются их шаги! А там, в тени, — не стоит ли там кто с автоматом?

На дороге все было по-прежнему. Смилга сидел в глубине машины. Шофер пристроился на помятом крыле и лениво жевал бутерброд. Обычно в это время он уже лежал в постели и потому сейчас то и дело позевывал. Такая безмятежность никак не вязалась с возбуждением Криста, она еще больше его будоражила.

— Эй, вы! — резко крикнул он шоферу, вырастая перед ним с искаженным до странности лицом. — Вы тут сладко развелись, а вокруг орудуют бандиты!

Шофер воспринял это как шутку и равнодушно пожал плечами.

— А ты что, собрался им помочь?

Шофер не сразу поверил рассказу Криста. Но и поверив, всего-навсего покачал головой и произнес замысловатое ругательство.

— Смилга! Слышишь, что парнишка говорит?!

— Как не слышать? Слышу, милоч, слышу...

Старый почтальон сидел в дальнем углу кузова, ссутулившись и сжавшись, так что снаружи его почти не было видно. Голос звучал тихо, будто из подземелья.

— Ну так что же делать? — нетерпеливо спрашивал Крист. — Нас трое (он бросил взгляд на Риту, ее он не принял в расчет), у нас револьвер. Идем выручать Амбайниса и этого...

— Да ты, мальчик, никак с ума спятил! — в глазах шофера загорелись злые огоньки. — Мигом крылышки опалишь. Ты не беспокойся за Амбайниса — он как угорь скользкий. Лучше сам о себе позаботься. Я тут видел густой соснячок...

Тон шофера разозлил Криста.



РИСУНКИ ВАЛДИСА ВИЛЛЕРУШСА

— Нет, мы должны! — повторил он упрямо. — Как можно! Во-круг шляются недобитые фашисты, а мы... Подкроемся незаметно, начнем стрелять, поднимем шум. Бандиты разбегутся, я ругаюсь. Такие разбегаются только порох почуют...

— Мальчишеские фантазии. — Шофер дожевывал свой бутерброд. — Выше головы не прыгнешь!

Откровенно говоря, теперь и Криту запало в душу сомнение. Но что, что делать? Не стоять же сложа руки!

— Товарищ Смилга, вы дадите мне свой револьвер? — Крист решительно сунул голову в дверцу машины.

Смилга беспокойно поерзал в темноте.

— Об этом, сынок, и не проси. Не мой он, государственный...

Крист почувствовал, что к глазам подступают слезы.

— Хорошо... — его голос предательски дрогнул. — Теперь я, по крайней мере, знаю, с кем имею дело. Эх, вы...

И тут раздался возглас Риты:

— Крист! Они идут!

— Кто? — сначала Крист не понял. — Амбайнис?

— Нет! Они...

Да, это были они. И вышли они на дорогу не у просеки, а гораздо ближе, у опушки молодого сосняка.

— Рита, бегите! — Крист до боли сжал ее руку. — А мы должны остаться!

— Все в лес! — крикнул шофер и сам перемахнул через канаву.

— Мы должны остаться! — упрямо твердил Крист, с ужасом чувствуя, что вот-вот перестанет владеть собой и поддается страху. — Куда же вы?

Рита вцепилась в Криста:

— Я боюсь... Я одна не пойду... Я одна не могу...

Крист с силой рванул руку, но девушка не отпускала ее. Тогда и Крист прыгнул через канаву. Он понимал, что бежит как трус, что это гнусно, но безрассудный страх увлекал его дальше и дальше... Рука Риты лежала в его руке, но он не был счастлив, он не был счастлив...

И вдруг он вспомнил про старого Смилгу. Неужели Смилга остался? Смилга?

Крист споткнулся, упал и уже не пытался подняться.

Шаги приближались уверенно и неотступно. Вот они послышались совсем рядом. Смилга почувствовал в груди пустоту, абсолютную пустоту, и в этой пустоте каждый шаг незнакомцев отдавался страшным эхом. Он привстал и привычным движением, в котором была его многолетняя аккуратность и любовь к порядку, оправил свою ветхую тужурку. Пальцы одну за другой пробежали все пуговицы и уткнулись в тяжелую прохладную пряжку ремня. Смилга вздрогнул, но тут же овладел собой: он знал, зачем он здесь. Его долг прост и ясен.

Перед дверцей всплыли темные тени.

— Есть кто-нибудь в машине?

— Есть, есть, — довольно бодро отозвался Смилга, удивляясь самому себе. — Почтальон!

— А ну, выходи!

— У меня почта...

Тогда один из них, тот, который собрался лезть в машину, закричал:

— Молчать! Вылезай, раз тебе говорят! Да поживей! Ну?

От них несло самогоном, на это у Смилги нюх был острый. До чего же мерзко пахнет эта дрянь!

Смилга снова прикоснулся к пряжке ремня, скользнул рукой к кобуре и не спеша расстегнул ее. Потом он стал вытаскивать наган, и его передернуло, будто от боли.

— Не влезайте сюда, — сказал он, борясь с одышкой. — Мне придется стрелять... Я прошу вас...

И тут он подумал: «А что, если я не сумею выстрелить?» Он никогда не стрелял.

В ответ раздался дружный хохот:

— Хе-хе-хе, старый дуралей! Это ты-то будешь стрелять?

Черная тень двинулась прямо на него.

Думая о том, что сейчас раздастся выстрел, Смилга закрыл глаза.

— Я прошу вас... У меня почта... Именем Советской власти!..

И Смилга спустил курок. Грохот выстрела, точно острый бур, просверлил глубокую скважину в тишине ночи. И сейчас же посыпались длинные очереди из автоматов.

Смилга успел заметить, как черная тень покачнулась и отступила. И это было последнее, что он увидел.

Через несколько мгновений к машине подбежал Крист. Схватив валявшийся на земле наган, он выпалил все патроны до последнего. Те, в кого он стрелял, беспорядочно отстреливаясь, снова скрылись в темноте.

А Смилга, повалившись ничком, прикрыл своим тщедушным телом старую почтовую сумку, и его застывшие глаза как будто говорили: «Вот видишь, я остался до конца...»

Смилга — мертв. Криту это казалось невероятным. Он был еще слишком молод и потому не знал, как немного надо для того, чтобы убить человека.

Медленно и неохотно занимался хмурый осенний рассвет. Из кустарника вдоль опушки выползал и стелился по дороге синеватый туман. Вокруг все стало иным, не похожим на то, что виделось ночью. Все было будничным, обыденным, серым.

Постепенно улеглось волнение, и с людьми случилось то же самое — и в них все стало будничным, обыденным, серым.

Примерно час назад по шоссе проехала машина, она увезла в город известие о случившемся. С минуты на минуту ждали милицию.

В затерянном посреди леса доме крепким угарным сном спали Амбайнис с Путниньшем. Помешанная старуха стояла на коленях перед образом и нараспев читала молитву.

Смилга лежал в машине. Крист положил ему под голову почтовую сумку, а шофер прикрыл похолодевший труп своим пальто. Казалось, старый почтальон просто задремал и укрылся с головой, — утро было свежее.

Шофер ходил вокруг машины и хмурился: пулями выбило все стекла.

Крист и Рита, задумавшись, сидели рядом на траве. Рядом. Но на самом деле теперь они были далеки друг от друга.

— Ты говорила, отец у тебя милиционер, — сказал Крист, когда настолько рассвело, что стали видны заплаканные глаза Риты. — А вдруг он и придет?

— Вот и хорошо, — с грустной улыбкой ответила Рита. — Не поеду в морское училище, все это глупости. Какое там море, раз я такая трусиха. Нет, я передумала, в последний момент всегда передумываю...

Она как будто начинала постигать великую истину, что человеку не менее важно узнать самого себя, чем весь огромный мир.

Медленно стелился туман. Со стороны казалось, что машина плывет в его тихом, безмятежном потоке. А небо светлело и светлело.

Ночь прошла.

ПЕРЕВОД СЕРГЕЯ ЦЕБАКОВСКОГО

АНАТОЛИЙ НАЗАРЕНКО

Прорвало свет. Сияет грязью поле.
Под саваном зачатые новых сил.
Невнятный голос мне провозгласил:
Смотри, запомни! Это образ воли.

Сомнамбулы поют мифические роли,
И город муравьев едва ожил.
Забывшее не встало из могил,
Чтоб слово воскресить живительную болью.

Возьмет эпоха шанс чужим теплом упиться
И с легкой вьюгой в судорогах биться,
Потешиться над телом звонаря.

Блудливый хохот колокол качает,
Но слова медь разбитая не знает,
Бессмысленно над городом паря.

У серой птицы долгие крыла.
Она полнеба ими заслонила.
Сквозь них полжизни солнце не светило,
Другую половину ночь взяла.

И ты во мраке куклу обняла.
И на могиле розы посадила.
Венки и цепи дали тебе силы,
Чтоб куклою ты утром ожила.

Но куклам все равно, добра ты или
зла.
Кончается весна, и лето сменит осень.
И розы лепестки и листья сбросят.

Их съест огонь, развеет горький дым.
И дети подойдут к тебе и спросят.
Что скажешь ты? Что ты ответишь им?

Пустырь. Бетонные обломки
Да вдалеке какой-то куст.
Остались позади потемки,
Но мир мой также гол и пуст.

Здесь, над поруганной землею,
Зачем-то виснут провода.
Здесь небо серое от зноя
Не даст надежды никогда.

И липкий пот, и рой мушиный.
Под сердцем острая тоска.
Колеса бешеной машины
Уходят в яму из песка.

ПОЛВЕКА

В этот вечер,
Когда ленивая рыба тоски
Добычи ждет
В жуткой и темной реке
Моих воспоминаний,
Я вдруг понял,
Время никуда не течет.
Времени нет.
Для покаяний!
ТОЛЬКО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!

1987 г.

ЕВГЕНИЙ ЗВЯГИН

БЕСТОЛКОВЫЕ ПОХОРОНЫ

РАССКАЗ

... разве он не умирает?

Шекспир. «Венецианский купец»

Сначала раздался высокий, как бы скрипичный звук, и вместе с ним что-то забрезжило, вроде овального серенького пятна с размытыми краями, и, отвердевая, стал перед открытыми глазами кусок окна, лия в комнату, в подключившийся и осознавший зрачок белесый полужимний свет. В комнату заглянула мать, я узнал, что это она, по заскрипевшей двери — уже второй год, с тех пор, как я женат, не могу приучить ее стучаться перед тем как войти — и чтоб увидеть ее, не поворачивая головы — всклокоченные, нерасчесанные со сна волосы, и добрый, слегка безумный, если смотреть подолее, взгляд ее глаз, я скосил глаза на зеркало, висевшее напротив кровати, но ровное матовое пространство было мне ответом — уже третий день зеркало было завешено.

— Вставай, — сказала она тихо, — и мягким комом навалилась на сердце смутная и тягостная обязанность сегодняшних похорон.

В соседней комнате уже встали — тетка, родная сестра моей матери, и бабушка, их мать, уже третий день ночевали у нас, и оттуда слышался старческий шелест, стародевичья суэта, негромкий истерический шепот.

— Рахиль? Когда же придет такси? — говорила бабушка. — Ты уже заказала?

— Успокойся, мама, — отвечала моя тетка, — машину еще вчера вызвали!

— Осаф! — поворачивала шуплая бабуся глаза с дивана, и сочетание гласных «оа» в его имени звучало в ее устах особенно скорбно, — это правда, машина скоро придет?

И уже срывающийся с места, с извечно раздражительную гримасой, и полудрожа толкающий руку в рукав пиджака отец мой (не выдержал — «курицы», и «дуры»), — отвечал из прихожей:

— Я поеду вперед, в больницу водников, посмотрю, чтобы все было в порядке!

И я видел его иссосанное ленинградской блокадой лицо

за окном автобуса, с извечным надломом, очерченное столь сухою иглой тоски, и безнадежности, и злобы, что даже я, всему свидетель и генетический преемственник, рухнул бы, и не выдержал, и сам бы умер, распался — покатила бы моя голова, и руки бы вывинтились из суставов, и кровяною жижей разверзся пах, если бы мне пришлось носить в себе ежесекундно и переживать такое.

— Миша, — сказала мне бабушка, — позвони насчет машины!

— Не беспокойтесь, бабушка, — отвечал я, растирая слегка саднящее после бритья, румяное, не в зеркале, потому что завешено, а так, на ощупь, лицо, — скоро она придет.

— Ты знаешь? — говорила она с укоризной, и я уже насупливал брови, и Рахиль, хорошо знакомая с нашей семейной нетерпимостью, уже боясь резких слов и скандала, столь непристойного и столь возможного в этот день, — говорила — успокойся, мама, — но тут зазвенел телефон и женский голос с жестяным привкусом вопрошал мое ухо: «Машину заказывали?»

Я вышел на улицу встречать такси. Погода была неординарная: снег, выпавший осенью, то есть — неестественная, лживая и хрупкая белизна, почти прозрачная от переменчивой теплоты и черноты, подпирившей ее, — в чисто ленинградском неустойчивом стиле.

Бабушка и Рахиль бежали когда-то куда-то в «эвакуацию» из Житомира, и почему-то на корабле, и стояла страшная толкотня и давка, и визжали и рвались рядом с житомирским портом смертельные антисемитские бомбы, и их растащили в толпе, но они как-то дотянулись друг до друга и с тех пор не разнимали рук — и это проявлялось в холодной методичности, с которой бабушка отваживала провинциальных мослатых и представительных женихов от дочери, и в робости и индифферентности дочери на этот счет, и в том, что каждый каприз этой выжившей из ума, но холодной и расчетливой фурии она выполняла беспрекословно.

В машине мы с теткою переругались. Я пробовал объяснить шоферу, как быстрее доехать, а она мешалась в беседу, — мол, ему лучше знать, — как бы подлизываясь к нему, долгим поруганным опытом боясь нарваться на грубость, и потому — заискивая, и меня взбесил ее этот испуганный тон, я сказал: «Замолчи, не мешай!»

Но вдруг и она окрысилась, и когда мы приехали, то оказалось, что я был неправ, потому что в этом месте не было левого поворота, так что надо было от Калинкина моста вдоль Фонтанки сотню метров пройти пешком.

Под аккомпанемент обвинений и причитаний я шел к пурпурно-оштукатуренной стенке больницы, где у подворотни столпилась уже стайка близких и дальних родственников. Сквозь длинный больничный, с продрогшими черными спицами деревьев двор мы все, — и хромяя, толстущая тетя Соня — не покойница, но ее тезка — с оплывшим, многоступенчатым от жира лицом, и ее седенький муж, и моя мама, его сестра, и Рахиль, и седая вострилая мать их, и я, и дочь покойной, и еще кто-то, кажется, это была моя красивая двоюродная сестра в собачьей шубе, — прошли туда, где за линиялой и облупленной дверью лежала покойница.

Покойническая — это комната. И несмотря на карболочный запах, хрустящие восковые венки и обилие неживых, вернее живых, но мертвенно-бледных от прохлады цветов, — сама акустика в ней и буднично заклеенное белою лентой окно, и сор по углам, — придавали ей уютный вид.

В центре стоял красный гроб. Из-за чьей-то спины, обойдя ее, я увидел лицо умершей, и удивился, насколько простое и благородно-безразличное выражение его отмечает, и некий покой сошел мне на душу, какое-то уверенное и даже благодное, я бы сказал, чувство.

Она умерла от удущья, но это не оставило гримасы страдания на ее лице — на мучительном этом поединке с небытием, который зовется смертью, оно не настаивало, и рыданий совокупных не провоцировало — я удивился той тихой, не вопящей, но до дна души оплакивающей скорби, с которой приняли ее в свою череду, и как бы раскачивали на руках сострадания и горя эти старые женщины, и моя мать, и старухи.

Бесконечно тронутый, я вышел оттуда, и увидел, что идет уже легкий снег, и, завернув за угол, закурил, и стал расхаживать вдоль пожухлой стены больничного пакгауза, следя за сонмом летящих с небес белых мух, удивляясь, что даже это незамысловатое, кажущееся — снег — может смотреться в иных обстоятельствах — трагедийной завесой, отделяющей причитания хора от появления вестника.

Подъехал востроносый, неприятно-бежевый с черною лентой автобус, и деловитый шофер в белой безобразной вязаной шапочке с козырьком прыгнул с подножки и ушел за дверь. Я понял, что сейчас понадобится моя помощь и последовал за ним. Он, видимо, уже сказал, что надо, моему отцу, и тут же вышел, и я, повернувшись, услышал: «Ах, чего-то она еще не доделала...» И чуть позже: «А ведь она так хотела жить!» — громко вздыхала какая-то незнакомая женщина, кажется, соседка умершей. И настолько нелепым было это нарочитое расчесывание не своих даже, но чужих сердечных ран, что я чуть было не прыснул, и, сохраняя приличие, должен был незаметно выскользнуть из комнаты — вероятно для того, чтобы нос к носу столкнуться с зятем покойной — веселым краснощеким человеком, который уже распорядился там за дверью: — Пора, пора! — пионерским рожком, добрым утробом звенел его голос в тишине морга, — машина ждет! Труба зовет!

Все вышли и тогда: «Да это, никак, Миша», — раздалось за моей спиной, и я увидел старшего брата моей матери, отца той самой красивой двоюродной сестры, и улыбаясь протянул ему руку. Но тут же услышал шипящее сбоку: «Не здороваться сюда пришли, но прощаться!» — и его лицо — лицо мрачного местечкового Гамлета, засыпанного во время бомбежки, или собственную жажду чего-то невозможного с ним, но безумно привлекательного, соб-

ственной нелепой мечтой заваленного человека, дернулось у меня перед глазами и чтобы куда-то деть руки, оскверненные приветствием и здоровьем, я взял молоток и, невесть как очутившись рядом с груженным гробом, стал прилежно его заколачивать.

Ехали долго. Зять задохшейся женщины, видимо, для удобства, решил похоронить ее рядом со своими родителями, чтоб не слоняться по разным кладбищам, подновлять ограды и сдувать пыль с венков, — и повез ее далеко за Ленинград, в Павловск, где они, волею судеб, были похоронены.

И когда толпа пожилых некрасивых людей сгрудилась у ворот кладбища, я увидел — навстречу им шагала трое молодых румяных парней — длинноволосые, разнокалиберные одетые, кто в сапогах и немисливо модных куртках, кто в ватнике защитного цвета и ярко-лаковых кожаных ботинках с медными пряжками, — они напоминали какую-то невозможную битловую группу, каких сейчас много — каких-нибудь «удальцов», «дервишей» или «пришельцев», но пришельцами, совершающими непонятный им, даже, вероятно, юмористический хадж, были здесь мы. И, подбегая к ним, отец мой и развеселый радужный зять, стали им что-то доказывать и показывать, а они молчали, продолжительно улыбаясь напряженной, слегка хмельною улыбкой.

Я нес гроб к могиле, но думал о другом: о женщине, чье лицо вдруг бросилось мне в глаза, — раскрашенное наподобие нелепой гротескной маски, где условно, мелом и сурью написано было «красота». Она — сестра моего отца, была когда-то и впрямь молодой и зажигательной, и ее полюбил самый «мировой» парень нашего двора, лихой аккордеонист и завклубом в зеленоградском санатории, Володя Матросин и, поматросив с нею лет пятнадцать и наделив взрослою дочерью, оставил и ушел к другой, но она напряглась, и в безумном борении, доведя свою дочь почти до петли, а себя до неизлечимой сердечной болезни, заставила его вернуться, но навсегда ее лицо обрело с тех пор жалкий размалеванный облик оставленной Пенелопы.

Но вот уже гроб раскорячился красными торцами на козлах над могилой и молодые могильщики, суетясь, приготавливали какие-то жерди и веревки, нужные им в деле, и тут возникла заминка, очень недолгая — открывать ли гроб, но зять покойной, закулив и облапив свою жену, дочь умершей, протрубил, напрягшись и краснея, как бас-геликон: «Вперед, сыпьте ее туда!» И вот я уже держусь за какой-то ремень, и со стуком опускаю гроб в яму.

Долго стояли мы, дрогли, глядя, как разгоряченные вином и работой хипстеры танцевали с лопатами над могилой, и я, отвлекшись, глядел и никак не мог привести в соответствие две соседские надгробные надписи: «Изе Соломоновне Лейбиной. Скорбящие муж и сын». «Марку Петровичу Лейбину. Скорбящие сын и жена». Поскольку даты стояли на надгробиях разные, то получалось, что то ли жена, то ли муж скорбели друг о друге из дальней стороны смерти.

Могилу засыпали. И тогда вдруг около холма, держась рукою за чужую ограду, возникла бабушка и запричитала над засыпанной дочерью на непонятном мне языке, и хоть она, усопшая, умерла от удущья, не о том был надгробный бабушкин плач, ибо единственное слово, мною понятное, было слово «идене» — «еврейка» и бабушка среди снега была страшна — сухонькая, дрожжащая, ориентальная...

Мой отец подошел к ней, чтоб увести, но с дергающимся лицом бросился к нему странный субъект, тот самый полузаваленный местечковый герой, мой родной дядя, отвлекая его от старухи, — пусть говорит, не мешай!

И глядя на них, столь похожих, но уже не совсем и людей, на двух старых, больных, измолотых жизнью мужчин, я внутренне гаркнул: «Ты, кто есть Бог или Некто, хоть и с малейшим оттенком личной воли, — что ты соделал с ними в неумолимом и страшном течении своих законов? И зачем плеснул едкою щелочью их бытия в мою душу?»



ФОТОМОНТАЖ СЕРГЕЯ ДАВИДОВА

ЧЕТЫРЕ ЗАБЫТЫХ ПОЭТА

Есть в русской поэзии (как и в каждой?) поэты, которых вспоминают, но не помнят («Между помнить и вспомнить, други, расстояние, как от Луги до страны атласных баут», — говорит Ахматова в «Поэме без героя»). Они вспоминаются потому, что их биографии и стихи переплелись с судьбами и сочинениями их великих современников, и при этом они обречены людскому забвению, которое предчувствовали сами и которое из будущего пропитывало своим холодком их поэзию.

Эти поэты, сами осознавшие себя «малыми поэтами», присягнули горькому и почетному жребию неудачников, эпизодических персонажей, обитателей сносок и комментариев.

Валентин Иннокентиевич Анненский, сын одного из самых значительных русских поэтов, взял себе псевдоним «Валентин Кривич» (по названию одного из русских племен, от которого в латышском языке произведено обозначение русских вообще). Ему, бывшему одним из первых слушателей стихов мало печатавшегося при жизни отца, суждено было стать и одним из первых поэтов «школы Анненского». От отца он унаследовал и некоторые навязчивые темы (например, похорон) и внимание к серым, мгlistым петербургским сумеркам и «поэтике дождя» — одно такое стихотворение с одобрением цитировал Иннокентий Федорович в своей предсмертной статье:

Неразуманною думой
Молча в вечность уходя,
Был закутан день угрюмый
Паутиною дождя.

У заборов, на панели,
В глине желтых площадей,
Целый день, шумя, чернели
Кучи вымокших людей.

И, зажегши за туманом
Глаз слепого фонаря,
Умирал, больным и пьяным,
Красный День календаря.

Велся скучно и невнятно
Скучный спор дождя и крыш,
И зловещи были пятна
Синих вымокших афиш.

И. Анненский отметил у сына еще и «согбенность в тоне» — эта черта, словно продолжающая интонацию «Записок из подполья», свойственна и поздним стихам Кривича (он умер в 1936 году от туберкулеза после трудных полугодных лет).

Биография Александра Алексеевича Кондратьева (1876—1967) тоже связана с именем Иннокентия Анненского. В бытность свою директором гимназии, где учился Кондратьев, Анненский привил ему на всю жизнь интерес к античности. Позднее Анненский не без добродушной иронии наблюдал у своего ученика любовь к экзотическим словам. В своих мифологических реконструкциях Кондратьев был педантичен, следовал словарям и раздражался, например, когда Мандельштам в стихах назвал Афины «богиней моря». Но стилизации его не лишены однотонной певучей силы, и современному читателю в «Жалобе Елены» мерещится толчок к мандельштамовскому «За то, что я руки твои не сумел удержать...».

Античная эротика Кондратьева окрашена оттенками культуры «конца века». Как это часто бывало в русской поэзии, наиболее «свой» материал Кондратьев нашел в чужой речи. Ритмизованная проза «Песен Билитис» французского писателя Пьера Луиса в кондратьевском переводе вместе с появившимися почти тогда же «Александрийскими песнями» Михаила Кузмина оказала очевидное влияние на традицию русского верлибра. «Песни Билитис» — мистификация, цикл стихотворений в прозе от лица гречанки шестого века до нашей эры, которую судьба привела на остров Лесбос, где она научилась стихосложению у загадочной и леген-

дарной Сафо. Поэт Владимир Пяст вспоминал Кондратьева как «скромного по манерам, но не очень скромного по языку, одетого в черное штатское платье поэта-чиновника». Вот эту исконно не идущую к духу русского стиха нескромность поэтического языка Кондратьев и пытался компенсировать в переводе «Песен Билитис», этой, по слову Иннокентия Анненского, «шутливой проделки, которую, кстати сказать, едва ли не напрасно перевели по-русски, так как язык Серапиона, Аввакума и Достоевского невольно обличает бесстыдство александрийских статуэток».

Виктор Лазаревич Поляков (1881—1906) — близкий друг Кондратьева, мизантропический остроумец из богатой семьи, каменно-неподвижный, прозванный сверстниками «мычащим пророком», застрелился в Париже. Его стихотворение о последних поэтах как-то отделилось от его небольшого литературного наследия. Александр Блок процитировал это стихотворение в рецензии на посмертный сборник Полякова, и оно стало жить в литературе почти без памяти о его авторе. Приближающееся по своей полуанонимности к фольклору, оно стало кочующей цитатой в статьях поэтов русской эмиграции.

В одном из вариантов «Поэмы без героя» Ахматова обращается к другу:

Что над юностью встал мятежной,
Незабвенный мой друг и нежный,
Только раз приснившийся сон,
Чья сияла когда-то сила,
Чья в Крыму забыта могила,
Словно вовсе и не жил он.

Это — Николай Владимирович Недоброво, поэт и филолог, скончавшийся в Ялте в 1919 году. Спустя десятилетие другой поэт (Михаил Струве) вспоминал:

Я проходил на дачу, на веранду,
Где на кушетке, под мохнатым пледом
В чахотке умирал Недоброво.
Мой бедный друг! Я помню, как сейчас,
Той золотистой осени прохладу
Благоуханную. Большой ваш голос
И исхудалых рук рисунок слабый
На темном пледе. Раненым орлом,
Олеем гордым в тишине достойной
Вы угасали...

Много ахматовских стихотворений обращено к Недоброву — при его жизни и по смерти. В этой подборке приводятся два его стихотворения, адресованные Ахматовой, перекликающиеся с ее стихами, как бы две реплики из его роли в их поэтическом диалоге.

Недоброво печатал стихи мало и неохотно, подолгу их дорабатывал, переписывал через несколько лет, стремясь к старомодной по тем временам сдержанности стихового письма. В 22 года он записал в дневник: «Главный недостаток современных поэтов заключен в их напряженности, в стремлении развернуть все свои силы, не оставить ни одной из них в потенциальном состоянии, в выдавливании всего из себя, — словом, в понукании. Мне они напоминают бесено финиширующую лошадь, с заложными назад ушами, с оскаленными зубами, избиваемую хлыстом и изрезаемую шпорами». Потенциальные силы Недоброво явно были незаурядными, но только часть их успела реализоваться. Прожив на земле пушкинский срок, он остался забытым как поэт и только в самые последние годы оценен как замечательный филолог. Он, которого Андрей Белый считал претендентом на «освободившийся престол Тютчева»...

Почти физически ощущаешь, как рвалась эта залетейская тень в наш беспмятный мир. В 1968 году в Варшаве вышли мемуары великой старой дамы польской поэзии Казимиры Иллакович «Тразименский заяц. Книга отступлений». В числе прочих занимательных и поучительных историй поэтессы, жившая в юности в Петербурге, передавала слышанный от кого-то рассказ о том, как петербургская купчиха Любовь Александровна взяла под опеку юного Николеньку Недоброво, а тот посватался к своей олекунше,

которая была на десять лет старше его. После долгих отказов она через несколько лет вышла за него, но брак был несчастен, она заразилась туберкулезом и, пережив мужа на несколько лет, беспрестанно казнила себя за то, что в свое время уступила. Эта версия чем-то напоминала биографию Николая Владимировича, но, конечно, то ли «романизовала» ее, то ли окартировала. Ни о какой поэтической деятельности и речи не было. Я написал мемуаристке (это был 1976 год), надеясь узнать хоть какие-нибудь дополнительные подробности о петербургском поэте. Польская поэтесса отвечала: «Люба была подругой г-жи Ады Жуковской (речь идет о поэтессе Аделаиде Герцык! — Р. Т.) и происходила из богатого купеческого рода. Я ее очень любила, а ее историю — ее и ее мужа — слышала много раз от Жуковских. Ни о каких литературных интересах этих милых русских я не слышала... Это очень давние времена, которые я еще немного помнила, когда писала «Зайца»; сейчас это все словно бы далеко в тумане».

Далеко в тумане... Русская поэзия начала века сейчас местами залита ярким светом внимания, местами — расплывается в тумане полужанри, смутных пересказов и вынужденных догадок. Но, кажется, полноценно она и может только существовать в разнообразии и неравномерности по-русски переменного пейзажа.

РОМАН ТИМЕНЧИК

ВАЛЕНТИН КРИВИЧ

ОТТУДА

Поднимают... несут... наклонили...
Так неловко толкают шаги...
Из холодной ноябрьской пыли
Одинокие смотрят стоги...

Темной вере, безрадостной вере
Стало страшно в забытом углу...
Кто-то запер балконные двери,
Кто-то с плачем прижался к стеклу...

Потянулись поля и облоги...
Скрип обозов и встречных телег...
Каждый кустик знакомой дороги
Я ловлю из-за каменных век.

Это было, все было, все было,
Это будет, я верю, опять!
В темной церкви, сырой и остылкой,
Мне мешали всю ночь вспоминать...

Утром — стало все дальше и тише...
А на тонкой руке два кольца...
Я не верю... Я плачу... — ты слышишь? —
Подо льдом костяного лица...

На мокрых улицах столицы
Дождливая томится тьма.
Какие сморщенные лица...
Какие мертвые дома...

И тихо в мокрые туманы
Тягучей вязущей тоски
Уходят призраки-обманы,
Как сгорбленные старики...

И нет ни сказок, ни загадки,
Ни даже завтрашнего дня...
Есть только сумрак мгlisto-шаткий
Да пятна окон без огня.

И чудится — на грани стертой
Набухшей мглы, издали,
Над мертвым городом простерта
И ждет костлявая рука.

1917. Осень

АЛЕКСАНДР КОНДРАТЬЕВ

НИМФА, ПРЕСЛЕДУЮЩАЯ ОТРОКА

О, мой мальчик, куда убегаешь? Поймай!
Все равно не спасешься, лишь в чаще лесной
Исцарапаешь нежные ноги.
Взором робко-стыдливым мне сердце пленя,
Ты дрожишь от испуга, бежишь от меня,
Неизведанной полон тревоги.
Ты как дева застенчив, как Эрос хорош,
И не мни, что в лесу ты спасенье найдешь,
Избежишь моего поцелуя!
Как олень быстроногий, ты скор на бегу,
Но стрелой до тебя я домчаться могу
И поймав, обниму, торжествуя...
Ветви хлещут в лицо. Ветер свищет в ушах.
Слышу вздохи твои. Вижу кровь на ногах,
Утомленных от долгого бега.
Через камни и пни я гонюся за тобой.
Ты все тише бежишь. Ты споткнулся... Ты мой!
О, какое блаженство и нега!
Ты лежишь недвижим без сознания и сил
И глаза голубые, как небо, закрыл;
Молодое лицо побледнело.
Полонила мне душу твоя красота,
И к устам твоим нежным я с дрожью уста
Приближаю, склоняясь несмело...

ЖАЛОБА ЕЛЕНА

Деифоб и Гелен пред тобою скрестили мечи.
Застучали клинки, и упал Деифоб бездыханный.
И к Киприде своей ты воззвала: «Богиня, умчи
Меня прочь из Трояды всегда мне враждебной и странной!»

Ах, умчи меня прочь от долины, где Ксанф и Скамандр
Непрестанно уносят все новые трупы героев,
От кургана, где рядом с Эноною спит Александр
И от этих унылых постылых мне брачных покоев!

Не хочу ни мужей, ни любовников больше иметь.
Дай забыть навсегда мне среди незнакомого края,
Как вонзается в тело мне близкое острая медь
И темнеет горячая кровь, за меня пролитая!

Я довольно игрушкой твоею была. Пощади!
Многим милым тебе как подарок давалась Елена...
Ах, имей состраданье и дай мне не знать впереди
Ни Атридовой ревности мук, ни безумных желаний Гелена!

Пусть меня не берет то один, то другой Приамид!
Не хочу называться я больше ничьею женою!...
И, услышав твой вопль, Афродита в страну пирамид
Унесла тебя тайно, скользя над морской волною.

Из «Песен Билитис» Пьера Луиса

БЕЗЫМЯННАЯ МОГИЛА

Взяв меня за руку, Мназидика отвела меня за городские ворота на небольшое необработанное поле, где стояла мраморная надгробная стела. И она мне сказала: «Здесь похоронена возлюбленная моей матери».

Тогда я почувствовала сильную дрожь и, не переставая сжимать руку Мназидики, нагнулась, опершись ей на плечо, чтобы прочесть четыре строки между полою чашей и змеею.

«Меня унесла не смерть, а нимфы источников. Я здесь покоюсь под легкой землею и рядом со мной волосы Ксанто. Пусть лишь она меня оплакивает. Я не скажу моего имени».

Долго стояли мы там, не сотворив возлияний, ибо как помянуть безымянную душу среди толпы, подвластной Гадесу?

Под шерстяную прозрачную простыню скользнули мы с нею. Даже головы наши были укрыты, и лампа над нами бросала свет свой на покрывавшую нас ткань.

И тогда я увидела дорогое мне тело в таинственном сумраке. Мы казались ближе друг к другу, свободней, искренней и обнаженней. — «В одной и той же рубашке», сказала она.

Чтобы быть еще откровенней, мы сохранили наши прически, и в тесном пространстве постели носилось два аромата женского тела, как будто из двух природных курильниц.

Ничто на свете, даже та самая лампа не видела нас этой ночью. Кто из нас был любим, про то могли бы сказать лишь я да она. Но мужчины того не узнают!

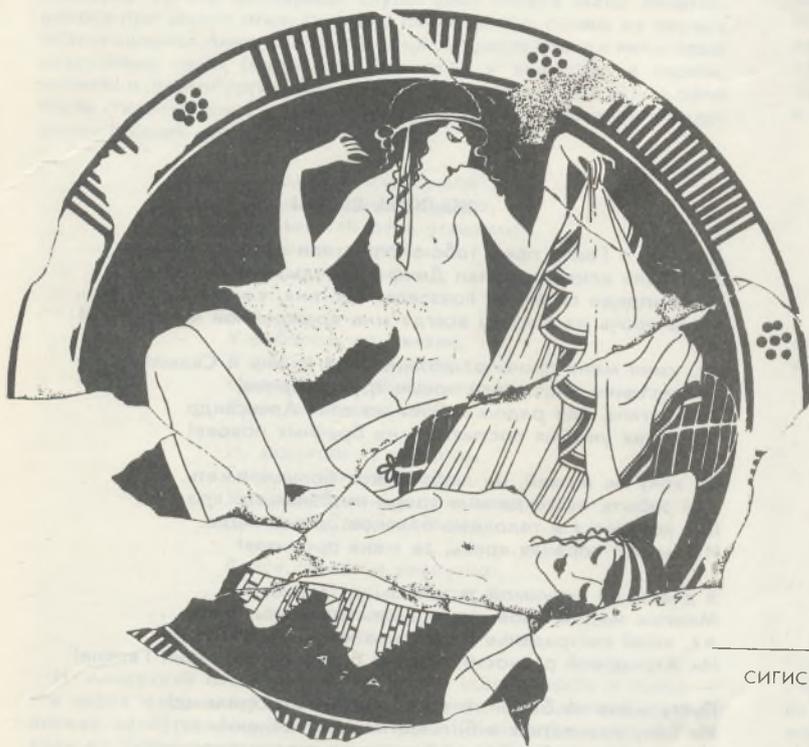
РЕВНИВЫЕ ЗАБОТЫ

Тебе не следует завиваться, чтобы раскаленное железо не обожгло шеи тебе и не спалило волос. Дай им рассыпаться по плечам и вдоль по спине.

Не нужно одеваться тебе, дабы не образовались от пояса тонкие красные складки на бедрах твоих. Оставайся голой, как маленькая девочка.

Тебе не следует даже вставать, чтобы нежные ноги твои не утомились, шагая. Покойся на ложе, о жертва Эроса, а я перевяжу твою бедную рану.

Ибо я не хочу, о Мназидика, видеть на теле твоём иных знаков, чем пятна от долгих поцелуев, царапины острых ногтей или пурпурный пояс от моих объятий.



СИГИСМУНДС ВИДБЕРГС «ПЕСНИ БИЛИТИС»

НИКОЛАЙ НЕДОБРОВО

СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ГОДА

Господень день. Ликуя, солнце пышет
И плавит около сверкающую твердь.
Так чудесами Канны воздух дышит,
Что вот прозябнет и сухая жердь.

Свободна ото льда и пароходов,
Вся в тонких струйках искрится Нева
И, пышно поделаясь на рукава,
Объемлет и, колеблясь в чистых водах,
Лелеет радостные острова!

А сердце полным роздыхом природы,
Овеянным благословенным днем,
Во мне расширено до той свободы,
Что ничему теперь не тесно в нем.

И сердцем той, кто без того свободна.
Так радостно свободу подтвердить!
Господь сошел весь мир освободить,
И никакая жертва не бесплодна.

С тобой в разлуке от своих стихов
Я не могу душою оторваться.
Как мочь? В них пеньем не твоих ли слов
С тобой в разлуке можно упиваться.

Но лучше б мне и не слышать о них!
Твоей душою, словно птицей, бьется
В моей груди у сердца каждый стих,
И голос твой у горла, ластаясь, вьется.

Беспечной откровенности со мной
И близости — какое наважденье!
Но бреда этого вбирая зной,
Перекипает в ревность наслажденье.

Как ты звучишь в ответ на все сердца,
Ты душами, раскрывши губы, дышишь,
Ты, в приближенье каждого лица,
В своей крови свирелей пенье слышишь!

И скольких жизней голосом твоим
Искуплены ничтожество и мука...
Теперь ты знаешь, чем я так томим? —
Ты, для меня не спевшая ни звука.

ВИКТОР ПОЛЯКОВ

Песни спеты, перепеты —
Сердце бедное, молчи:
Все отысканы ответы,
Все подделаны ключи;
Мы — последние поэты,
Мы — последние лучи
Догорающей в ночи,
Умирающей планеты...
После нас — ночная тьма,
Процветание науки,
Протрезвление ума,
После нас — ни грез, ни муки,
Бесконечная зима
Безразлично серой скуки.

ОНИ

Порт-Артур

Для них все пламенные сны,
Владыки творческая вера;
Они противны и смешны,
Как раб, читающий Гомера;

Но в день войны их льется кровь,
Спасают землю их страданья;
Самоотверженно любовь
Творит бессмертные преданья.

К ТОЛПЕ

Твой грубый смех тебе прощаю, —
Невыносим твой жалкий стон.
Не смей страдать: я умираю,
Твоим страданьем осквернен!

Чтоб нераздельно ненавидеть,
Чтоб наслаждаться без борьбы,
Эван, Эван, хочу я видеть,
Как пляшут жирные рабы!..

И БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА...

Вообще «Голос зовущего» — параболический роман. Его конфликт не локален, он детонирует во всей системе, выходит за пределы эпохи, врывается в сегодняшний день.

Советское общество дважды и длительно пережило режимы, когда превалировала грозная власть, сосредоточенная в руках одной личности. «Голосом зовущего» Бэлс напомнил уроки истории, напомнил, что нечеловеческая, бюрократическая власть прежде всего уничтожает в человеке его ядро, сердцевину — личность, мысль, творчество. Читая «Голос зовущего», «Эйнштейниаду», а также пьесу П. Петерсона «Только музыкант», романы Ч. Айтматова и А. Рыбакова «Плаха» и «Дети Арбата», думая о фильме «Покаяние», ни на миг не можешь отрешиться от ощущения, что они созданы в одно время, на одном дыхании и об одном и том же — об антагонизме деспотического, захватившего бюрократической властью и думающего, творящего, о трагизме творческой личности.

Как отличаются и вместе с тем как близки латышские Антиньши 60-х годов Авдию Айтматова, Саше Рыбакова, Клавсу Петерсона! Что-то родственное объединяет и латышского Карлиса Раубенса и грузина Варлама Аравидзе с межнациональным Обером-Кандаловым. Но, может быть, эти столкновения Антиньши и старшего брата есть коллизии двух культур? Старой культуры, в которой человек стоит ровно столько, сколько его социальная функция, где человек только деталь в огромной машине, где во имя «Великого Дела» небытие отдельного человека или народа ничего еще не значит, — столкновение этой старой культуры с новой? С новой культурой, где человек войдет в народ и в человечество со своим «Я»? Где его мысль, его самость будут уважаться как нечто уникальное?

Может, уже тогда Земля была «тяжела»? Может, душевные страдания и резиньяция Дарзиньша, конфликты Раубенса со «внуками», Апатитиса с Занде прозвонили к тому временивороту, который мы теперь называем перестройкой? Может, Антиньши 60-х годов были первыми ласточками перестройки 80-х? Ласточками, которые не только мерзли, но и замерзли? Не берусь ответить на эти столь сложные вопросы, только намечу драматический финал этого колоссального спрута.

Было привычно монументальное, кристально-чистое постаментирование положительного героя и партийного работника, а тут антигерои — Апатитис и Раубенс. Была гармония, соударения только хорошего с наилучшим, была великая мощь и еще более великие победы, а тут — «Потемкинская деревня» и «Бессонница». Что-то важное, выношенное до сакральной ценности — шатается, рушится!

«Кто без греха, пусть первым бросит камень!» Я вспомнил эту древнейшую мудрость, чтобы охарактеризовать трудность и шекотливость ситуации. Мое поколение в эйфории сегодняшней перестройки не хочет вспоминать прошлое. У каждого какая-нибудь тяжесть — на сердце ли, за сердцем, или спрятанная глубоко в подсознание. Но, если мы хотим очиститься и чистыми, светлыми идти вперед, то прошлое мы должны видеть и оценивать таким, каким оно в действительности было. Без ясного и честного взгляда в прошлое не может быть ясного и честного похода в будущее. Таков смысл этой части статьи. И я тоже не хочу и не могу быть безвинным судьей. Но в то время я находился близко к эпицентру этих коллизий и, кажется, могу достаточно компетентно свидетельствовать.

Если ортодоксальный догматик тогда разжигал враждебную истерию, сеял панику, если услужливый и подхалимничающий (в том числе и писатель) ополчался и сек «еретиков» в печати и на собраниях, то настроенный лояльно и доброжелательно к новому большей частью замыкался в себе, молчал или предавался кулуарной резиньяции. Над головой Вилкса, Вацетиса, Бэлса, Приеде и Белшевицы катился уничтожающий вал. Принятые меры нередко рванулись преследованию. Вот так двадцать лет назад латышский Обер-Кандалов проводил экзекуцию над своими пророками.

Немного раньше «Плахи» был опубликован роман Виктора Астафьева «Печальный детектив». Это два как будто бы противоположных художественных произведения. Ч. Айтматов, включив в происходящее в романе, в его архитектонику мифы, символы и постулаты природы и духовности, доводит до апокалиптической крайности погружение человека в трясину пьянства, наркомании, власти и безжалостности. Глобализирует энергию романа. В романе доминирует азарт ума и конструирования. В «Печальном детективе», напротив, бурлят социально-психологические страсти.

Если в айтматовском «эшафоте» взрывчатим является конденсат философского осмысления мира, то в «Печальном детективе» — чрезвычайная плотность коллизий и чувств.

Критика упрекает В. Астафьева, точно так же, как и Ч. Айтматова, в невнимании к структуре романа, в распадении его на мозаичные кусочки, в увлечении жаргоном, в не ставших образной тканью фрагментах публицистики. Но дело в том, что и Айтматов, и Астафьев выступают с «непростительной» откровенностью и дерзостью, выступают с острой, обширной проблематикой. Выступают форсированно, и замыслы сильно опережают художественные возможности.

Оба писателя вскрывают правду в ее всеохватной опасности, взрезают огромные нарывы, к тому же делают это вызывающе, без церемоний и проволочек. Естественно, что нарывы и гнойники ужасно воняют, нарушают благодушие, шокируют. Что вы, уважаемые писатели! Все это ведь давно нам известно, привычно, нами обжито. Зачем это выносить из кухни и гостиных, из салонов и кулуаров? Почему нельзя про это культурнее, не засоряя художественную прозу жаргоном бродяг и газетными репортажами? Чувствуется, что такая проблема занимает значительную часть русской интеллигенции, потому что колючий вызов Астафьева адресован прежде всего интеллигенции.

Вушуют страсти и вокруг главного героя романа Леонида Сошнина. Критика считает, что писателю не удалось создать живой, единый и убедительный характер, что Сошнин недостаточно аутентичен. Вокруг главного героя стягивается настоящий узел противоречий. В том числе и творческих. Вопрос состоит в том, чего требует время, чего хочет писатель и что представляет собой главный герой. Своим Сошниним Астафьев хотел достигнуть уж очень многого — собрать вокруг главного героя всю распавшуюся, деградировавшую, преступную среду Вейска и вступить с ней в противоборство. В трагических коллизиях охватить весь сошнинский мир. До горизонта и дальше. Может в первый момент показаться парадоксальным, но гипертрофированно-напряженный драматизм вокруг Сошнина умаляет эмоциональную силу главного героя. Концесветная логика повелевает мужественному милиционеру выступить против всех вейских подлостей, но логика характера вместе с тем ломается. Поэтому при чтении романа вера борется с сомнениями; а может ли просто по-человечески один-единственный милиционерский «опер» противостоять такому плотному миру преступности и подлости, может ли он все это выдерживать, да еще изучать немецкий язык, Ницше и Достоевского и заниматься писательством?

Здесь надо иметь в виду, что Сошнин — это характер-символ, олицетворяющий противоборствующую злу силу, «вызывающий огонь на себя». Подлости и преступности он противопоставляет не только и не столько служебное положение, служебные форму и оружие. Нет, себя, в себе осознанный голос справедливости и совести. Но в своих попытках он терпит полный крах.

Вейск с его окрестностями показаны глазами физически покалеченного, зашедшего в жизненный тупик, смирившегося Сошнина. Поэтому в романе преобладает угнетающая концесветная интонация. «Печальный детектив» — это мозаика трагедии. Лаколично, как в уголовной хронике, фиксируется, как пострадавший в драке подросток, закомплексованный и взбешенный, зверски убивает молодую беременную женщину, как толпа возле кинотеатра бросается на защиту парня, который только что напал с ножом на трех прохожих; как напившиеся участники похоронов закапывают могилу, забыв опустить в нее гроб с покойником; с несколько суперменской интонацией передана драка уже уволенного лейтенанта с выпивохами на лестнице. В репортерском стиле описана и стычка Сошнина с беснующимся шофером и первое поражение оперуполномоченного.

Этим репортажом отводится существенная роль в вызревании трагедии. В многочисленных схватках взаимно примериваются антагонистические силы, раскрываются социальные антиподы, их опасность. К сожалению, эти репортажи нередко газетного типа. Они инвентаризуют многообразные разновидности преступности, микроконфликты, но их эмоциональная энергия недостаточна. Местами это скользкий по верхам набросок или красочный мазок, или брошенный мимоходом вопрос. Такая перенаселенность раздробляет роман, вносит в него мозаичное мелькание. Не один критик предлагает переименовать «Печальный детектив» в дневник Сошнина.

Однако, отмечая неудачи романа, не будем забывать о его впечатляющей силе. В романе потрясают концесветная интонация и трагические перипетии — неожиданные, остроумные и пластические повороты в жизни героя. К тому же Астафьев не полагается только на изображение и репортаж, но почти в каждой из девяти глав попеременно с главным героем интерпретирует, обобщает, степенно обсуждает причины преступления, диалектику преступления и наказания.

В трагических перипетиях романа писатель стремится понять такое необъяснимое явление, как русский характер, русская душа — широкая и противоречивая. В ней хватает места и для доброго, и для подлого. И писатель жаждет как проникнуть в самые темные уголки подсознания, так и разгадать природу тех демонических внешних сил, которые делают человека безумным и выпускают в мир зло.

В трагических перипетиях кипят страсти и «вылезают» все новые и новые смысловые слои, вопросы, проблемы — все более и более волнующие. Является ли милиция такой силой и таким средством, есть ли у милиции такой социально-этический статус, чтобы преодолеть зло? Именно в этих перипетиях Сошнин терпит нокаут за нокаутом. Удары сыплются с совсем неожиданной стороны, пока его положение не становится трагическим. Честный и мужественный страж порядка, гневный воитель с преступностью приходит к тягчайшей дилемме. Как жить дальше? Как жить с народом? Как жить в народе? Ставя эти вопросы перед лейтенантом милиции, писатель по существу ставит их перед интеллигенцией.

У читателя, следящего за перипетиями романа, все крепче и крепче укореняется убеждение, что между двумя антагонистическими противоборствующими силами — Сошниним и преступным миром — есть еще кто-то третий. Сошнин видит своего противника и умеет с ним бороться. Третью же силу он только чувствует, но не в состоянии ни разгадать, ни сдержать. Более того — «магнитное поле» третьей силы оттягивает его бескомпромиссную борьбу, приводя ее к победе зла. Это катализатор подлости и преступности, нередко их опора, среда, где обитают злые силы, где они собираются, множатся, рекрутируются и направляются на завоевание мира.

В. Астафьев и в публицистических репортажах, и в крупноплановых картинах рисует родимые пятна третьей силы, этой многоголовой гидры: бродяги без дома, без семьи, если хотите — без родины; армия «профессиональных» алкоголиков, воспроизводящая новое поколение дебилов; книголюбы, удобстволубы, путешественники и другие «любы» и стаи их беспризорных детей.

Проявление этой третьей силы писатель схватывает точно и эмоционально убедительно. Но недостаточно глубоко, до сущности, до сердцевины часто не доходя. В талантливом изображении Астафьева мы узнаем уже виденное, слышанное, опубликованное.

Мне кажется, что В. Астафьев сильнее и глубже в отображении, где он доверяется показу жизненной стихии, в то время как его обобщения иногда неверны. Видно, что тетя Граня — человек близкий не только Сошнину, но и Астафьеву. Она настоящая мать для брошенных детей железнодорожного поселка. Няня. Приблудница. Но ее насилуют четверо напившихся до беспомысленности юношей. Вряд ли в связи с Граней обоснован гнев писателя на русскую сердобольность и жалость. Насилие над Граней может показаться еще более ужасным в сравнении с современным утонченным сексом, но на уровне такого изнасилования протекла вся интимная жизнь и семейная любовь Граня, поэтому ее русскую сострадательную совесть угнетает мысль о четырех испорченных молодых жизнях. Своим трагизмом потрясают и другие перипетии, но выводы автора, на мой взгляд, упрощены. Каким бы беспутным ни был Венька, все же в безмужном и заброшенном Тугожилине он был мужчиной, к тому же единственным. Кажется преждевременным все подлости и преступления Вейска, весь этот концентрат отрицательного относить на счет развалившихся, разваливающихся и непрочных семей. Надо думать, что сама деформация семьи есть следствие какого-то более существенного процесса, и морализированием здесь ничего не выяснить и не решить.

Контуры двух антагонистических сил достаточно выразительны, чтобы перенести их на бумагу. А третья сила? Какую еще третью силу он выдумал? — буркнет кто-нибудь. — Характер, обстоятельства, индивид и общество — вот вечная проблема искусства. И все же — нет! К злу надо подойти поближе, а порождающее зло обстоятельства нужно осмыслить в их исторически-конкретном выражении. Кроме того, к злу надо подобраться пораньше. Не тогда, когда оно выплывает в безумии свою сатанинскую природу. Надо проследить за его эмбриональными превращениями, подойти в момент родов. Надо почувствовать не только зло, но и ту ситуацию, те силы, которые его вскармливают и вынашивают. Третьей силой я назвал все это условно, третья сила — рабочий термин.

Третья сила — это циклопическое образование, «взлеянное» недавним прошлым нашего общества, многоголовая гидра, которую я ощущаю, но общий знаменатель этого образования сформулировать не берусь. Это наша общая задача. Ни литература (да и вообще искусство), ни критика не выполнит свою миссию, не подойдет к причинам зла, если не сможет осмыслить и вскрыть эту питающую и множащую зло среду. На конфликты 70-х и 80-х годов третья сила влияет существенно, нередко — решающим образом в пользу зла. Это я особенно сильно почувствовал, читая «Печальный детектив» В. Астафьева. В другом, на мой взгляд, более важном ракурсе обнажают контуры третьей силы В. Распутин и Ч. Айтматов.

Хотя В. Распутин в своем «Пожаре» пишет о лесном поселочке Сосновке, находящемся где-то в бассейне Ангары, бесконечно далеко от нас, повесть удивительным образом показывает и латвийский лес и связанную с ним человеческую драму. Поэтому, мне кажется, не случайно П. Пугниньш примерно в то же самое время,

когда создавался «Пожар», написал свою «экологическую» пьесу «Наши сыновья».

В «Пожаре» зло начинает вспухать с того момента, когда шесть деревень, затопленных водохранилищем ангарской электростанции, переселились в Сосновку и построили здесь новый поселок, когда исконные земледельцы в один день превратились в лесорубов.

Оба писателя предупреждают, что, нарушая социально-этническое и природное равновесие, разрушая человеческие общины и леса, можно вызвать опасные катаклизмы. Критика обоснованно приравнивает пожар в Сосновке к Чернобылю. П. Пугниньш в образах героя пьесы Эвалдса и его сыновей стремится обнажить трагизм судьбы латышского крестьянина в переломную эпоху и связать его с нашим варварством по отношению к лесу.

В «Наших сыновьях» младший сын Марис — уже вовсе не Антиныш, а ловкий и оборотистый колхозный делец, реализующий за пределами республики произведенное в колхозе вино. Человек без штатной должности, но в действительности правая рука председателя. Его жена Рената, в свою очередь, — председательская фея, предохраняющая его от вредных ударов и смягчающая окаменелые сердца начальства. Старший сын Икар — современный бедолага, который вечно ворчит и конфликтует с пьяницами. Эдгарс — начальник отдела лесного хозяйства и лесной промышленности в Кумеле, дошедший до глубокого конфликта с Бернхардом Берлауком. Эрик мог бы и быть Антинышем. Но в действительности Антиныша больше нет. Фольклорная модель трех братьев распалась, и в семье Галейс все спуталось в узел, который не распутать. Жены младшего и старшего братьев когда-то были любовницами Эрика. Это становится еще одной петлей, запутывающей отношения братьев.

Однако начало всех этих коллизий — в отцах. Социально-этнические катаклизмы, нарушавшие равновесие и подорвавшие исконные опоры общежития, — вот одна из основных линий «Наших сыновей». Была ли то машина войны, которая перемалывала судьбы и жизни, или классовая борьба с наслонениями сталинского деспотизма, которая выплескивала кровь и страдания, — все равно это была трагедия латышского народа. Может быть, то, что эту наименее трагичную эпоху переломных эпох судьбы народной мы опоясали манкуртовым поясом, — может быть, именно это сделало нас ностальгическими и закомплексованными. Да и сама литература очень часто оставалась на границе полуделания, полусмелования.

Это чувствуется и в «Наших сыновьях», особенно в первой части пьесы, где разыгрывается трагедия Эвалдса, и ее отголоски в сыновьях. Неудержима ностальгия Пугниньша, потребность выкрикнуть эту боль, но так же непреодолимы задержки и страх перед броском в кратер. Скажем, с азартом Вацетиса. Полуотвага, осторожность, полусмелование пронизывают всю первую часть пьесы, и трагика выгорает до семейной драмы. Под судинку пересматривают, напоминают. Есть намеки, нет взрывчатого напряжения.

В одном отношении П. Пугниньш пошел дальше Распутина. Он стремится осмыслить лес как ценность, его место в экологической системе. Лес — это зеленые легкие планеты. Лес — это жизнь каждого из нас. Такая система ценностей формируется в современной экологической культуре. В «Наших сыновьях», а также в романе А. Бэlsa «Корни» лес есть символ, образ-идея, идеал, ради которого ломаются копыя. Решающий конфликт происходит между технократической и экологической концепцией. Можно конкретизировать: между лесопромышленниками и лесоводом. В «Наших сыновьях» и «Пожаре» технократ наступает как лавина. Как монгольская орда. Вооруженный (хоть и недостаточно) техникой — древовалами, погрузчиками, тягачами. Лесовод обороняется лопатой, по меньшей мере столетней лопатой.

Вот как В. Распутин характеризует дальнейший «прогресс» в освоении лесов. Планы постепенно росли. На сезонные работы стали принимать бродяг, пьяниц, рецидивистов. Так мало-помалу нравственные критерии искривились, доброе спуталось со злым, поменялось местами: «доброе обернулось слабостью, злое — силой». Но окончательный триумф зла наступил позже, когда «в Сосновку приехала организованная и сплоченная бригада, которая опиралась не на лучшие качества людей, а на худшие...» Точь-точно как в латвийских лесах, где эту организованную силу назвали «черными бригадами».

В «Наших сыновьях» кульминация конфликта и концентрируется вокруг «черных бригад», которые пришли в латвийские леса после буреломов и с течением времени оформились в организованную силу во главе с «королями» и «мэнеджерами». Кажется, что в сравнении с «Пожаром» и моюнкуской трагедией в «Плахе» латышский драматург остается на подорожье. Пьеса растекается по боковым линиям, сделаны попытки сцепить шестерни судеб леса и народа, подробно пересказываются делишки «черных бригад» и лесопромышленников (чем занимаются попеременно Эрик и Берлаук), недостаточно сфокусирован конфликт и трагическая сущность «черных бригад». «Черные бригады» — это крайнее выражение застоя и уродливого хозяйствования, это макиавеллизм в хозяйствовании. Конденсат антиэкологической этики. Лес и труд в их восприятии имеют не только нулевую, но и отрицательную ценность. Высшая заповедь — как можно лучшей древесины себе, все ради длинного рубля.

«Черные бригады» завезли произвол и «закон джунглей» в хозяйство Латвии, вандализм в социально-экологическую культуру и психологию. В. Распутин с точностью социолога фиксирует, как добро шаг за шагом отступало, привыкало, смирялось. Не естественное стремление к добру стало мерилем человека, а «выбранный им самим удобный средний путь между добром и злом (...) «Моя хата с краю» превратилось во всеобщий принцип».

Макиавеллизм в хозяйствовании — это опасная сила, которая ослабляет и смущает добро, множит, организует и спланирует зло. В «Пожаре» повествование от начала до конца развивается в апогее конфликта, когда горят товарные склады лесопромышленного поселка на берегу Ангары. Люди неестественно кричат, бегают, одни беспомощно и хаотично что-то срывают и гасят, спасают продукты и вещи, стая бродяг в своей стихии взламывает двери склада, другие хватают, рвут, ташат в свои жилища оставшиеся без присмотра богатства. Кто-то с возмущением кричит:

— Был же, был «Урал»! Для чего же он был?! Для чего они его прятают?

Апокалиптическую интонацию усиливает еще и то, что Валентин Распутин со своим главным героем Иваном Петровичем с начала до конца — вместе с «гушащими» огонь и «спасающими» ценности. Повесть композиционно представляет собой как бы последовательность отрывочных кадров: то пекло пожара и человеческие страсти вокруг, то этически бесстрастное повествование-воспоминание, социологически совершенная инвентаризация пущенной на ветер духовности, искаженной нравственности. Временами огонь будто перестает бушевать, чтобы дать возможность восстановить причины катастрофы — процесс социальной деформации.

Еще ярче и трагичнее третья сила заявляет о себе в моюнкумской трагедии в «Плахе» Айтматова — ее именем Е. Сурков даже назвал свою опубликованную в «Правде» статью о романе. Трагедия началась с того, что область не выполнила план сдачи мяса. Приближался конец решающего года пятилетки. Но в то время в Моюнкумских степях паслись неисчислимые стада сайгаков — так называемый скрытый резерв мяса. «Верхи» нажали, «низы» обещали — и скрытый резерв был включен в плановый оборот. Макиавеллиевская «погоня за планом» мобилизовала на эту акцию совершенно асоциальные силы. Бригадой, или хунтой (так они сами себя называли) сборщиков и грузчиков застреленных в Моюнкумах антилоп командовал Обер-Кандалов (так он велел себя называть) — бывший старшина сверхсрочной службы в штрафном батальоне, где он заставлял заниматься педерастией идею неустойчивых субъектов, сектантов и наркоманов, за что был изгнан из армии, исключен из партии. Хунту он укомплектовал безошибочно — только из сброды, шатунов и «профессиональных» пьяниц. Авдий попал в команду случайно. Его присутствие в этом пекле низостей символизирует «страшный суд» и концесветную ситуацию.

Какими бы разными на первый взгляд ни казались хунта Обер-Кандалова, бригада бродяг в Сосновке, «черные бригады» у нас в республике, а также широкий размах манипуляций Мариса в «Наших сыновьях» с продуктом колхозного винокурения, идейная основа у всех этих явлений одна — макиавеллизм в стиле хозяйствования. Он не только организует и множит асоциальные силы, но и деформирует отношения человека с природой. В образе волчицы Айтматов доводит антагонизм человека и природы до крайних следствий. Трижды уничтожив малышей Акбары, человек преступил высочайшую заповедь в отношении с природой, уничтожил субстанцию творения. Природа отомстит. Неизбежно отомстит. Акбара — точный образец природы как возвратной силы, которая, изуродованная и ограбленная человеком, страдающая и погибая, в ответ кусает человека, и кусает смертельно. В моюнкумской трагедии концесветное хозяйничание и человеческая деградация, экологическое варварство и антигуманизм завязываются в один узел, конфликт напряжен до регионального апокалипсиса. Если в Вейске и Сосновке доброе, справедливое и благородное было угнетено и обезображено, то в Моюнкумах провозглашающего идеи будущего, идеи новобожия Авдия Каллистратова зверски убивают.

Вот как триумфально звучит «патриотическая» тирада Обер-Кандалова, посылающего Авдия к богу:

— Мы здесь задание государственное выполняем, а ты против плана, сука, против области, значит, ты — сволочь, враг народа и государства.

6

Предсмертный сборник стихов О. Вацетиса «Обреченность» родственен новой волне «суровой литературы». Конечно, лишь настолько, насколько могут быть родственны большие автономные личности. В действительности «Обреченность» «выскакивает» даже из ряда более ранней поэзии самого Вацетиса. «Обреченность» — это спурт его творческого марафона. Спурт, к которому он готовился давно. Все его творчество — почти роковое стремление навстречу обреченности. Стремление драматическое. Трагическое. Стремление не только к огненным нервами, но и к открытым ранам. Безграничную, всемогущую веру часто перерубали сомнения, безнадежность, черные часы.

Не прошел мимо Вацетиса и отлив начала и середины 70-х годов в латышской литературе. В сборниках «За сотой жадой» и

«Черные ягоды» заметно суживается мир поэзии, чувствуется усталость, характерное для тех лет примирение лирического героя. «Дураки растаскали мою надежду, / и живу я червем раздробленным. (...) Не я вовсе, а жизнь хамелеонит».

Творчество Вацетиса можно подразделить на четыре круга: поэзия осмысления поэта и его творчества; самовыражение человека, индивида, личности; человек в народе и обществе; поэзия человечества, глобальных идей. В большей части его поэзии все четыре круга ложатся один в другой, переплетаются или накладываются друг на друга. Грани между ними условны. Меня эти четыре круга интригуют как ступени, ведущие в кратер трагедии человечества. Как стремление навстречу обреченности, как разжигание себя. Как борьба Вацетиса с Вацетисом. Ради силы, ради величия, ради отваги. Ради отваги не только приблизиться, но и забраться в самое пекло. Надеюсь, что такое деление на четыре круга поможет понять и драматическое стремление Вацетиса к вершинам искусства.

У Вацетиса много поэзии самоборения, саморазжигания и самоосмысления, поэзии сомнений и внутренних конфликтов. Возможно, что этот круг у Вацетиса шире потому, что у него меньше, чем у Зиедониса, публицистики и критических образов. Самообзор может свидетельствовать о кризисе в искусстве. Возможно, что для поэта это был вентиль, чтобы разрядить напряжение черных часов. Не исключено. Однако у Вацетиса самообзор никогда не превращался в «ловлю собственного хвоста», в юбилейные воспоминания или образы, в бесконечное и безнадоежное резонирование.

Нет, у Вацетиса самоосмысление означало тысячу и один раз подвергнуть сомнению и ревизовать миссию поэзии и свою как поэта, сопоставляя ее с чем-то более отдаленным и великим, означало ковать и перековывать стратегию творчества, прорубать и расчищать магистральные пути. И еще. Мы как заповедь или вечернюю молитву затвердили, повторяли и цитировали: искусство отражает жизнь. И во имя этого преследовали «еретиков», у которых отражение получалось гротесковым, саркастическим или еще как-то «искривленным». Искусство не отражает жизнь, а создает новую реальность. Искусство не утверждает существующее, а отрицает его во имя нового. Таков смысл конфликта. И сейчас, во время перестройки, революционную сущность искусства надо особенно акцентировать.

Вот почему в искусстве и особенно в конфликте актуальна проблема дистанции между насущным, существующим здесь, сегодня и идеальным, утвержденным. В середине 70-х годов общественный и духовный застой, оджунгливание идеалов пробрались и в искусство. Потерялись контрасты, развалились критерии, усох конфликт. Искусством овладел конформизм. Эта большая атмосфера в какой-то мере давила и на поэзию Вацетиса. Но в его творчестве всегда, а во второй половине 70-х годов особенно, происходило суровое самоборение, самовыстраживание, очищение от шлаков беспомощности, робости, от полуправд, полудел, полуосмысленности. Очищаются, выкристаллизовываются и возвышаются критерии. Восстановить дистанцию между существующим и утверждаемым — это в направленности поэтики Вацетиса означало скачок в будущее, означало обогатить время.

Обогатить время — это могло бы превратить его творчество в донкихотство, в пшик, во времяпрепровождение «благенного» (в каждом искусстве есть и это), если бы поэта во всей его неутомности не удерживало «земное притяжение». Обогатить время — это сильная драматическая пружина поэзии Вацетиса, которая функционирует в своеобразном тринидестве: «движение — наша свобода», «твоя ось» и «земное притяжение».

Считают, что к Оярсу Вацетису близок Имантс Зиедонис. Это неверно. Две такие автономные личности, в сущности две поэтические школы не могут быть близкими в своем творчестве. У каждого из них свое мироощущение, своя система ценностей. Каждый из них покоряет своей самостью. Вацетис, обгоняя время, вопреки разбросанности и прагматизму зурядного человека, остается в сильной «в-себе-позиции». Это гармония, о которой в свое время писал В. Киканс, но гармония кажущаяся.

И. Зиедонис «в-себе-позицию» поддерживает способностью **задержаться в себе время**, противопоставляя разрушающей аритмии времени «мысли и чувства, которые для него священны, а значит, — вечны, значит, надвременны».

Сила поэтики Вацетиса в отрицании, ее изъятии — энергии и драматизме отрицания, в размахе утверждаемого. Он прямо и открыто вламывается в пекло злых сил, разбивает и разрушает.

Хотя Зиедонис в своих теоретически-публицистических очерках отрицает конфликт, на самом деле он тоже находится в несогласии, в конфликте с аритмичной будничной гонкой. Однако Зиедонис не отрицает «горб мира», а строит в противоположность ему свое царство справедливости и гармонии. Драматическая пружина творчества Зиедониса, «все-таки-сила» — именно в противовесе Великого, Вечного одновременно, поспешному, несделанному, отложенному с сегодня «на потом». В его системе ценностей преобладает идея создания, требующая дела здешиного, теперешнего, сейчасшного. Счастье приносит «короткий, видимый круговорот». В его поэзии Юмис* символизирует настоящее. Юмис на коньке крещи.

* Юмис — бог урожая в древней латышской мифологии.

«Храм» идеалов, критериев, утверждаемого у Вацетиса в будущем, у Зиедониса — как будто в прошлом, но это только видимость. «Поэма о молоке», поэма «Колос-двойчатка», стихи в сборнике «Вот как!» — это, в сущности, медитация Зиедониса на тему Великих и Вечных идей. Медитации заворачивающие в тех случаях, когда Великие идеи пробивают себе дорогу сквозь противоречия, коллизии, контрасты.

Поэзия самоосмысления у Вацетиса прочно срослась с поисками лирического героя, которые на пути от самости в лирике народа, общества и человечества становятся все сложнее. «Я в гущу иду / за краской погуще — тяжелого человека писать мне надо». Критика такое поэтическое устремление Вацетиса восприняла как противодействие времени, раздробляющего человека, как противодействие «процессу децентрализации личности» (И. Чакала). Да, отчасти это верно.

Однако в те годы борьба Вацетиса с Вацетисом была «хождением по мукам» ради лирического героя нового закала: «себя расщеплять — это атома расщепление, / добыть чтоб энергично атома». Духовная энергия — энергия атома. Это не столько поэтическая метафора, сколько — даже в основном — примеривание противостоящих сил. Духовная энергия как единственная реальная сила, противостоящая ядерной угрозе. Такова же магистральная проблема и в «Плахе». В связи с этим в фокусе искусства оказываются проблемы героя (в том числе и лирического) и конфликта. Уже в романе «И дольше века длится день» айтматовский Едигей втянут в глобально-трагические перипетии. Он — антипод милитаризованного манкуртизма, глубоко укоренившийся и в своем поселочке, и на родной Земле, и в следующем дне, и в прошлом. Страсти и дискуссии, бушующие вокруг героя «Плахи» Авдия Каллистратова, свидетельствуют, что проблема героя для «апокалиптической литературы» является самой неотложной.

Вацетис уже в 70-е годы выступает за лирического героя, объятую «безумной» отвагой и идеями, укоренившегося во всем широком мире. «Будь умницей, / настоящей, выше поднимись (. . .) И поминутно сквозь кристалл / ты на весь мир гляди». На новом витке спирали возвращается райнисовский человек («я — мира часть») и характерная для 60-х годов человеческая ответственность за все на свете. «Все / с тобой вместе! — Без тебя будут одни только / похороны твои».

Но если утверждение 60-х годов «человек отвечает за все, что происходит в мире» стало антиподом сталинизму, бедам недавней войны, то в «Обреченности» это ответственность в концесветной ситуации. Если вчера «перевесом в один-единственный голос / сильнейший из ненавидящих нас / производит решил / бинарное оружие», то бессмысленно искать этого единственного — ответственен каждый. Мне кажется, что в трагедии Бостона Айтматов «разыграл» подобную карту. Но, может быть, именно в этом и состоит утверждающая суть «апокалиптической литературы»?

Обогнать время, быть впереди времени — такова поэтическая школа Вацетиса. Но в «Обреченности» преодолевается также сопротивление пространства. Это вхождение новых размерностей, новых критериев в искусство 80-х годов. Вспомним, что Айтматов в романе «И дольше века длится день», предлагая установленный на чужой планете Лесная Грудь порядок, заявил о новой этике человеческого общежития. Этике будущего. Обруч вокруг Земли, созданный роботами барражирующей вокруг нее ядерной ракеты, отнял у человечества эту память о будущем, точно так же, как обруч вокруг головы манкурта отнял у него память о прошлом.

«Поэт — это выродок. / Вечность и миг — вот его родина». Вацетис разрушает границы рас, сословий, классов, национальностей, предрассудков, застоя, инерции мысли. Прорываясь сквозь джунгли пространства-времени, Вацетис зажигает в нас память о будущем.

Национальности?

Их у поэта нет.

У него есть —

народ и народы.

А это больше гораздо.

Нет, не будем навострять уши, опасаясь космополитизма. Когда поэт призывает провинциалку — героиню стихотворения «пропартиться в бане душевной», он полон почтения к самому святому — «ты есть — / Латвия!» Но и свой народ он воспринимает в противоречиях. Поэт дает крепкого тумака латышскому Янису, который сидит на троне, «сложенном из колбас». Есть латыш — человек чести, и есть — пустомеля.

Точно так же уничтожающе-саркастически он пишет о колонизаторах души народной, для кого «латышское — родина» было ругательным словом, о тех «учителях», которые учили, «забыв, что мои предки / умели погоду предсказывать и эпоху». Саркастично и в то же время бодро звучит стихотворение «Держись, дикарка . . .».

Открытость поэта, его «безумная» отвага, с которой он врывается в эту «горящую зону» и вырывается из нее, эта его сила бесконечно впечатляющая. Особенно потому, что часть писателей в области национального страдает ностальгией. Страдает от того, что отечественные пророки яростней всего преследовались именно за национальное «еретичество». Народ — это душа писателя, его

кровь, совесть, его дума и забота. Астафьев, описывая беды Бейска, страдает за несчастных русских людей. Сердце писателя кровотоцит из-за старой Грани, из-за покинутых фортуной и сильными мира его деревенских баб. В трагедии Сошина главное — как жить в народе, как жить с народом? Это острая проблема и для самого писателя, и для всей русской интеллигенции. Астафьев об этом пишет мужественно, открыто, с подъемом. Латышский писатель в эту проблематику входит несвободно, закомплексованно, с оглядкой.

Поэтика Вацетиса в этом смысле более открыта, она переступает через границы и выступает за прописку «Над землей, (. . .) и сразу во всех государствах . . .» Или: «Глина северной Видземе, / в красках пороков и непорочности мира / обожжена ты». Он бросает вызов одновременно народу и обществу: «Где вы, / лечачие вещизм врачи? Нет вас».

Уже в поэме «Ратное поле, жадное поле» саркастически резко смоделирован этот разрываемый противоречиями мир, смоделирован во всем его несоместимом многообразии. Идея, душа, духовность становятся Антиным эпохи. Спевание голосов идей ратного поля и жадного поля, параллели и противопоставления, перипетии и скачки лирического героя в мире вещей и суррогатной культуры, причем в гротескном, саркастичном, памфлетном показе автора, — все это создает драматически напряженный мир. Поэт — в самом лирическом герое, но как антипод, который ведет фольклорного «брата» по шаткой бутафорской винтовой лестнице эпохи все выше и выше. Конфликт кульминарует в неожиданной перипетии: «Спокойно (. . .) ползет / покой, / палач, и наркоман, и Остап Бендер — рвач, / . . . в одном лице ползет по полю жадному». Поэма «Ратное поле, жадное поле» интригует и своей пластической структурой, и вызреванием конфликта, как полифоническая поэма идей.

Время, когда создавались сборники «Гамма», «Антрацит», «Правосписание молнии», «Си минор» и «Обреченность», — вторая половина 70-х и начало 80-х годов — это один из труднейших наших послевоенных этапов. XXVII съезд партии охарактеризовал его как застойный. Социальное гниение породило непреодолимую трещину между правдами трибуны и жизни, словами и делами, между выдуманным, желаемым и реальным миром. Может быть, в более современном виде, но образовывалась новая «потемкинская деревня». Человек и его работа теряли свою ценность, разрушал индивидуализм, потребительство, паразитирующий слой. Мы не пойдем Вацетиса, если не примем во внимание эту трагичность эпохи. В «Плахе», «Пожаре», «Печальном детективе» и в «Обреченности» интонация абсолютно одна и та же — апокалиптическая. Написанное кровью сердца предупреждение, просьба, сигнал тревоги.

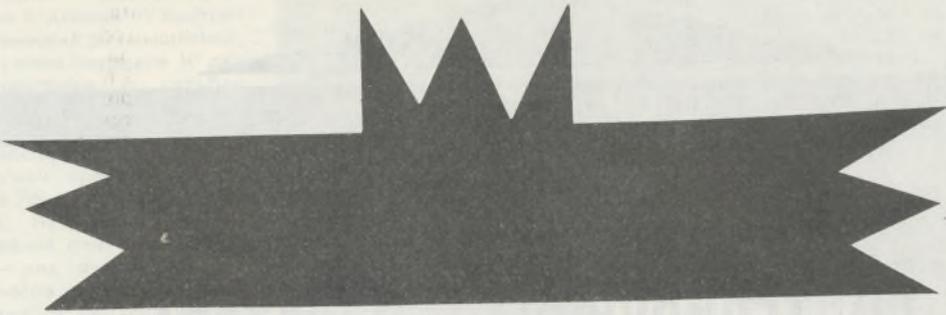
Удивительно точно Вацетис улавливает одну существенную интонацию 80-х годов. Давно в прошлом культ личности Сталина, открытое насилие, ссылка человека в физическое небытие. Но бюрократические догматы управления парализуют мысль человека, его волю, веру, творчество, в результате «талант / от себя отказывается (. . .) любовь / всходит сама на костер». Насилие конца двадцатого века не только беспощадно, но и рафинированно. «Позорное самое в человеке — это бессилие . . .», когда «любовь твою / насилуют / перед тобою — / связанным . . .», когда «в Тебе тебя убивают». Это «в наше столетье / распространенный самый / убийства / вид». И вот . . . идеалы либо оджунглились, либо утоньшились до веришки, ненавистнишки, любовишки, служение эпохе превратилось в выслуживание, смело улетающая из гнезда птица стала насидывающей, душа заболотилась.

Строчка за строчкой, строфа за строфой — и чувствуешь себя как в пекле. «Когда современной бабе / матерью / звать за запретают (. . .), младенец ползает по трупу материнскому, / . . . и сосет». Чувствуешь себя неуютно, как на страшном суде. И, читая эти апокалиптические строчки, не будем тыкать пальцем куда-то в пространство. Там, вон там ад! Нет, не там, все эти строки — про нас! Про каждого! Ради нас поэт нес свой крест на Голгофу.

Трудно даже уловить тот момент, когда местные концесветные ситуации, региональные конфликты сгущаются, разбухают и превращаются в апокалипсис. В «Обреченности» доминирует глобальная трагика, доминирует не количественно, а постановкой голоса. Апокалиптическая интонацией. «Свет готовится / ко Дню пелла. / На лицах людей / немое смятение». «Земля — / будто бомба, / полна динамита», «мир стал / стаканом в пьяных руках. / Об пол его! / Осанна!»

Это резкая, бесстрашная лирика тревоги и предупреждения. «Мне ночью сегодня / в себе / задушить надо труса . . .». Сурдинных и пастельных тонов в «Обреченности» мало, господствует — контринтонация. Податливость, отлагательство, полуосмелвание, полуделание смерти подобны. Противоположности очищаются от этих «почти-» и «полу-» и усиливаются до антиподов и антагонизмов, конфликт — до трагедии. Все чаще и чаще вламывается рваный ритм, гротескные скачки, необычность как антипод инерции и «параличу души». Гротеск, перипетия, противопоставления и коллизии здесь становятся одним из краеугольных камней поэтики Вацетиса.

Тем не менее ирония, сарказм, сатира, отрицание злого и тупого не проникнуты ненавистью и холодом. Нет, сила-носитель эмоциональной энергии поэта — уживание и любовь. В стихотворении «Хищник» человек обнажается в обычной стихии Вацетиса —



в противопоставлениях. Между «зверем и человеком» только перемирие. Поэтому тем неосождаемое кредо поэта в этом стихотворении — любовь. И не только Вацетиса, но и П. Петерсонс, М. Залите, И. Зиедонис, даже родоначальники «суровой литературы» и апокалиптического искусства гармонизируют мир в любви, прощении, раскаянии. Отказ от борьбы? Непротивление злу? Ненависть против ненависти не единожды порождает ненависть, поэтому не будем спешить с выводами.

Вполне возможно, что читателя и особенно литературоведа это шокирует, но я убежден, что характер структуры и конфликтов в «Обреченности» и «Плахе» родственны. Под структурой я подразумеваю не каркас, а моделирование гримас общества и человечества, токи идей и духовной энергии и аномалию в них. То есть динамическую, а не статическую структуру. Оба автора стремятся охватить мир как единое целое, локальные концевые ситуации сконденсировать до трагикатастрофы всего человечества. Родственны у Вацетиса и Айтматова концепции «вселенского укоренения» человека, его ответственности «за все, что происходит в мире», сближает их обоих и восприятие трагизма творческого человека, новозмысливающего, «пророка». И вскрывание противоречий души человеческой. Другие точки соприкосновения я уже отметил, рассматривая творчество обоих.

Поэтому не могу не думать о разном резонансе их в мире. Почему идет во многие народы «Плаха», идут «Письма мертвого человека» и «Покаяние», и почему «Обреченность» знают только несколько (или, может быть, много?) десятков тысяч латышей? «Обреченность» — не украшение для гостиной, не доморощенное чтиво. Это написанная кровью стихотворений — на высочайшем художественном уровне. В чем причины столь разного резонанса таких равноценных художественных произведений?

Главная причина — в неухоженности и провинциализме нашей культуры. Мы и сейчас больше возводим Вацетиса на постамент, нежели осваиваем его чрезвычайно богатое наследие. Это вообще трагедия великих личностей: при жизни их преследуют догматики и невежды, после смерти — поклонники. Постаментирующие и обожествляющие мешают освоить наследие поэта во всей его противоречивости. Иногда это чувствуется в отношении Райниса, и вот такие «сверхвысокие» тона зазвучали в связи с Вацетисом. Духовную энергию Вацетиса надо бы осваивать интенсивнее и демократичнее, поучившись у самого поэта культуре полемики. Еще неохотнее мы передаем поэзию Вацетиса другим народам. Так и кажется, что здесь берет верх «национальный» эгоизм — каждый ведь востро тянется показать себя за пределами республики, а возможности центральных издательств так ограничены! Иной раз, горячо демонстрируя интернационализм, мы забываем, что поэзия Вацетиса и вполне интернациональна, и вполне способна представлять латышский народ как «выдающуюся личность».

Однако нельзя не принять во внимание и препятствия художественной природы. Современное апокалиптическое искусство стремится уловить неуловимое — вскрыть корни глобального зла, предупредить об опасности самоуничтожения человечества, во-

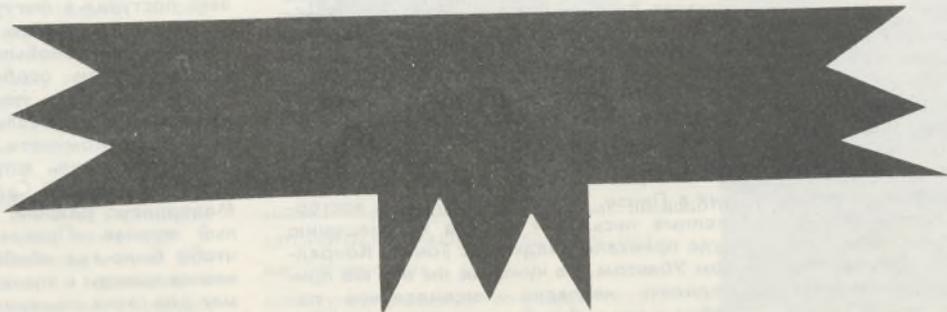
рваться в очаги, кратеры и самое пекло подлости и зла. Взорвать их и одновременно взорвать летаргию человеческого сознания. Принести человечеству новую культуру общежития. Планетарные идеи еще не обжиты искусством. Препятствия не преодолены и непреодолимы. Критики многоголосно спорили и оспаривали «Плаху» и «Печальный детектив» как единые художественные произведения, как романы. В конце концов эстетическая мысль склонилась к тому, чтобы простить. Нет, не простить, а подтвердить: публицистическая прямота и однозначность, газетный жаргон, ломанный ритм, внутренняя дисгармония, структурные коллизии — все, все это во имя Наивысшего — во имя «быть или не быть» Человечества.

Несравненно труднее выполнение этой миссии для малых форм поэзии. Как и «Плаха», «Обреченность» построена из «циклопических глыб». Самость человека, коллизии его жизни, судьбы народа, общества и человечества, будничное и планетарное часто переплетаются и сменяют одно другое, к тому же в неожиданных поворотах. Там, где арсенал поэтики достаточно пластичен, где талант поэта разжигает до высокого напряжения — там человеческая трагика детонирует сильно. В тех стихах, где обширность достигается более прямыми, более однозначными публицистическими и философскими средствами, эмоциональных стыков не хватало.

И еще. В глобальной поэтике, видимо, наиболее остра проблема «остановки времени» — чтобы «циклопическая идея» была воспринята, чтобы трагика человечества вызвала катарсис. Хотя поэзия Вацетиса драматически заряжена, контрастна и многогранна, все же в малых формах поэзии планетарные катаклизмы часто вспыхивают только на мгновение, как молнии. Потому-то о единой структуре «Обреченности» можно говорить лишь условно, так как «поле духовной энергии», которое объединяет всю многослойную поэтическую систему, воспринимается с трудом. Полифонизм идей, их глобальные масштабы наводят на мысль о разветвленной, многослойной структуре, по сути — о поэзии больших форм. К таким выводам меня подталкивают большие по объему стихотворения самого Вацетиса.

Остановить время, обогнать время, прорваться сквозь джунгли пространства-времени, выступать над и вне времени с идеями гуманизма и прогресса — такова суть творчества Вацетиса, сила его поэзии. Поэтому разожженные в поэмах «Эйнштейниада», «Потемкинская деревня» и «Ратное поле, жадное поле» страсти, конфликты и идеи сильно детонируют и сегодня, а тогдашняя пророческая мысль поэта сгустилась до трагикатастрофы всего человечества в современной апокалиптической литературе. Большая литература вызывает переключку эпох. Только что опубликованное в журнале «Авотс» стихотворение О. Вацетиса «Воскресение вождя» вместе с пьесой Г. Приеде «Пахнет грибами» и рассказом Э. Вилкса «Двенадцать километров» остро схватывают сегодняшние социально-человеческие гримасы, напоминают и предупреждают, что Аналитис и Раубенис живучи и устойчивы, что конфликт трех братьев из сказки не утихает и нынешним ясным днем.

Перевела ФАИНА ФЕРБЕР



ДАЦЕ ЛАМБЕРГА

«СИНТЕЗИРУЮЩАЯ ПРОСТОТА» ЕКАБСА КАЗАКСА

В том возрасте, когда средний выпускник Академии художеств еще только вырабатывает свой творческий почерк, Екабс Казакс уже сказал все. Художник прожил неполных двадцать шесть лет и ушел из жизни в момент наивысшего расцвета своего таланта. Что теперь гадать о возможном пути в искусстве Казакса, Гросвалдса, Зелтиньша или Падегса! Их творческое наследие невелико, но оно как неповторимо яркая вспышка молнии.

На выставке 1922 года, посвященной памяти Екабса Казакса, было выставлено 40 картин, более двадцати акварелей, линогравюр и рисунков. Это немного, но без созвучного эпохе искусства этого художника трудно вообразить латышскую культуру. Он жил в сложное время — в политике это означает первую мировую войну, немецкую оккупацию, февральскую и Октябрьскую революции, а в искусстве — лавину потрясающих открытий французов Пикассо и Дерена, итальянских футуристов и немецких экспрессионистов. Нелегко было в таком хаосе информации отказаться от соблазна повторить блестящую сенсацию и найти свой, личный способ самовыражения. Екабс Казакс, каждой клеточкой впитывавший новое и современное в искусстве, остался неповторимым. «Напрасны попытки найти на холстах Казакса нечто эстетически красивое, у него все просто и правдиво, как серьезные тона холстов, которые не захватывают, но оставляют горькое предчувствие кануна»¹, и то, что «Казакс оставил нам — это наследство боли его юной, могучей души, и это наследство будет дорого народу, пока сам народ будет жив»². Оценку художника Р. Суты и искусствоведа М. Циелены подтверждает последняя работа живописца Эдгарса Илтнерса — созданный в 1983 году портрет Казакса, в котором ясно видна духовная общность и величие духа латышских художников разных эпох.

«Каждый художник создает себе мир по своему духовному облику»³, изображая киплящую вокруг него трагичную до отчаяния жизнь беженцев, стрелков, или рисуя автопортреты, Е. Казакс сумел создать «портрет эпохи» и отразить свое бытие в ней. До начала первой мировой войны жизнь сына рижского дворника, родившегося 18 февраля 1895 года, протекала спокойно. Рисование в реальном училище А. Кениньша преподавал Юлий Мадерниекс — одна из самых ярких личностей в латышской культуре. Его другом был Карлис Балтгайлс, позднее разрабатывавший тему стрелков. Они не только совер-

шенствовались в рисовании, — в отсутствие учителя затевали фехтовальные турниры — рапиры были куплены на барахолке. В 1912 году Екабс поступил в Рижское городское художественное училище, которым руководил Вилхелмс Пурвитис. Педагогами в ней были Я. Розенталс, Я. Р. Тилбергс, Б. Борхерт, а среди товарищей по курсу — Е. Бине, Э. Швейцс, а также поступивший сразу на второй курс и бывший годом моложе Р. Сута. Школьные работы Казакса свидетельствуют, что импрессионистский прием наложения теней при рисовании гипсов, возникший под влиянием Пурвитиса, при переходе в портретный класс Тилбергса сменило иллюзорное отражение действительности. Пурвитис заставлял учеников работать на пленэре, и в 1914 году Екабс впервые принял участие в выставке, предложив четыре пейзажных рисунка.

Когда в 1914 году началась война, домой после учебы в Париже вернулся Язепс Гросвалдс. Он явился как пророк, провозглашающий новейшие направления французской живописи и задачи латышского искусства на будущее. В Риге его актуальные идеи нашли вполне готовую почву для реализации. Вместе с единомышленниками К. Убансом, В. Тоне, А. Древиньшем и другими он основал художественный кружок «Заля пукс» («Зеленый цветок»). Казакс был еще слишком молод, чтобы в него войти, но несомненно, что обсуждаемые в кружке идеи французского искусства затронули его по крайней мере на теоретическом уровне.

В мае 1915 года поток курземских беженцев хлынул через Ригу в Видземе и в Россию. В июле началась эвакуация заводов, а в августе формировались первые стрелковые батальоны. Рижское художественное училище практически прекратило свое существование, но по ходатайству В. Пурвитиса воспитанники смогли продолжить обучение в художественных школах России. Осенью 1915 года Екабс вместе с Романом Сутой отправился в Пензенское училище, где уже учился К. Балтгайлс. По дороге они завернули в Петроград, где впервые увидели в Эрмитаже работы Тициана, Рембрандта и Рубенса.

Невзирая на тяжелые жизненные условия в Пензе, Сута писал друзьям восторженные письма, и по его приглашению туда приехали Валдемарс Тоне с Конрадсом Убансом. На чужбине им все же приходилось несладко — ежемесячное пособие в три рубля было ничтожным. Обе-

ды в школе часто были их единственной дневной трапезой. Зимой нетопленную комнатушку сковывал мороз — единственным «отоплением» был костер из газет в умывальном тазу. Матери в Петербург Роман писал правду о том, что здесь «ужасные деньки, ничего нельзя достать, даже булок, за ними нужно стоять в очереди с 9 до 12, проклятая яма, к счастью, не так холодно, как прошлой зимой»⁴. Наверно, лишь надежда на конец войны и возвращение домой помогала им влачить суровое существование беженцев. Сбережения Казакса скоро иссякли, и он стал работать в конторе Комитета по обеспечению латышских беженцев. Там он вдоволь наглядился на трагические стороны их жизни — «я слышал, как умирали латышские солдаты за свою Курземе, и видел в России седых стариков, последней надеждой которых было покоиться на родине». Казакс много работал, начал «несколько больших картин из печальной жизни латышей». В пензенском дневнике он писал: «Мы верили, что после страшных переживаний латышский народ будет жить, и в искусстве мы заговорим на неслыханном языке. Мы думали о золотом веке и, наговорившись адосталь, начали работать». Самого Екабса лучше всего охарактеризовал К. Балтгайлс: «Высокого роста, красивый, очень серьезный, хотя под этой серьезностью таилась тихая веселость. Любую работу, за которую брался, он выполнял с огромным увлечением, вечно экспериментировал в поисках нового языка искусства, часто писал автопортреты. В теории искусства он был сильнее нас всех и, вероятно, был самым уравновешенным из нас. Много читал. Мы тогда часто обсуждали будущее латышского искусства, и каждому хотелось создать что-то особенно значительное, небывалое до сих пор»⁵.

В Пензенском училище основополагающими были традиции передвижников. Казакс поступил в фигурный класс. Рижане, как жители крупного города, принесли в училище свои необычные идеи. Педагоги к их работам особо не придирались, но не позволяли пензенцам подражать им. Будни скрашивали культурные мероприятия в Комитете латышских беженцев, в училище, встречи в дружеском кругу. Балтгайлс, Сута, Казакс и Роберт Мадерниекс решили выпускать рукописный журнал «Правда четырех мужей», чтобы было где обобщить свои теоретические выводы и впечатления. Сута придумал для своих номеров экзотический подзаголовок «Зулукафер», а издание Ка-

закса называлось «Дым» — оно ассоциировалось с пожаром и дымом от выстрелов. Кроме теоретических размышлений, Екабс поместил в своем журнале и два лирических стихотворения о судьбах беженцев.

Каждую весну в училище проводились выставки работ воспитанников. Рижан специально пригласили принять участие в такой выставке, а Тоне и Казакса даже выбрали в жюри. Латышская манера живописи произвела на пензенцев большое впечатление — «их очаровало, что мы за несколько часов насыщаем холст жизнью и красками». В пензенский период, до весны 1917 года, в основном сложился характер живописи Казакса и его теоретические взгляды. Написанные в школе «Портрет мальчика» и «Женщина в черном платке» — строгие образцы реализма, в которых еще не раскрылась по настоящему личность автора. Но «Автопортрет в черном» излучает одухотворенность незаурядной личности и глубокую интеллигентность, ему свойственны артистизм и пластика мазка.

В марте 1916 года Екабс вместе с Робертом Сникерсом посетили в Москве выставку латышского искусства в галерее Лемерсье. Там на них самое большое впечатление произвели «красивый рисунок контуров, чудесная композиция и мощная красочность» живописных произведений Гросвалдса на тему беженцев. В галерее Морозова молодые люди увидели картины Гогена, Ван Гога, Коро, Мане, а на Дмитровке — выставку футуристов. Но впечатление от Гросвалдса оказалось самым плодотворным, и тема беженцев, актуальная и современная, повлияла на творчество Казакса. Продолжался и поиск формы. Размышления и труд изменили творческий метод художника — его творчество «больше стало похоже на декоративное искусство, чем на импрессионистскую живопись». «Мой живописный метод стал свободнее, и большее значение я придавал композиции. Я еще не знал Андрэ Дерена и видел лишь несколько репродукций с работ Пикассо, и потому вся моя любовь принадлежала старым мастерам». Переходный период характеризуется картиной «Три старухи» — на ней изображены три измученные отчаянием беженки. Композиция основывается на ритмическом расположении цветowych пятен, на контрасте пластики лиц и рук с ломаными плоскостями фигур и фона. Это уже не отблеск иллюзорности ранних импрессионистических портретов, а реальность жизни, пережитая художником, в форме которой отразились граненые ритмы кубизма, хотя в целом влияние этого направления на Казакса несущественно.

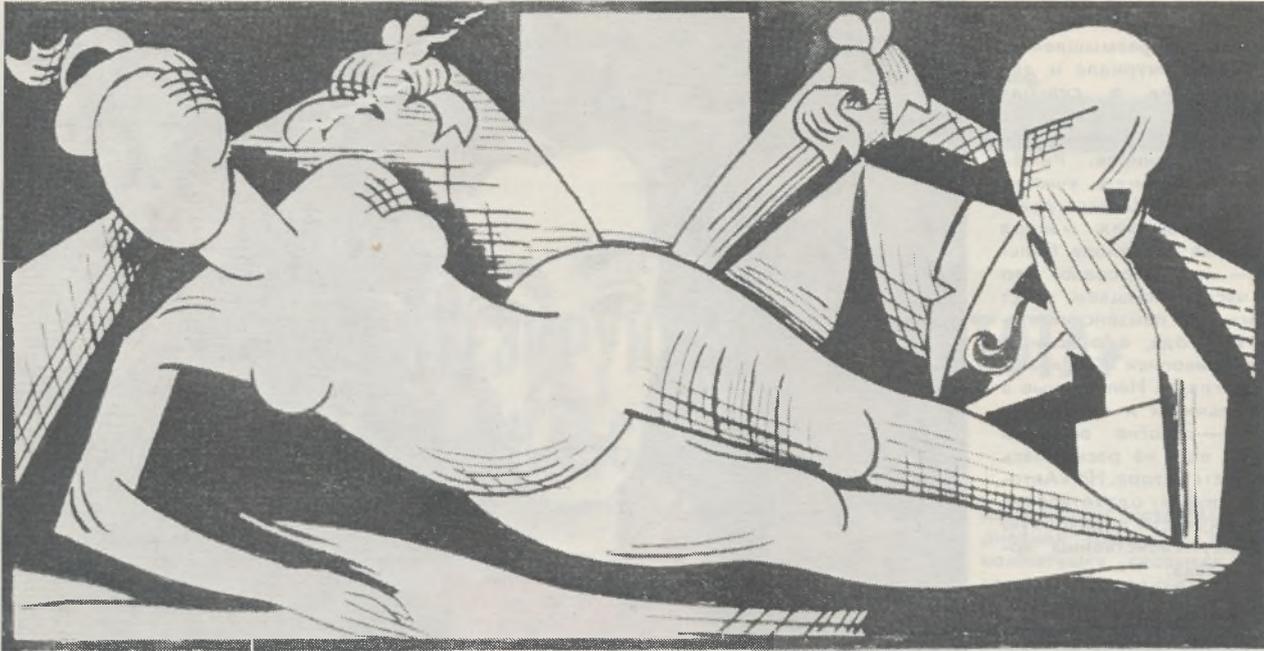
Зимой 1916/17 года Казакс создал свою самую крупную по размерам и самую монументальную композицию «Беженцы», в которой резко ощущим трагизм эпохи. На холсте была заметна неумело поставленная заплатка, и только много позднее, после реставрации в музее, К. Убанс рассказал, что заплатку поставил сам Екабс. Очевидно, ему просто негде было достать целый холст такого размера. В истории искусства тема беженцев связана с евангельским преданием о бегстве в Египет, которое изобразили на своих полотнах Тициан, Ван Дейк, Мурильо, Буше, трактуя его как гармоничный миг отдыха святого семейства в далеком пути. Для Казакса жизнь беженцев была суровыми и реальными буднями, и в картине рассказом об одной



АВТОПОРТРЕТ С КРАСНЫМ ГАЛСТУКОМ. 1919 г.

АВТОПОРТРЕТ. 1916 г.

АВТОПОРТРЕТ В ОДЕЖДЕ ПИЛИГРИМА. 1917 г.



КОМПОЗИЦИЯ С АКТОМ. 1919 г.

семье он обобщил всю судьбу латышского народа, внезапно оказавшегося в трагической ситуации. Женщина с младенцем, старик, старуха — не сломленные духовно люди, в сердцах которых теплится единственная надежда — вернуться на родину, во имя которой сложили головы стрелки на Острове смерти и в Тирельских болотах. В картине отражены конкретные бытовые детали — «серый дмотканый костюм латышского крестьянина, черная фуражка с блестящим козырьком так типичны, что вы отличите его среди тысяч других людей. Еще легче узнать латышских женщин, ибо кто еще так повязывал белые платочки»⁶. В то же время идея картины — общечеловеческая. Сохранилось несколько эскизов «беженцев», среди которых Казак предпочел удлиненный формат с низким горизонтом, над которым статная фигура старика возвышается, как скала. В трактовке фигур художник воспользовался деформацией, особенно в изображении лиц и рук, чтобы добиться эффекта сильного переживания. Пластичные линии контура образуют фигуру молодой матери — символ стремления народа к жизни.

В акварели «В комитете беженцев» Казак изобразил самого себя сидящим за небольшим столиком и наблюдающим людскую суету. На дальней стене едва намечен рисунок, в котором знаток узнает плакат центрального комитета по обеспечению латышских беженцев, выполненный Язепсом Гросвалдсом, с его характерной двуплановой композицией. Под впечатлением от работы Гросвалдса, этот прием использовал и Казак в панно № 2 «Беженцы», с его подчеркнутым ритмическим расположением фигур. На первом плане динамически экспрессивной композиции три статических ломаных женских фигуры, а на втором плане движется шествие беженцев. Схоже построена первая часть диптиха «Купальщицы». Возможно, художник задумал обе эти картины как противопоставление идиллии жизни и бессмысленности войны.

В своих рисунках и акварелях Казак отражает будничную жизнь — очередь у магазина, толпу на рынке, проводы беженца в последний путь. Акварелям ху-

дожника не свойственна традиционная чистая прозрачность — он работает в темном колорите, густыми, непрозрачными красками. Рисунки тушью создавались не только как эскизы для картин, но и как «заметки» на линованной бумаге и бланках для телеграмм. В тональных наплывах туши и чернил ломаные и острые линии рисунка обозначены резкими штрихами пера.

Весной 1917 года Екабс Казак посетил Щукинскую галерею в Москве, где впервые увидел картины Дерена, Пикассо и Матисса. Как вспоминает Сута, художник был потрясен до глубины души. «Эти французы казались мне такими простыми и такими пугающими. Не верю, что это правда, мне кажется, я впервые вижу вещи, которые нельзя назвать иначе как картинами»⁷. Внешне на художника произвел большое впечатление язык ломаных форм, свойственный Дерену (например, композиция «Суббота» (1911—1914), Музей изобразительного искусства им. А. Пушкина). Казак обладал счастливым свойством впитывать чужое влияние и перерабатывать его, совершенствовать, подчинять своему замыслу. В его терминологии появилось понятие «синтезирующая простота», что означало для живописи освобождение ясной и простой формы от всего случайного, ибо «моделируя, нужно отбросить все лишнее и работать над теми мелочами, которые характерны». Если это требовалось для большей выразительности и реализации замысла, Казак деформировал природные формы, менял цвета, заострял контрасты света и тени, ибо «сущность картины — в идейном и художественном единстве».

Весной 1916 года Тоне и Убанс вступили в стрелковые полки, и на рождение оставшиеся в Пензе художники в последний раз собрались все вместе у импровизированной елочки, украшенной тубиками красок и несколькими свечками. Февральская революция вырвала юношей из школьных буден — они даже отправились захватывать ближайший полицейский участок, который к тому времени оказался уже пустым. Но позднее парни получали более серьезные задания —

разыскивать сбежавших уголовников и уничтожать запасы спиртного. Весной Карлис Балтгайлс окончил школу и вступил в 5-й Земгальский стрелковый полк. Казак написал портрет друга в солдатской шинели. Сам Екабс тоже покинул Пензу и вернулся в Ригу. В августе он вместе с Романом Сутой тоже записался в Земгальский полк, но когда 3 сентября Рига оказалась в руках немцев, Казак остался в оккупированном городе — пустом, будто вымершем. По вечерам никто не показывался на улицах, только где-то вдали тишину нарушали стук кованых каблучков и бряцанье ружейных затворов. Об этом времени — времени голода, холода, разрухи и страха — рассказывает композиция «Жанр», моделями для которой стали родители и сестра. До того Казак уже рисовал их, но в групповом портрете вместо патриархального величия — ощущение, динамичные ритмы, сильная деформация анатомических форм. В расположении светлых пятен на темном фоне, в контрастах светотени на складках одежды, в изогнутых ритмах рук, ярко проявилось композиционное мастерство художника. Подчеркивая сходство головы и рук отца со скелетом, Казак с впечатлительностью художника выразил свое отношение к царящей вокруг атмосфере уничтожения, когда «мысль цепенеет в незнании».

Созданные в 1918 году «Автопортрет с палитрой» и «В цирке» свидетельствуют, что почерк автора стал живописнее, исчезла скованность рисунка и прибавилось пластики мазка. Среди множества автопортретов, в которых художник в известной мере навязал сам себе какую-то определенную позу или многозначительность собственного образа, в композиции с палитрой и красным галстуком подчеркнута сила творческой личности, убедительно осознающей свою миссию в искусстве. Не меньше привлекала Казака еще совсем короткая история латышского искусства, о чем свидетельствует небольшая тетрадь «Янис Розе», изданная в Риге в 1918 году «Издательством» Е. Казака.⁸ В сущности, там собраны три анекдота о Розе, ко-

торые художник записал в гостях у К. Баронса, и две газетные статьи. Но не надо забывать, что до того не была издана ни одна книга о латышских художниках. В 1918 году Екабс Казакс вместе с тринадцатью другими кандидатами претендовал на стипендию имени В. Тимма, завещавшего ежегодно тысячу рублей одному из художников — уроженцу Риги.⁹ К сожалению, Екабс не получил стипендии, и, может быть, именно из-за стесненных материальных обстоятельств был вынужден в октябре уехать в Алуксне.

Там Казакс работал преподавателем рисования и истории искусства в трудовой школе Алуксненского совета, читал лекции, рисовал театральные декорации. Если он и надеялся на более тихую, чем в Риге, жизнь, то ошибся. Он оказался в эпицентре военных действий. 21 февраля 1919 года стрелки отступили из Алуксне, а через неделю вернули город, но финские и эстонские белогвардейцы успели уничтожить немало его жителей. Их похоронили перед дворцом в могилах коммунаров, там же впоследствии были похоронены и стрелки. Весной бои под Алуксне продолжались: «Красноармейцы уходили на фронт, через Алуксне отступали полки красных китайцев, эстонские комитеты с тушами скота и мешками муки, еще всадники уходили через озеро из Изборска и Выру. Товарищи из центра успокаивали и угрожали в церкви. Ночью и в полдень стреляли. Я жил на квартире у Викторса Эглитиса, мимо моего окна пробегали солдаты без винтовок и тащили пулемет, полевые кухни и орудия, а раненые держались за стволы». Время для творчества было не самое подходящее, но дневник художника свидетельствует, что в шествиях со знаменами и песнями, в увиденных горах трупов Казакс отыскал мотивы и для настенной росписи, и для гравюр по дереву. Их оттиски пока не найдены, так же, как эскиз памятника коммунарам, который все равно не удалось бы тогда воздвигнуть — в мае красные стрелки оставили Алуксне.¹⁰ Остался только вывод Казакса о том, что «скульптура — более значительное искусство во времена свободы».

30 ноября 1918 года Екабс Казакс прочитал в Алуксне доклад «Об искусстве»¹¹, в котором сформулировал свои теоретические взгляды. Более всего молодого художника привлекали характерные приметы современного искусства, его взаимоотношения с натурой, самые актуальные направления — кубизм и футуризм, хотя он признавался, что «созданное по программе искусство — искусство в еще меньшей мере». Художник был уверен, что «то, что мы теперь называем новым искусством, не является новым перед лицом истории искусства, где наивысшие достижения человечества повторяются в вечном круговороте, а ново настолько, насколько нова наша жизнь и насколько нам хватает смелости высоко нести знамя современности».

В Риге Екабса ждали бедность и голод, на живопись уже не оставалось столько энергии, как в Пензе. Возможно, что портрет некой барышни К. Ч. был создан уже в Алуксне, но оба начатых в 1916 году двойных портрета были, вероятнее всего, закончены уже в Риге. Самый интересный из них — «Курильщики», с Балтгайлсом и Сникерсом. Лица здесь образуют довольно условные плоскости светотени, но особенно выделены



В КОМИТЕТЕ БЕЖЕНЦЕВ. 1917 г.
ТРИ КУПАЛЬЩИЦЫ. 1920 г.
ЕКАБС КАЗАКС

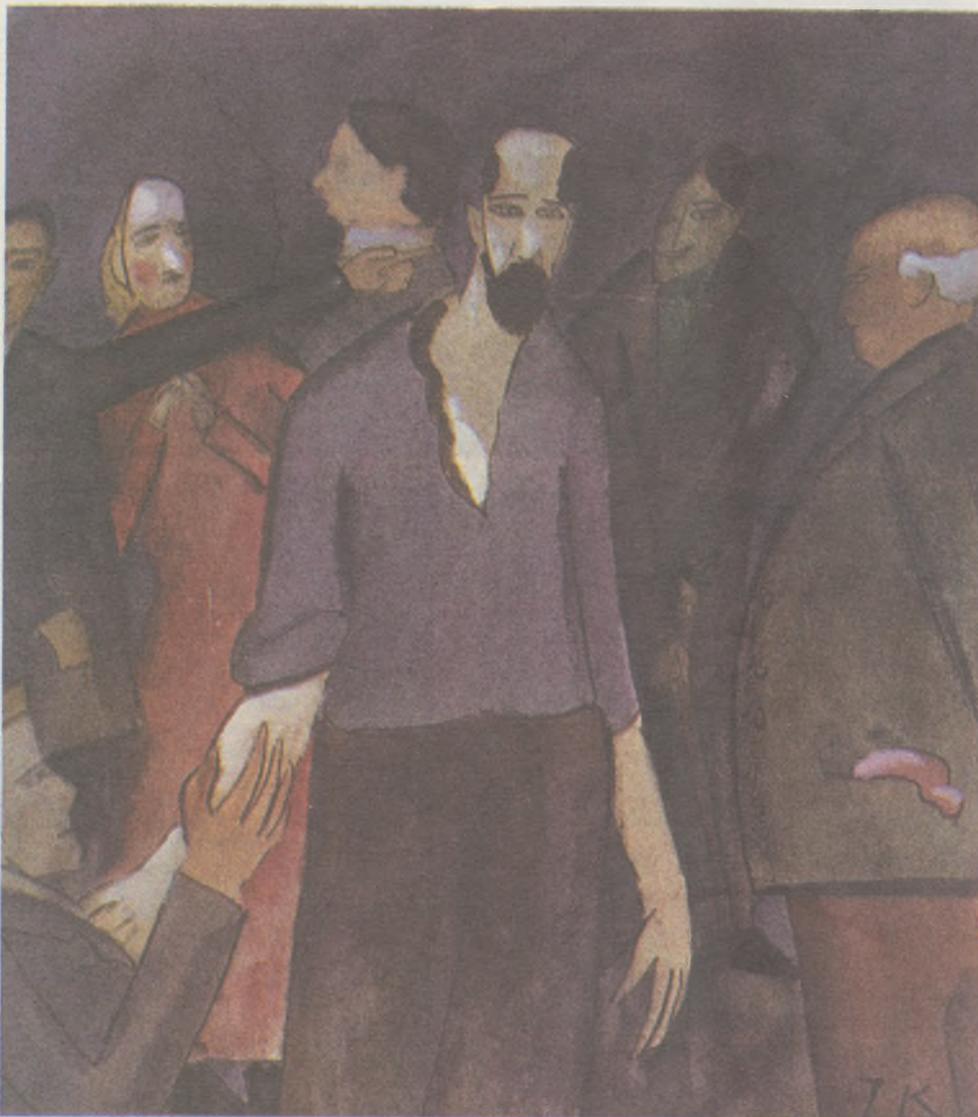




руки Балтгайлиса с трубкой и табакеркой. Схожую манеру наложения тени с сильно заостренными контрастами светотени откроет, как новинку, поколение художников, пришедших в латышское искусство в конце шестидесятых годов.

Общественная жизнь в Риге в конце лета стала активизироваться, невзирая на наступление Бермонта. В октябре в городском Художественном музее, купол которого пострадал от взрыва бомбы, состоялась ретроспективная выставка латышского искусства. Среди прочих, в ней приняла участие созданная в сентябре «Группа экспрессионистов», в которую входили А. Дрезиньш (Москва), Я. Гросвалдс (Париж), К. Иохансон, Е. Казакс, О. Скулме, Н. Струнке, Р. Сута, К. Убанс, Г. Элиас, Я. Линдбергс и Э. Швейцс были только кандидатами, а В. Тоне, будучи членом комиссии жюри, в выставке не участвовал. Шестеро из них издали «Папку экспрессионистов» с линогравюрами, о которых Гросвалдс выразился, будто в них много ненужных «жертв» кубизму, уже неактуальному во Франции. Черно-белые композиции Казакса «Женщина с раненым на плечах», «Перевязка раненого», «Могильщики» по своему настроению довольно экспрессивны, и геометризация форм, свойственная кубизму, не слишком характерна для них. Единственный упрек — плохое качество многих оттисков, потому что вместо типографской краски использовалась черная гуашь.

Гросвалдс писал из Парижа, что называть группу «экспрессионистами» — ошибка, ибо «всегда опасно с самого начала называться «истами» — таких групп, как «импрессионисты», «кубисты» никогда не было — эти названия они получили уже позднее¹². Поэтому в следующем году экспрессионисты переименовали себя в Рижскую группу художников. Основную программу своих художественных взглядов они провозгласили во вступлении к каталогу 1-й выставки: «Все последние годы были подлинной трагедией для нашего искусства, кажется, что и сейчас мы идем навстречу окончательному уничтожению. В нашем обществе больше не было места искусству. Огромная выносливость и самопожертвование потребовались от художников в борьбе с бедностью и равнодушием окружающих». В такой ситуации можно было пойти на компромисс, приспособиться к вкусу и запросам общества, но «рижане» резко обозначили свое кредо — «Нас не удовлетворяет более простое изображение реальной природы. Все наше стремление сегодня направлено на то, чтобы показать личность. Не природу, объективную и реальную природу хотим мы дать в своих работах, а свою личную природу, свою духовную сущность». Екабс Казакс, хотя и был моложе всех остальных, был избран первым председателем. Возможно, именно он написал вступление к каталогу, поскольку сходные мысли прозвучали в докладе «Об искусстве» — он утверждает, что самое значительное в картине есть «комбинирование форм и линий, построение, тональные ценности цвета и, главное, тот дух художника, что органически сросся со всем этим», ибо «нам даны в руки элементы картины, и духу дано объединить их во имя единой великой мысли, единого ясного и несомненного совершенства». Потому «не в натуре нуждается художник, но натура должна стать посредницей между художником и зрителем, как через при-



родные формы идея создателя становится доступна всему человечеству».

Выставка Рижской группы, на которой даже работы одного автора, в зависимости от времени создания, стилистически отличались друг от друга, стала значительным событием в культурной жизни города. Критика выше всего оценила работы Тоне и безвременно скончавшегося к тому времени Гросвалдса. В Казаксе увидели автора, картины которого «полны невиданных поз и жестов», поскольку он «всюду ищет характерное — в линиях, в цвете, в выражении, — всюду должно быть что-то особенное, потрясающе оригинальное»¹³. Очевидно, на общем фоне искусство Казакса действительно было необычным и ярким явлением, хотя бы тем, что тут были и отказ от перспективы, и деформация анатомического строения. «Немому языку красок и линий надо учиться, чтобы его понимать. Потому выставка Рижской группы художников для многих так и осталась книгой за семью печатями»¹⁴, — вот какой вывод сделал писатель и живописец Янис Яунсудрабиньш, ибо возмущены были не только зрители, но и некоторые художники старшего поколения, в результате чего через полгода произошла печально известная «каспарсионада».

В 1920 году у Екабса Казакса опять появилась возможность интенсивно работать — улучшились жилищные условия. Его живопись стала жизнерадостнее, цвета — светлее и ярче, как в композициях с жизнерадостными купальщицами, подобно Афродите возникающими из морских волн. И волнующе помпезные фигуры на картине «Дамы на взморье», и наброски ленивых дачниц из цикла «Эдинбургское (Дзинтарское) взморье» являют нам ту грань сущности Казакса, где «под серьезностью кроется тихий юмор». Будучи восторженным поклонником нового искусства, он не менее остро воспринимает гротесковые стороны искусства или быта, о чем свидетельствуют его карикатуры. В этом году Казакс работал над композицией на тему стрелков, которая известна лишь по эскизам и по черно-белой репродукции.

Вольная копия «Тайной вечери» Тинторетто стала последней картиной художника. В письме от 9 сентября 1920 года, адресованном В. Пурвитису, тогдашнему директору музея, уполномоченный господин Т. фон Гранзе дает господину Казаксу позволение снять копию с этой картины¹⁵. Во время войны коллекции многих немецких помещиков хранились в музее, но неизвестно, представлялась ли эта работа, а также ее дальнейшая судьба, хотя существует версия, что она вывезена из Латвии в начале двадцатых годов. Казакс свободно трактовал религиозную тему «Тайной вечери», решая в ее рамках задачу раскрытия чисто человеческих чувств, и добился невиданного прежде художественного темперамента и экспрессии. Кажется, что кисть танцевала по поверхности холста, несколько мазков — и возникает живое представление о каждом из апостолов или о натюрморте на пиршественном столе. «Мне нравится Тинторетто, — сказал Казакс, — и характерно то, что я, не видев его работ, сам пришел к некоторым схожим приемам... Мы видим у него, что в погоне за совершенством формы отбрасывается обычное и естественное, а художник следует лишь ритму и построению картины». Недаром один из современников сказал, что это — новый Казакс в границах, установленных Тинторетто.



стр. 36

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ. (ВОЛЬНАЯ КОПИЯ С ТИНТОРЕТТО)
1920 г.
ЭСКИЗ ДЛЯ КАРТИНЫ. 1916—1917 гг.

стр. 37

БЕЖЕНЦЫ. 1917 г.
СИДЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ. ИЗ ЦИКЛА «ЭДИНБУРГСКОЕ
(ДЗИНТАРСКОЕ) ВЗМОРЬЕ». 1920 г.



ПРОВОДЫ СКОНЧАВШЕГОСЯ БЕЖЕНЦА. 1917 г.

ЛЕТО. 1917 г.



В октябре, полгода спустя после выставки Рижской группы, была открыта выставка никому не известного художника Р. Каспарсонса, на которой были представлены профессионально слабые подражания современным направлениям. Критик Я. Домбровский писал о ней: «Каспарсонсу придется все начать сначала», ибо «он совершенно не подготовлен, особенно по части цвета»¹⁶. Так бы это и осталось неудачной попыткой начинающего, если бы за этим не скрывалось нападение на Рижскую группу, враждовавшую с «бывшими матадорами», как Сута прозвал художников старшего поколения Я. Р. Тилбергса и Р. Зариньша. Тилбергс представлял академическую школу живописи, а графика Зариньша опиралась на немецкий романтический реализм. Разногласия возникли, казалось бы, из-за противоположных художественных взглядов, поскольку ветераны старались удерживать занятые позиции, а молодежь не признавала компромиссов, но не обошлось и без финансовых проблем. После войны государство было не настолько богато, чтобы поддерживать всех художников. Стычки случались не только с глазу на глаз, но и на страницах газет — например, азартная полемика между Сутой и Зариньшем. В докладе, который был прочитан 22 октября в Латышском обществе, Я. Р. Тилбергс раскрыл «большую шутку» с выставкой Каспарсонса. В начале речи он остановился на событиях в искусстве послереволюционной России: «Я в то время был директором Витебской художественной школы. Явился Шагал с весьма широкими полномочиями и стал диктовать всей губернии свои художественные взгляды. На стенах он написал: «Все рисовать синим цветом, если его недостаточно, можно взять и красный, рисовать все треугольниками или четырехугольниками!» Тилбергс попробовал углубиться в это «баловство», перепробовал все «измы», и, по его мнению, в Риге теперь «все заражены этой русской болезнью», а конкретно-экспрессионисты, которые, «сбились вместе, как волки, и приняли в свою стаю гиен из писательской среды». Закончил Тилбергс свою речь словами: «Общество должно решить: апаши или настоящее искусство!»¹⁷

Р. Зариньш напомнил присутствующим сказку Андерсена о голом короле, сравнивая главного героя с Рижской группой, искусством которой якобы восхищается народ. Он и рассказал, что несколько художников собрались вместе и за короткий срок коллективно «натворили» множество работ, а потом устроили так называемую «выставку Каспарсонса», чтобы показать, «как легко можно без внутренней убежденности создавать коллективно произведения по новейшей методе, а также выявлять при этом их внутреннюю пустоту и отсутствие ценности»¹⁸. Нетактичная выходка «старых мастеров» не принесла желаемого результата, поскольку критика и возмущенная публика встали на сторону Рижской группы художников. Я. Янусудрабиньш заканчивает пересказ доклада словами: «Крестовый поход против нового искусства грозит постигнуть судьба черного Бермонта. Может случиться, что эти художники останутся вдвоем, при аплодисментах родственников и личных друзей, но не остановят потока искусства»¹⁹.

«Каспарсионанада» еще недостаточно исследована, невзирая на большое количество материала, потому что эта тема вечно казалась кому-то скользкой и

неудобной. Наверное, не стоило бы к ней возвращаться, если бы это бессмысленное событие не оказало трагического влияния на судьбу Казакса. Художник тяжело переживал происшедшее — он был оскорблен в своих самых глубоких и серьезных устремлениях. Поскольку в вечер доклада Казаксу как председателю группы не дали слова, он, уже будучи болен, высказал свое мнение в печати: «Если Тилбергс со своими подручными придерживается приемов футуристов и шуточками и клоунскими шуточками пытается разрешить острые проблемы современного искусства, то по отношению к нему нужно выразить глубочайшее презрение. Все же следует с радостью отметить, что Тилбергс и Зариньш целых полгода пытались углубиться в новейшие достижения живописи, и если это не дало никаких результатов, то виноваты совсем не «измы», а сами эти господа. В конце я осмелюсь заметить, что единственный верный способ уничтожить всех «уродов», «хулиганов» и «апашей» — это написать хорошие картины, которые будут говорить сами за себя»²⁰. Сам Екабс Казакс этого уже не успел подтвердить — 30 ноября он скончался и был похоронен 5 декабря на Торнякалнском кладбище.

Из известных работ Екабса Казакса девяносто процентов хранится в Государственном художественном музее, шесть находятся в Тукумском художественно-краеведческом музее. Скупое наследие Казакса — настолько выдающаяся культурная ценность для латышского народа, что его место — в музее. Чувство удовлетворения вызывает то, что в фонды музея в последнее время включены рисунки, относящиеся к периоду учебы в Рижском городском художественном училище, а также то, что еще несколько картин из частных собраний переданы в музей и стали достоянием общества.

¹ Сута Р. Екабс Казакс. «Латвия Саргс» («Страж Латвии»), 1920, № 6.

² М. Циелена. Екабс Казакс. «Социал-демократс», 1920, № 276.

³ и в дальнейшем — слова Е. Казакса взяты из публикаций Я. Пуятса, Я. Силяньша, У. Скулме и Р. Суты.

⁴ Сута Р. Письмо матери в 1916 году. Собственность Р. Суты.

⁵ Балтгайлис К. Листая страницы воспоминаний. Сб.: Латышское изобразительное искусство. Р., 1977. Стр. 116—122.

⁶ Лацис В. Семья Зитаров. ЛГИ, Р., 1955. Стр. 436—437.

⁷ Сута Р. Екабс Казакс. «Ритумс» («Ритм»), 1922, № 4, стр. 315.

^{8, 9, 15} архив Художественного музея.

¹⁰ Штейнс В. Места боевой славы латышских красных стрелков в Латвии. Р., 1987. Стр. 63.

¹¹ Скулме У. Памяти Екабса Казакса. «Балтияс Вестнесис» («Балтийский вестник»), 1921, № 272, 273.

¹² Гросвалдс Я. Когда вернемся вновь. «Максла» («Искусство»), 1985, № 4, стр. 23.

¹³ Эглитис В. Выставка экспрессионистов. «Латвияс Карейвис» («Воин Латвии»), 1920. № 21—25.

¹⁴ Яунсудрабиньш Я. Живопись с 15.11 до 15.11. «Копдарбиба» («Сотрудничество»), 1920, № 16.

¹⁶ Домбровскис Я. Выставка Р. Каспарсонса. «Балтияс Вестнесис». 1920. № 283.

^{17, 19} Яунсудрабиньш Я. Голый король, или Большая шутка в латышской художественной жизни. «Яунакас Зиняс» («Новости»), 1920, № 239.

¹⁸ Сообщение для гласности об устройстве выставки Каспарсонса. «Латвияс Саргс», 1920, № 243.

²⁰ Казакс Е. Письмо в редакцию. «Латвияс Карейвис», 1920, № 205.



КИНО

НАЧИНАЕТСЯ С?...

ИНТЕРВЬЮ С РЕКТОРОМ ВГИКа,
ДОКТОРОМ ФИЛОСОФСКИХ НАУК

А. В. НОВИКОВЫМ

— Александр Васильевич! Единственный в стране Всесоюзный государственный институт кинематографии в последние годы стал притчей во языцех. И со стороны прессы и в сфере самих кинематографистов говорится об обезличивании процесса кинообразования, о потере когда-то уникальной школой былого престижа. Небезызвестны факты протекционизма, создание мастерских так называемого «семейного кино». Да и обилие серой экранной продукции порой наводит на мысль, что многие беды нашего кинематографа надо отсчитывать от порога киновуза. Вы вступили в должность несколько месяцев назад — что видится с высоты вашего нынешнего положения? Насколько обоснованны претензии к институту кинематографии?

— Что говорить, ситуация во ВГИКе сложная. Нельзя рассматривать ее изолированно от того, что происходило во всех других сферах нашего общества, в том числе во «взрослом» кино. Во ВГИКе пересеклись многие кризисные явления, свойственные нашей культуре, высшей школе и вообще всей воспитательной работе с молодежью. Отсюда и необходимость оздоровительных мер, которые принимаются сейчас во всей системе кинематографа. Вопрос в том, каким способом вести этот процесс оздоровления.

Один из деятелей Союза кинематографистов СССР в интервью американскому журналу изложил свой проект «помощи» ВГИКу: всех студентов отправить на практику, всех педагогов уволить, в институте произвести дезинфекцию и только после этого все начать по-новому. Я — против подобных эскапад. Думаю, что экстремизм — не лучшая помощь перестройке.

Позволю себе привести одну цитату: «Для того, чтобы полноценно удовлетворять потребности советской кинематографии, чтобы выпускать творческие кадры не средние, не посредственные, а только высококвалифицированные, институт должен перестроить свою работу...» Звучит вполне современно, не правда ли? И вы будете немало удивлены, когда узнаете, что они взяты из статьи 1941 года, опубликованной в газете «Кино». Иногда имеет смысл оглянуться — не для того, чтобы успокоить себя — дескать, «Ничто не ново: так было и так будет!» — и уж, конечно, не для того, чтобы кого-то «подкузьмить»: «Вот, мол, и в такие времена, когда во ВГИКе преподавали всемирно известные корифеи...» — нет, — а для того, чтобы уяснить, что подготовка творческих кадров — всегда была непростым делом. И решить его одним махом нельзя.

— Что, на ваш взгляд, конкретно мешает работе вуза?

— Помех — множество. В первую очередь, никуда не годная техническая база. Учебных площадей в давно обветшалом здании нашего института в 5—6 раз меньше нормы. Наша учебная студия выпускает ежегодно 13 полнометражных фильмов, а получает средства, которых по общесоюзным стандартам хватает на создание одного полнометражного и то средней постановочной сложности.

К сожалению, уход из жизни крупнейших наших мастеров-педагогов обнажил отсутствие равноценной смены. Требуется время, чтобы интересные художники более молодых поколений проявили себя как Учителя. Нынешний же состав педагогов нуждается в серьезной ревизии — многие оторвались от живого потока культуры, авангардных исканий науки, перестали быть интересными собеседниками для студентов. Уже сейчас мы объявили вакантными около 50 педагогических должностей [из 135]!

Не может не беспокоить и тот факт, что до сих пор планы подготовки специалистов определяются «волевым» путем. Они не отражают реальных нужд кинематографа и телевидения. Нет научно обоснованного прогноза потребностей в новых кадрах по всем республикам, киностудиям Госкино, а также организациям Гостелерадио, хотя бы на обозримый срок — до двухтысячного года. А это рождает неуверенность выпускников в применении своих знаний. Я могу привести массу

примеров и среди актеров и среди киноведов, когда люди годами не могут найти работу по специальности. Каждый из них — не только личная драма, но напрасно затраченные государственные средства.

Не место здесь анализировать новую модель кинопроизводства, но и в ней настораживает один существенный момент. По этой модели творческие работники киностудий переводятся на договорную систему. Мера, призванная повысить ответственность уже опытных актеров и режиссеров, входит в противоречие с положением о распределении молодых специалистов. Куда деваться им? Кто заключит с ними договор? Не окажутся ли они, мягко говоря, не у дел? Эти вопросы пока не решены.

— Подсказали ли уже сейчас жизнь, практика ВГИКа, опыт перестройки те оптимальные формы, по которым должен строиться учебный процесс в творческом вузе?

— С будущего года все факультеты перейдут на новые учебные планы и программы, во многом экспериментальные. Существующие устарели, в них, например, не представлены всеобщая история и история материальной культуры. У операторов, скажем, литература изучалась как факультативный предмет, хотя все клянутся, что именно литература — основа киноискусства. Несуразиц много, сейчас мы работаем над их ликвидацией. Расширяем профили обучения и тематический спектр гуманитарных предметов. Планируем создать специальную кафедру эстетики, теории и истории культуры, чтобы поднять уровень общекультурной подготовки студентов. Уже действует положение о переводе хорошо успевающих студентов на обучение по индивидуальным графикам и планам.

Предполагается сделать более жесткими критерии оценки итогов творческого труда студентов. Так, например, кафедра операторского мастерства внесла предложение: тем, кто не проявил себя как творческие натуры, выдавать диплом не кинооператора, а другой — допустим, ассистента кинооператора. Думаю, в этом есть рациональное зерно. Возможно, по аналогичному пути следует пойти и при подготовке кинорежиссеров. Обсуждается проблема свободного посещения. Кафедрам и руководителям мастерских предоставлена самостоятельность в определении учебных планов. Одним словом, все, что способствует обогащению творческой личности молодого художника, будет иметь бесспорный приоритет.

Дело, однако, не только в том, чтобы институт давал культурную подготовку, но чтобы студент хотел ее иметь. Работники библиотеки с беспокойством сообщают о сокращении числа прочитанных студентами книг. Я сам как-то проводил микроанализ эрудиции студентов-киноведа. Выяснилось, многие не владеют понятиями, необходимыми всякому интеллигентному человеку, не говоря уже о гуманитарии. Не знают, что такое «детерминизм», «индукция», «телеология», «деизм», «базис» и т. п. Если трудности возникают на уровне терминологии, можете себе представить, что происходит при попытке выстроить какой-то элемент системы знаний.

Причин такого положения вещей много, но основная — девальвация интеллигентности в обществе. Уровень общественных требований к культуре, квалификации человека круто снизился. Это отражается на педагогах и студентах ВГИКа — живем ведь не в колбе.

Разумеется, среди студентов есть замечательно подготовленные люди, я говорю о тенденции. Современный учащийся нередко ведет себя как потребитель, невольно «на слух» образованный и спонтанно рефлектирующий. Но ведь никакая самая совершенная система образования, никакой даже интересный собеседник и талантливый педагог не создадут художника, если не будет встречного процесса. Школа может дать направление, привить вкус, «научить учиться», дать навыки самообразования. Остальное — в руках самих учащихся.

— Прочитую писателя Юрия Слезкина: «... человек... должен быть на уровне (минимума) философских концепций своего времени, чтобы занять желаемое им место интеллигента...» Наверное в творческой профессии как нельзя более тесно взаимосвязаны, взаимозависимы профессионализм и интеллигентность. Какие вам видятся возможности в создании равновесия между системой образования и системой воспитания? Застрахован ли творческий вуз от манкуртов?

— Я бы сегодня говорил не столько о манкуртах, сколько «о плюмбумах». Это явление в среде интеллигенции мне кажется опаснее других.

Современные «плюмбумы», у которых не развивалась или атрофировалась человечность, к сожалению, настолько размножились, что нередко их видишь в самых неожиданных местах. Они не только ведут добровольный и самочинный сыск в быту, но и пытаются на свой салтык толковать конечные цели и методы перестройки. В. Абдраштов и А. Миндадзе в своем фильме вывели на свет божий редкостной значимости тип, взрослые разновидности которого пытаются сегодня вершить суд и расправу над прошлым, над старшими поколениями — без необходимых на то нравственных прав и деловой квалификации. На фоне резкой активизации здоровых творческих сил нашей культуры особенно тягостно видеть «плюмбумов», делегированных иными художественными организациями для «наведения порядка». Вообще говоря, ситуация, с которой столкнулись мы сегодня, не является чем-то исключительным с типологической точки зрения. Скажем, Фридрих Шиллер в своих «Письмах об эстетическом воспитании» дифференцировал дикость и варварство. Дикарь живет, повинувшись инстинкту, зову природы. Варвар овладел интеллектуальными достижениями цивилизации, но утратил способность непосредственного чувствования, сопереживания, лишился эмоций. Оба случая — историческая патология, но варвар — хуже дикаря, он бесчеловечен.

Формирование личности — сложный процесс, и неразрешенных проблем тут еще очень много.

— Думается, его результаты в немалой степени будут зависеть и от демократизации учебного процесса, который уже начался во ВГИКе. Знаю, что вы, Александр Васильевич, стали ректором в результате выборов, в которых участвовали и преподаватели, и студенты. Намечаются ли дальнейшие шаги в сторону демократизации?

— И намечаются, и осуществляются. К ним я бы отнес недавнее анкетирование «Преподаватель — глазами студентов». Его результаты учитываются при аттестации и конкурсном переизбрании педагогов.

Вызревает и принимает конкретные формы идея студенческого самоуправления. Она противостоит формализму, авторитарному стилю обучения, которые все еще дают о себе знать во ВГИКе. Сегодня в новый состав учебного совета, наряду с Т. Ф. Макаровой, М. М. Хуциевым, С. Ф. Бондарчуком, А. В. Баталовым, В. И. Юсовым, А. С. Кочетковым, В. П. Лисаковичем и др., вошли 12 студентов, избранных на комсомольских и профсоюзных собраниях.

В руки студентам передается значительная часть так называемого ректорского фонда, которым раньше распорядилась администрация. Намечено расширить представительство студентов в работе приемных комиссий. Комитету ВЛКСМ и творческому клубу передана организация и проведение очередного фестиваля студенческих фильмов. Мы рассчитываем, что демократизация всех сторон общественной жизни института — эффективный метод воспитания социальной активности будущих мастеров культуры. Как ни парадоксально, пришлось столкнуться с такой позицией студентов: «А зачем нам это? Чтобы свалить на нас ответственность? Нет уж, лучше сами управляетесь, сами и отвечайте, а мы посмотрим, что у вас получится!»

— Интересно, насколько наша система кинообразования отличается от западных школ? Собираетесь ли вы воспользоваться чьим-то опытом? Какие существуют условия для контактов?

— Международные контакты ВГИКа многообразны. Время от времени аудитории и кафедры института заполняют делегации студентов — кинематографистов из зарубежных стран — из США, Франции, Италии... Регулярными становятся творческие встречи с киношколами братских стран. Разумеется, организация кинематографического образования повсюду различна. Так, студенты «Тит скул» (США), гостившие во ВГИКе, а также наши коллеги из ГДР, Венгрии, Китая широко используют в процессе обучения средства видео- и телевизионной техники. Этого пока нельзя сказать о ВГИКе — процесс обновления технической базы только начался.

В Польше, в лодзинской киношколе, государство обеспечивает 75 процентов расходов киношколы, остальные 25 процентов должна покрывать школа — путем реализации студенческих фильмов, включая продажу их за рубежом. Мы сейчас тоже, в порядке эксперимента, будем стремиться четвертую часть затрат на содержание учебной киностудии покрыть за счет «коммерческой» активности. Разумеется, предстоит позаботиться, чтобы эта сторона деятельности не сказалась пагубно на качестве обучения и творческом уровне «заказных» фильмов.

В целом, если сравнивать ВГИК с зарубежными киношколами, то главное отличие в организации обучения состоит в том, что там все внимание, время и средства отдаются специальной, профессиональной подготовке. У нас обширен

спектр общеобразовательных дисциплин, дополняющих узко-профессиональную подготовку студентов. Разумеется, в этом есть свои плюсы и минусы.

Мы никак пока не можем избавить студентов от перегрузок, от недостаточной скоординированности учебного процесса по специальным «академическим» предметам.

Думается, нам надо внимательнее присмотреться и к зарубежному опыту более свободного выбора кинематографической специализации в период обучения. Наши учебные планы, система «непроницаемости» мастерских и факультетов нуждаются в изменениях. Сейчас студент, поступающий на операторский факультет, обречен на незнание в области сценарного дела, режиссуры или киноведения. А вот в недавно открытой международной киношколе в Сан Антонио [Куба] в основу положен принцип: «каждый должен уметь делать все». В этом отношении интересен опыт и английской киношколы: специализация начинается только на третьем году обучения, когда выявляются реальные способности и интересы. Необходимо посмотреть на все эти проблемы свежим взглядом.

— Поскольку речь идет о творческом вузе и поскольку можно было убедиться в том, что не всегда талант самоочевиден (известны случаи, когда творческий конкурс не могли пройти впоследствии ставшие знаменитыми мастера кино), скажите, на каких принципах строится прием? Совершенствуются ли его правила? Как не просмотреть талантливого абитуриента?

— Чтобы выделить одаренных, улучшить качество набора, уже в этом году принимались во внимание оценки у абитуриентов только по специальным, творческим дисциплинам. Однако, действующая система льгот [например, направления на внеконкурсное зачисление] все еще позволяет вполне заурядным абитуриентам на «легальных» основаниях поступить в институт. Только талант должен служить пропуском в вуз искусства, и я считаю, настала пора отменить все другие соображения, создающие льготы для посредственности.

— В последнее время с легкой руки критики вошел в моду термин «альтернативное кино», связанный с работами молодых. Согласны ли вы с ним?

— В самом выборе термина явственно ощутимы разделение, противопоставление, непримиримость позиций — творческих, социальных... Думается, что применительно к студенческим фильмам — это не самое удачное название — лучшие из них развивают различные грани плодотворных традиций современного кино. Другое дело, что студенческий фильм, как правило, обречен на «лабораторный» способ существования — он крайне редко [даже если перед нами — удача!] становится доступным зрителю. Сейчас мы пытаемся преодолеть эту замкнутость, недавно отвоёвали специально для регулярной демонстрации студенческих фильмов двухзальный современный кинотеатр «Новороссийск». Кроме того мы предложили Центральному телевидению показывать студенческие фильмы, сопровождая их беседами с авторами, дискуссиями. Можно назвать десяток студенческих лент, которые бы вызвали активный интерес зрителей и проблематикой, и своеобразием киноязыка.

Несмотря на порой ожесточенные споры, как и чему учить, даже в самое застойное время из недр ВГИКа выходили ученики, фильмы которых заслужили признание и критики, и зрителей.

Студенческий фильм «Прикосновение» режиссера А. А. Арлаускаса [операторы Л. Коновалов, А. Холмогоров], снятый в соавторстве с А. Суворовым, назван критикой не только открытием в кинематографе, но и «событием в нашей духовной жизни». Зарубежные участники международного конгресса, проходившего недавно в Москве под девизом «Наука. Человек. Гуманизм», высоко оценили этот поразительный по философской емкости и накалу чувств фильм. Этической взыскательностью, пытливым интересом к личности отмечена и дипломная работа в 1987 году «Завтра была война», снятая учеником герасимовской мастерской Ю. Карой по повести Б. Васильева. Воскрешая скрытый трагизм предвоенной поры, режиссер исследует психологию светлой веры в людей и трусливой подозрительности. Всего за полгода фильм «Завтра была война» получил награды на кинофестивалях в Польше, ФРГ, Испании. Большая программа фильмов вгиковцев, показанная летом в Карловых Варах на встрече киношкол всех континентов, имела несомненный успех.

Однако эти примеры, если даже количество их увеличить вдвое-втрое, не дают повода для благодушия. Оставляя в стороне переклесты в многомесячной печатной критике ВГИКа, обусловленные иногда групповыми пристрастиями, надо сосредоточиться на объективной оценке ситуации: уровень общекультурной и профессиональной подготовки большинства выпускников, качество преподавания во многом не отвечают сегодняшним требованиям жизни. И никакие фестивальные победы не отменяют этого тревожного факта. Обсуждение вгиковских проблем отозвалось в коллективе и болью, и стремлением оспорить крайности, и поиском путей реальной перестройки, преодоления отживших приемов работы.

— Мне остается пожелать вам осуществить намеченное — в этом заинтересованы не только специалисты кино, а все мы, зрители. Успеха вам. Спасибо за беседу.

МОЖЕТ ЛИ ФОТОГРАФИЯ СТАТЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ?

... переспросил удивленный таким поворотом дела фотолюбитель.

— Да! — горячился искусствовед.

— Если вообще допустимо резать культуру на части ... — иронически заметил эстетик.

— А по-моему, — вмешался фотожурналист, — нужно различать «нашу культуру» вчера и «нашу же культуру» сегодня. Почитайте центральную прессу: «поддержка новых форм организации», «отказ от административного давления», «признание культуры важнейшей, а не подсобной частью нашей жизни» и тому подобное.

— Но только не в фотографии ... — буркнул из своего угла фотохудожник.

Было уже довольно поздно, но пятеро спорщиков не расходились.

ФОТОЛЮБИТЕЛЬ: — Мое свободное время — это и есть моя культура. И таких, как я, — миллионы. И мы не просто приятно проводим время, но активно создаем то, что искусствоведы до сих пор не привыкли считать частью культурного достояния народа. А зря! Массовая художественная самодельность — не такое уж бесперспективное явление на фоне казенщины и манерности в вашем «официально признанном искусстве».

ИСКУССТВОВЕД: — Хорошо! Но можете вы предъявить мне аттестат об окончании среднего или хотя бы начального фотографического учебного заведения? .. Не можете ... Ведь любой ремесленник из рядового фотоателье утратит вам нос, ибо он — выпускник специализированного СПТУ, снабжающего кадрами не что-нибудь, а вид бытовых услуг!

ФОТОЛЮБИТЕЛЬ: — Это его работа ... , а в нерабочее время он может быть таким же фотолюбителем, как и я. Или вы серьезно считаете, что творческие успехи можно зарегистрировать только при наличии соответствующего документа? .. Есть удостоверение — ты фотохудожник, нет — фотолюбитель.

ФОТОХУДОЖНИК: — Значит, фотография как вид искусства должна расцветать на почве хобби? Так я вас понял? Что-то не заметно, чтобы музыкальные и художественные школы, театральные и хореографические училища, консерватории, институты искусств и академии мешали развитию эстетической культуры ...

ФОТОЖУРНАЛИСТ: — Однако если и безо всяких школ люди научатся хорошо фотографировать, занимаясь в бесчисленных кружках, любительских студиях и клубах, то зачем же еще создавать новые учреждения?

Я и сам освоил фотодело в школьном кружке. Физик у нас этим увлекался. В университете — одна болтовня. Всему необходимому научился у коллег в процессе работы. По крайней мере, у нас есть общий язык, меня в редакции понимают ...

ЭСТЕТИК: — Непонятно только, почему все-таки из десятилетия в десятилетие стройная система прессы усердно преподносит подписчикам фотографические воплощения самых заштампованных и плоских абстракций вместо правдивых отображений подлинной жизни? .. Ведь ваши так называемые документальные свидетельства по степени условности вполне могли бы соперничать с образцами средневековой геральдики или даже ритуально-изобрази-

тельной символикой древних цивилизаций.

ФОТОЖУРНАЛИСТ: — Штатпы в журналистике были, есть и будут! И я скажу, что, конечно, не рафинированный эстетик, а рядовой читатель газеты только и ждет штатпов ... Он привык к такому способу подачи информации. И ему приятно, что ожидания сбываются снова и снова. Штатп, если хотите, успокаивает нервную систему. И человек знает: раз это напечатано, значит так и надо.

ИСКУССТВОВЕД: — Знаем, знаем ... Молодые рабочие всей бригадой собрались вокруг своего наставника, который делится секретами мастерства. Руководящие работники осматривают стенды выставки. Молодые работницы демонстрируют образцы готовой продукции. Солдат читает присланное из дома письмо в березовой роще. Буровики выстраиваются в цепь от семи до двенадцати человек и энергично шагают «на производственном фоне» по направлению к фотографу. Все прочие — беседуют: у конвеера, на стройплощадке, в поле, у щита с актуальным лозунгом, а также — в перерыве между заседаниями ...

ФОТОЖУРНАЛИСТ: — А вы сами поработайте без бильдредактора, при постоянно повторяющейся тематике, да еще в условиях безнадежно устаревшей системы оплаты труда ... Тогда поймете, откуда берется халтура! Особенно в газете ... Но многие фоторепортеры внутренне готовы к коренному обновлению пресс-фотографии. Мои знакомые, например, «для внутреннего пользования» делают снимки-пародии на стандартную продукцию агентства, в котором сами работают.

ФОТОЛЮБИТЕЛЬ: — Мне кажется, что фотожурналист не столько зависит от плохой оплаты труда, сколько от плохого вкуса стоящего над ним редактора. И тут нужно развивать критику. Точно так же, как и у нас, в творческой фотографии. Ведь сколько организуется фотовыставок, фотофестивалей, фотопрактикумов и фотоконкурсов ... Действуют общественные курсы и народные фотоуниверситеты ... А где квалифицированная оценка? Где критический разбор? И нам не интересны заузные эстетические штудии! Я, например, даже не могу их прочесть без словаря иностранных слов ...

ЭСТЕТИК: — Вот потому и нужна школа! Мало придумать и утвердить этикет, называющийся даже громким именем Общества фотоискусства, который позволит человеку с фотокамерой думать, что его уважают. Нужна практическая программа формирования подлинного профессионализма, в истинном свете которого могли бы получить оценку конкретные факты нашей фотографической культуры. Уверен, что создание стабильной школы скоро обнаружит азбучный уровень многих «выдающихся достижений творческой фотографии» и позволит ориентироваться не на вкусы, а на объективную ценность действительно заслуживающих внимания фотопроизведений.

ИСКУССТВОВЕД: — Какие тут произведения! Я считаю, что вся беда в том непреодолимом разрыве, который существует между индивидуальными возможностями отдельных талантливых фотографов и крайне низким статусом фотографии в обществе. Поэтому нет и фотокритики. Ее



просто никто не будет слушать! Любый отличившийся фотолюбитель десять раз наплюет на мнение критика, рискнувшего прибегнуть к отрицанию того, что нравится самому автору снимка.

С карикатурной выразительностью этот механизм можно наблюдать на периферии фотокультуры. Мне рассказывали, как рабочему одного из наших крупных заводов не понравился selbstвекный фотопортрет, сделанный на Доску почета. Возник конфликт между «героем дня» и фотографом. Опытный фотомастер доказывал, что снимок достаточно хорош, а передовик упорно не соглашался. И выход был найден неожиданно просто. Обратились к заводскому начальству. Директору снимок не понравился. Портрет пришлось переснимать.

ФОТОЛЮБИТЕЛЬ: — Эта «производственная история» ничего не доказывает. Директор завода не обязан быть фотографически грамотным работником. А вот искусствоведы-критики обязаны!

ИСКУССТВОВЕД: — В том-то все и дело, что к беспринципному захваливанию или догматическому «отлучению от творческого коллектива» фотографов приучили некомпетентные руководящие лица, папками распределяющие почётные грамоты за снимки модной или однодневно актуальной тематики. Им и в голову не приходит, что фотография может представлять самостоятельный содержательный интерес, не становясь служанкой очередной фестивальной кампании...

ФОТОХУДОЖНИК: — И все же это не является оправданием для бездействующей критики. Место комплиментарной эссеистики и конъюнктурщины должны, наконец, занять серьезные исследования индивидуальных стилей, глубокие разборы фото-выставок, всесторонние обзоры деятельности национальных фотографических школ. Пока же в фотокритике нет и намек на сколько-нибудь развитую профессиональную этику или просто — честное служение искусству.

ИСКУССТВОВЕД: — Увы, сегодняшняя организация фотографического движения может дезорганизовать любые серьезные начинания... Где прикажете печататься? В вечерней газете? Или в журнале «Химия и жизнь»? Того и гляди — явится монстр «кооперативно-хозрасчетного критицизма», выгодно продающего не только рукопись, но и вдохновенье вместе с «соответствующим воле заказчика» содержанием мысли...

ФОТОЖУРНАЛИСТ: — Пойдите, — а «Советское фото»?! Фотограф прессы там, конечно, ничего толкового для себя не найдет, — хотя это и орган Союза журналистов, — но искусствоведческие статьи, обзоры и заметки занимают в журнале много места...

ФОТОХУДОЖНИК: — Пустого места... пустые статьи... Честное слово, в вечерней газете больше вычитаетесь!

ФОТОЛЮБИТЕЛЬ: — Ну, это вы зря... Журнал разнообразен по материалу, обо всем помаленьку информирует, технические советы неплохие, жизнь фотоклубов отражена, лучшие фотожурналистские работы помещает регулярно... Интересно бывает подлистать, сравнить...

ФОТОХУДОЖНИК: — У «Советского фото» нет программы, а деятельность без цели вообще не является деятельностью. Единственный в стране фотожурнал превратился в безликое, поверхностное, обзорно-парадное издание! Кому нужен такой омертвевший орган фотографического самосознания!?

Давно пора переходить к осмысленному решению проблем фотокультуры в строго специализированных изданиях. И быть их должно, как минимум, четыре: журнал профессиональной пресс-фотографии, журнал массового фотолюбительского движения, журнал прикладной и бытовой фотографии и, наконец, журнал фотоэстетики и художественной фотографии.

ФОТОЖУРНАЛИСТ: — Хорошо бы так... А впрочем, за примерами далеко ходить не надо. Все это делается в европейских социалистических странах, поддерживающих свою фотокультуру на уровне мировых достижений.

ЭСТЕТИК: — Важно, чтобы каждый из предлагаемых вами журналов имел свою оригинальную структуру, свое неповторимое лицо, свое научное и методическое обеспечение. Иначе произойдет просто механическое перераспределение того, что в совокупности-то не представляло слишком большого интереса.

ФОТОЛЮБИТЕЛЬ: — Не очень понятно, кто будет издавать такую уйму журналов?.. И зачем фоторемесленникам свой отдельный журнал? Они и так процветают: ателье и мастерские работают с полной нагрузкой, с кадрами у них проблем нет, снимки нравятся потребителю...

ЭСТЕТИК: — Нравятся... Но какие! Не поддается описанию качество удовольствия, которое способен вызвать в душе клиента дорогостоящий, ужасно цветной снимок любимого чада в дефицитном импортном костюмчике, да еще в обнимку с огромным фанерным волком из «Ну, погоди!», щедро размазанным грязно-яркими красками и живо стимулирующими «простые и забавные» ощущения детства.

Сегодня даже трудно представить себе мастера фотоателье, предлагающего своим посетителям скромную памятку о том, как соблазнить в одежде и позах нормы хорошего вкуса и содействовать эстетической выразительности заказываемых снимков. А ведь подобное практиковалось еще в прошлом столетии, и даже провинциальными фотографами...

Но в прикладной фотографии есть еще и те, кто трудится во всевозможных фотолaborаториях при институтах, службах, бюро, конторах, министерствах, ведомствах и хозяйствах... В подвалах и на чердаках, в переоборудованных туалетах и курильках... И вся эта масса снимающих не для славы и разговоров о себе, а для денег и для дела не знает проблем, о которых мог бы писать журнал практической фотографии? Очень сомневаются...

ФОТОЖУРНАЛИСТ: — Предположим, что журналы созданы. Министерство культуры всерьез занялось фотолюбителями, Союз журналистов — фотографией прессы, Общества фотоискусства, существующие пока только в Прибалтике, — художественной фотографией, а Министерство бытовой обслуживания — фоторемеслом. Как быть с научным обеспечением, без которого мы рискуем получить четыре «Советских фото» вместо одного? Я, например, что-то не слыхал о вузе, в котором можно было бы получить специальность «Фотожурналистика и билбредактирование». Нет ни оригинальных, ни переводных пособий по этой проблематике. Отдельные малотиражные брошюры погоды не делают. Всесоюзный методический центр по фотожурналистике, точно так же как и Совет по журналистскому образованию, все что-то решает, заседает и планирует. Опыт зарубежных научных и учебных центров — тайна за семью печатями... Варягов призывать, что ли?

ЭСТЕТИК: — Тут вы правы. Научное фотоведение пребывает во младенчестве... Стыдно сказать, но первая диссертация по фотографии защищена у нас только в 1971 году. Подобные работы и сегодня можно пересчитать по пальцам, правда, уже не одной руки...

ИСКУССТВОВЕД: — А вы заметили, что авторы фотоведческих исследований — это филологи, киноведы, философы, историки, педагоги, а совсем не фотографы?

ЭСТЕТИК: — К сожалению, человек, целиком посвятивший себя изучению фотографической культуры, пока не может рассчитывать на признание автономности своего предмета. Об этом, по-моему, свидетельствует и смехотворно малое число фотоведческих монографий. Их всего четыре!

ФОТОЛЮБИТЕЛЬ: — Лучше писали бы побольше методических разработок и практических руководств... В издательстве «Искусство» хоть что-то выходит, а специализированное фотоздательство «Планета», похоже, специализируется на помпезных альбомах, многотомных мемориальных фотоантологиях, слащавых открытках и трактатах общего назначения.

ИСКУССТВОВЕД: — А вам не кажется, что претензии, предъявляемые к издательству, — это, по сути, требования к школе, выражение потребности в фотографической школе, которой у нас пока нет?

Я думаю, что Министерству культуры давно пора учредить региональные (республиканские) комиссии по развитию фотографической культуры и организовать их работу так, чтобы в ближайшие 3—5 лет создать сеть экспериментальных школ. По образцу художественных, музыкальных и других средних учебных заведений культуры. А ВНИИ искусствознания при том же министерстве, в сотрудничестве с другими аналогичными учреждениями, за это же время мог бы подготовить учебные пособия для фотосколов.

ФОТОХУДОЖНИК: — Министерству культуры не мешало бы обратить внимание на историко-культурное изучение фотографии. Для этого, мне кажется, нужно организовать, координировать и, главное, дополнительно финансировать соответствующие работы в фотомузеях, а также — фотододелах при музеях, архивах и библиотеках. Ведь скольких еще уникальных фотоколлекций не касалась рука историка! Многие ценнейшие материалы вообще не найдены.

ЭСТЕТИК: — Вряд ли библиотеки могут нести ответственность за судьбу истории фотографии... Им и так есть чем заняться. Ведь у нас практически нет библиографических справочников, позволяющих ориентироваться в отечественной и мировой фотолитературе. Весьма трудно обнаружить какую-либо стратегию и в комплектации соответствующих фондов научных и публичных библиотек страны.

Я уже не говорю о регулярных социологических, психологических, эстетических и семиотических исследованиях... Сейчас этим занимаются только отдельные энтузиасты... на общественных началах, мягко говоря.

ФОТОЛЮБИТЕЛЬ: — И все же не хочется верить, что положение фотографии настолько распылчато.

ЭСТЕТИК: — Чтобы стало хорошо, нужно сперва понять, почему нам плохо!

ФОТОХУДОЖНИК: — Но одного понимания уже мало. Время переходить к действию!

ЭСТЕТИК: — К понимающему действию...



Детка! Ма мое
счастье



Нет, не брани ты мне много
Росцветом хвостом,
И тельцо розделишь много
Со мной и мысли и мечтой.



„Платье новое надем
Не шали! Не будь упрямой!
Ведь сегодня Женский день
Мы встречаем вместе с мамой!“



ВАДИМ РУДНЕВ

ВВЕДЕНИЕ В XX ВЕК:

НАПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ В КУЛЬТУРЕ

(СТАТЬЯ ВТОРАЯ)

Век движется во времени. Время — глаза века, его язык. Кант называл время априорной формой чувственности, то есть наиболее абстрактной формой языка культуры. Любое высказывание на языке, любое предложение и слово (а в речи любое слово — это предложение) обладает грамматической категорией времени, является высказыванием о прошлом, настоящем или будущем.

Понять, в какую сторону движется время в культуре, это значит понять, куда движется сама культура, а это едва ли не самое важное. Основные параметры естественнонаучного осмысления направления времени сформулировал немецкий физик и философ середины XX века Ганс Рейхенбах. В книге «Направление времени» он показывает, что время направлено в сторону большинства термодинамических процессов во Вселенной. Второй закон термодинамики, сформулированный в XIX веке Клаузиусом и Кельвином (Томпсоном), утверждал, что энтропия, величина по знаку противоположная информации, в замкнутых системах может только увеличиваться. Возрастание энтропии — это возрастание хаоса, беспорядка, неопределенности, равновероятности, смерти. Мир сегодня не может вновь стать таким, каким он был вчера, сигареты не возрождаются из окурков. Однако вывод этот для культуры убийствен. Если мы — закрытая система и нам неоткуда брать новую информацию, неоткуда аккумулироваться, то это равносильно тому, что рано или поздно наша культура погибнет.

Но как тогда быть с феноменами, которые в процессе течения времени не только не погибают, но напротив, обрастают все большим количеством информации, с тем, что мы называем *текстами культуры*? По-видимому, именно они, продолжая жить сквозь века, обеспечивают преемственность культуры и динамическое равновесие в ней. На них время не оказывает своего всеразрушающего воздействия.

Чтобы разобраться во всем этом, необходимо прежде всего понять, как мы мыслим. Какими несформулированными, но подразумеваемыми постулатами мы, люди второй половины XX века, пользуемся, чтобы можно было сказать, что мы до чего-то додумались, пришли к какому-то выводу, открыли какой-то новый закон?

Как кажется, таких постулатов, или принципов, три:

1. Принцип неполноты.
2. Принцип дополнительности.
3. Принцип доверия.

Первый сформулировал в 30-х годах нашего века Курт Гедель в теореме о *неполноте дедуктивных систем*, доказывающей, что любую систему нельзя обосновать, исходя из понятий этой же системы. Другими словами, действительность всегда шире любой концепции, описывающей эту действительность.

Из принципа неполноты следует *принцип дополнительности*, применительно к квантовой механике сформулированный Нильсом Бором. Поскольку любая концепция неполна, то для того, чтобы описать какой-либо объект действительности, мы должны это сделать в противоположных, или дополнительных системах описания. Применительно к культуре в целом этот принцип был сформулирован главой Тартуской семиотической школы, замечательным современным теоретиком литературы и культурологом проф. Ю. М. Лотманом: *недостаточность* нашего

знания должна компенсироваться его *стереоскопичностью*. Отсюда необходимость как минимум двух систем описания, например, двух *полушарий* — логического левого и эмоционального правого, которые, действуя, дополняют друг друга. По-видимому, сама природа позаботилась о том, чтобы мы воспринимали мир в дополнительных понятиях.

Третий постулат также является логическим следствием двух первых. Допустим, мы должны при помощи каких-то двух постоянных величин определить третью. Для этого мы должны «забыть», что постоянство этой величины является условным (принцип неполноты) и само может стать предметом наблюдений и сомнений. Мы должны исходить из того, что нечто является несомненным, только тогда мы сможем сделать следующий шаг (это и есть принцип доверия).

Вопросы, которые мы ставим, — писал Л. Витгенштейн, — и наши *сомнения* основываются на том, что определенные предложения освобождены от сомнения, что они, словно петли, на которых вращаются эти вопросы и сомнения.

То есть это принадлежит логике наших научных исследований, что определенные вещи и в самом деле несомненны.

... Если я хочу, чтобы дверь вращалась, петли должны быть неподвижны (разрядка Л. Витгенштейна).

Другими словами, невозможно одновременно точно описать два взаимозависящих объекта или термина. В квантовой физике это правило известно как закон *соотношения неопределенностей* Вернера Гейзенберга, доказывающий невозможность одновременного точного измерения координаты и импульса элементарной частицы.

Итак, изучая время, мы руководствуемся тем, что

- а) все, что бы мы ни сказали, является неполным;
- б) поэтому говорить об объекте нужно в дополнительных терминах;
- в) истинность исходных терминов и предложений принимать на веру.

Возьмем такое явление как *книга*. Мы не можем сказать о ней всего, изучить ее до конца. Поэтому мы должны посмотреть на нее с противоположных сторон. С одной стороны, это предмет реальности, состоящий из бумаги, типографской краски и переплета. Книга, понимаемая таким образом, разрушается с течением времени согласно второму закону термодинамики (будем считать, что этот закон является истинным — принцип доверия). Но, с другой стороны, разве книга «Дон Кихот» истлевает вместе со своей материальной сущностью? Нет, будучи перепечатана другим изданием, она остается той же книгой, и так будет продолжаться до тех пор, пока люди не разучатся читать. То есть как система знаков, как языковой текст, книга не подчиняется второму началу термодинамики, она не увеличивает, а наоборот уменьшает количество энтропии, т. к. несет *информацию* (будем считать, что последнее слово нам понятно — принцип доверия).

Итак, проведенный мысленный эксперимент дает нам основание понять, что если мы соблюдаем принципы неполноты, дополнительности и доверия, то «текст» и «реальность» будут для нас чисто функциональными феноменами, различающимися только прагматически, в зависимости от нашей точки зрения на них.

Мы не можем разделить мир на две половины и, собрав в первой книге, слова, ноты, картины, дорожные знаки, собор Парижской Богоматери и т. д., сказать, что это — тексты, а собрав во второй яблоки, бутылки, стулья, автомобили и т. д., сказать, что это предметы физической реальности.

Знак, текст, культура, семиотическая система, семисфера (понятие, введенное Ю. М. Лотманом), с одной стороны, и вещь, реальность, естественная система, природа, Материя, с другой, — суть одни и те же объекты, рассматриваемые с противоположных точек зрения.

Что же это за противоположные точки зрения?

Универсальной характеристикой и любого текста и любой знаковой системы является *время*. Любое предложение в речи должно обладать временем грамматическим, а любое событие в мире — временем физическим. Но вот что интересно! Ведь знаковая система не подчиняется второму закону термодинамики, а наоборот, опровергает его. Любой текст — это сигнал, передающий информацию и тем самым уменьшающий, исчерпывающий количество энтропии, хаоса в мире. Отсюда, как это ни парадоксально, следует, что поскольку любой предмет реальности в нашем мире изменится во времени в сторону увеличения энтропии, а текст ее исчерпывает, то получается, что текст *движется во времени в противоположном направлении*, в направлении накопления информации. Это кажется невероятным, но вдумайтесь: вещь тем или иным образом всегда стареет; текст может старению и не быть подвержен, наоборот, он с годами может обрести все большее количество читателей и толкований. Вещь склонна к постоянному разрушению, а текст — к постоянному созиданию. Вернемся к нашему примеру — книге. Как объект реальности она разрушается, стареет; может даже истлеть вовсе. Но как текст она молодеет, во всяком случае может стремиться к этому. Текст же, к которому культура теряет интерес, в значительной степени перестает быть текстом, сливается с вещью и разделяет ее энтропичную участь.

Так как время текста направлено в противоположную сторону по отношению к реальности, то следующие три постулата Г. Рейхенбаха о необратимости энтропийного времени:

- 1) Прошлое не возвращается;
- 2) Прошлое нельзя изменить, а будущее можно;
- 3) Нельзя иметь достоверного знания о будущем

— в информативном времени текста соответственно меняются на противоположные.

1) Прошлое текста возвращается, т. к. текст может быть прочитан сколько угодно раз.

2) а) С позиции автора прошлого текста изменить можно, т. к. автор является демиургом всего текста.

б) С позиции читателя нельзя изменить ни прошлого, ни будущего в тексте. Если читатель вмешивается в текст, пытаясь изменить его будущее, то это говорит о том, что он воспринимает текст как действительность в положительном времени.

3) Можно иметь достоверные знания о будущем текста.

Сравним две фазы:

- а) Завтра будет дождь.
- б) Завтра будет пятница.

Первое высказывание является вероятностным утверждением. Нельзя точно утверждать, что завтра будет дождь. Второе высказывание является достоверным, т. к. в той семиотической среде, в которой оно произносится, названия дней недели автоматически следуют одно за другим.

Время жизни текста в культуре значительно больше времени жизни любого предмета реальности, т. к. любой предмет реальности живет в положительном энтропийном времени, т. е. с достоверностью разрушается, образуя со средой равновероятное соединение. Текст с течением времени наоборот стремится обрести все большим количеством информации.

Литература двадцатого века обыгрывала эту ситуацию. В романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» текст и реальность меняются местами. Текст — портрет героя — стареет, в то время как герой остается молодым. Но это подмена на поверхности оборачивается глубинным сохранением текстом своих функций: старея, он тем самым передает ин-

формацию герою о его злодеяниях, как бы став его этическим зеркалом. Смерть Грея восстанавливает исходную ситуацию: портрет вновь молодеет, мертвец моментально превращается в старика.

Таким образом, чем старше текст, тем он информативнее, т. к. хранит в себе информацию о своих прежних потенциальных восприятиях. Барочная сюита выступает для нас как «серьезная музыка» и в то же время в своей структуре она хранит следы потенциального ее восприятия как музыки легкой, танцевальной, какой она была в эпоху создания, подобно современной легкой музыке, которую, как можно вообразить, через много веков будут слушать с той сосредоточенностью, с какой мы слушаем легкую музыку прошлого. Наоборот, духовная музыка — католическая месса, реквием, пассион — воспринимается нами как светская вне того ритуального контекста, явные следы которого несет ее текст.

Поэтому в определенном смысле мы знаем о «Слове о полку Игореве» больше, чем современники этого памятника, т. к. он хранит все культурные слои его прочтений, обрстая огромным количеством комментариев. По мнению польского феноменолога Романа Ингардена, мы не восстанавливаем непонятные места текста из знания реальности, а скорее наоборот — восстанавливаем прошедшую реальность по той информации о ней, которую хранят тексты:

Мы комментируем лишь произведения посредством произведений, а не произведения посредством минувшей действительности. Отсюда возможность познания содержания самих ныне нам непосредственно доступных произведений является условием возможности познания минувшей эпохи, а не наоборот, как это часто считают историки искусства.

Текст не умирает в пределах создавшей его культуры прежде всего потому, что он не равен своей материальной сущности, он *интенционален*, т. е. сопричастен сознанию, его воспринимающему. И хотя в определенном смысле знак разделяет судьбу своего денотата, но с другой стороны «выцветшее, изорванное знамя исчезает как предмет реальности, но сохраняется как предмет поклонения» (Р. Ингарден). С этой точки зрения, как остроумно замечает философ, не имеет смысла говорить, что «произведение архитектуры Нотр Дам намокло от дождя, потому что в Париже в это время шел дождь».

Текст не равен своему экземпляру. В отличие от предмета реальности, который в пространственном смысле центрирован, т. е. ограничивается рамками своих очертаний, текст центробежен. Он путем «тиражирования» стремится охватить как можно большее количество пространства. При этом смерть текста не равна уничтожению всех его экземпляров, т. к. всегда в случае необходимости его можно реконструировать и актом культурной канонизации приравнять реконструированный текст к изначальному. Такова, например, история «Курса общей лингвистики» швейцарского ученого, основателя современного лингвистического структурализма Фердинанда де Соссюра, который был реконструирован его учениками из разрозненных конспектов соссюрских лекций, который никогда не писал книги с таким названием и которая несмотря на это благодаря своей важности в культуре считается его произведением.

Текст лишь тогда умирает, когда его перестают читать, т. е. когда он перестает давать культуре новую информацию.

В этом случае все экземпляры текста остаются как предметы реальности и разделяют участь этой реальности. Сам же текст исчезает, детекстуализируется.

Положительное энтропийное направление времени соответствует философскому детерминизму.

Отрицательное информативное направление времени соответствует философскому телеологизму.

Телеология и детерминизм суть противоположные системы описания одного и того же объекта (принцип дополненности).

Наличие автора и читателя в тексте подразумевает телеологический (целевой) принцип описания действитель-

ности. В отличие от состояния естественной физической системы, которое получилось таким вследствие некоторого взаимодействия событий в прошлом (движение от причины к следствию). В тексте нечто сделано кем-то с какой-то целью.

В естественной системе происходит движение от менее вероятных событий к более вероятным, в тексте наоборот — от более вероятных — к менее вероятным. Рассмотрим традиционный пример с бросанием игральной кости. Когда кость бросается «просто так», т. е. когда мы не следим за результатом бросания, то этот результат не несет никакой информации. Происходит причинно-следственное явление, от менее вероятного состояния («повисания» кости в воздухе) к более вероятному (к ее падению на землю в силу закона тяготения). Энтропия здесь накапливается, время движется в положительном направлении. Но процесс бросания кости как игровой заключается в том, что на чисто физическую равновероятность каждого из шести возможных исходов накладывается семиотическая неравновероятность ожидания определенного результата. Нам не все равно, какой гранью упадет кость, шестерка для нас лучше, чем единица. Поэтому падение кости определенной гранью несет информацию, энтропия исчерпывается, и этот процесс переопределяется как знаковый, не являясь в этом случае причинно-следственным, а являясь целевым.

В каком смысле при переживании бросания кости как знакового процесса можно говорить о том, что время здесь движется в противоположном направлении? Допустим, в нашем мире господствует извращенный принцип тяготения (как в модели Норберта Винера). Тогда кость «оттолкнется» нижней плоскостью от земли и «прыгнет» в руку. При этом конечное состояние кости на земле становится начальным взаимодействием, а начальное взаимодействие кости с рукой станет следствием, то есть конечным состоянием. Теперь представим, что наше семиотическое сознание также извращено, что нам нужно не сообщать информацию, а стирать ее. Тогда кость из положения «шестерки» прыгнет в руку, и тот факт, что вместо шестерки мы получили неопределенность, и будет нашим «сообщением». В этом случае мы добиваемся увеличения энтропии — погашение шестерки и есть наша цель. И в этом случае время сообщения движется в положительном, энтропийном направлении.

Таким образом, *начало и конец* в тексте и реальности симметрично меняются местами. Человек, строящий свою жизнь как сообщение, воспринимает свою смерть как цель. И смерть для него в этом случае скорее представляет собой рождение.

Именно таким является этическое, религиозное сознание, приписывающее миру творца, автора, то есть подразумевающее историческую целенаправленность, телеологизм. И тем самым отрицательное движение от смерти (физиологического рождения) к истинному рождению (физиологической смерти). Поэтому в таком сознании рождение рассматривается как нечто энтропийно-отрицательное — результат греха, а смерть как глубоко позитивное информативное явление, как воскресение для истинной ахронной жизни. Ибо конец любого текста, конец его создания и восприятия его «физиологическая смерть» означает начало его жизни как семиотического явления. В этом, по-видимому, и состоит идея культурного бессмертия. В тот момент, когда человек культуры умирает, он в полной мере рождается как текст

культуры: начинается его подлинная ахронная жизнь, которая читается теперь с самого начала как нечто телеологическое.

Пример такого отношения к собственной смерти — Диоген-Киник, который, по свидетельству Диогена Лаэртца, тем, кто говорил ему: «Ты стар, отдохни от трудов», отвечал: «Как, если бы я бежал дальним бегом и уже приближался к цели, разве не следовало бы мне напрячь все силы, вместо того, чтобы уйти отдыхать?»

Фрейд считал, что любое самоубийство есть отождествление себя с другим и, следовательно, акт телеологический, передача информации тем, кто остается жить (хотя бы по принципу: «Я убью себя, но вам же будет хуже».).

В этом смысле этика телеологична в принципе, ее время направлено к исчерпанию энтропии; психология наоборот детерминистична, ее время направлено в сторону увеличения энтропии. Поэтому в христианстве психология — от дьявола. Она представляет собой систему искушений, направленных на то, чтобы сбить человека с пути, направленного к информативной смерти-рождению.

Но и в обычной жизни человеку необходима постоянная семиотическая регуляция поведения, что равносильно движению в отрицательном времени. В противном случае общая тенденция движения мира в сторону увеличения энтропии очень быстро уравнивает его со средой.

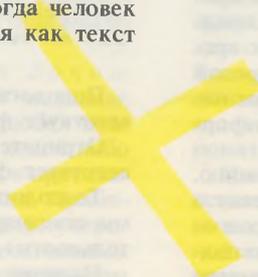
Таким образом, семиотизация равносильна социо-культурному выживанию (на этом построен сюжет робинзонады), десемиотизация равносильна разрушению личности и культуры.

Культура всегда антиэнтропийна и поэтому стремится к повышенной семиотичности. Однако вследствие принципа неполноты культуры необходимы несколько систем описания действительности. Отсюда принципиальный билингвизм культуры (подробно проанализированный в работах Ю. М. Лотмана) как ее принципиальная характеристика.

Семиотическое пронизывает каждодневный жизненный опыт человека, который вследствие своего экстракорпорального развития (то есть развития внешних орудий, а не органов тела), повлекшего за собой развитие высших абстрактных языковых функций, не может жить одним инстинктом. Поэтому человеку необходима семиотика еды, чтобы отличить вредное от полезного, отравленное от неотравленного. Для того, чтобы сшить или купить новую одежду, которая в качестве предмета физической реальности подвержена энтропии, необходимо иметь в языке понятие одежды, чтобы была возможность приравнять старую одежду к новой.

В этом смысле общество, живущее семиотической жизнью, постоянно стремится двигаться в антиэнтропийном направлении на фоне неумолимо энтропийного положительного направления времени. Рассуждая таким образом, можно прийти к выводу, что культура — нечто подобное Чарли Чаплину, пытающемуся бежать против хода эскалатора, и поэтому развивать культуру бессмысленно. Именно к такому выводу приходит атеистическое позитивистское сознание на рубеже XIX и XX веков, выводу, наиболее лапидарно воплощенному в формуле Ивана Карамазова: «Если Бога нет, то все дозволено». На пороге этой фразы стояла культура XX столетия, которой в числе прочих необходимо было разобраться и в этой достаточно мучительной ситуации.

(Окончание в следующем номере)





С Алексеем Германом я познакомился уже после того, как взялся писать о нем книгу. Приехал в Ленинград. Пришел на Марсово поле, в дом, на фасаде которого — гранитная доска в память Юрия Германа, и несколько вечеров подряд в рабочем кабинете, когда-то принадлежавшем отцу, теперь — сыну, записывал на магнитофон рассказ режиссера о себе, о работе, о жизни, начиная от самых первых детских воспоминаний до дня сегодняшнего.

По временам входила и ненадолго присоединялась к разговору жена режиссера — Светлана Кармалита — сценарист, неизменный его помощник — она была ассистентом во всех его картинах, поэтому многое могла напомнить, многое подтвердить, навести на какую-то пока еще не тронутую тему.

... Наверное, пытаюсь проследить творческий путь режиссера, совсем не обязательно углубляться в давние дебри воспоминаний, где вроде бы ничего существенного и не произошло, где больше ощущений, чем событий, да и сам герой еще никак себя не проявил — пока он всего лишь свидетель. Быть может, и вправду в другом случае подробности эти были бы излишни. Случай Германа иной.

Все мы «родом из детства». Не его одного, естественно, — у всех, кому сегодня под пятьдесят, достаточно подобных же воспоминаний. И все же, не каждому дана такая «крупноплавно» память, когда давние впечатления продолжают наполнять со-

бой сегодняшний день, столь резко влияя на выбор тем творчества, героев, характер авторской манеры. Без этой памяти не было бы ни «Двадцати дней без войны», ни «Лапшина», хоть действие его завершается еще до рождения автора фильма, ни «Проверки на дорогах», ведь фильм этот — дань памяти не только отцу режиссера, автору экранизированной повести, но всему поколению отцов.

АЛЕКСЕЙ GERMAN: После войны мы вернулись в Ленинград и поселились в прежней квартире на Мойке. Она уже, конечно, была не похожа на довоенную: мебель стопили в блокаду, вместо нее появилась какая-то другая, вот эта тахта, например, — кто ее принес, почему оставил, мы так и не узнали. Кошка Тутс ушла через дыру — скорее всего ее украли, коты в Ленинграде стоили очень дорого. Евгений Львович Шварц, друживший с отцом, придумал смешную историю про облезлых блокадных котов, рассказывающих на крыше об удивительной их взаимности иностранке: «По-русски ни бум-бум!»

А у меня начался туберкулез. По моему нынешнему телосложению это звучит как-то неправдоподобно, но тогда я был тощий, температура: лето в пионерском лагере, где я обучился воровать, материться, менять у деревенских колючую проволоку, срезанную в лесу, в местах довольно опасных, на молоко, и вообще азы жизненной науки, тоже не пошло на пользу моему здоровью, хотя оказалось совсем не бесполез-

ным в других отношениях. Из типичной атмосферы военных лет, где все меня любили, я впервые попал в ситуацию, где нельзя было не уметь все самому — и прежде всего уметь отстаивать себя.

Из-за болезни родители решили увезти меня из города — мы переехали в Келомьякки, нынешнее Комарово, впрочем, тогда совсем на него не похожее. Не было ни электрички, ни благоустроенных дач, в которых обитают ныне писатели и ученые — паровиком надо было ехать четыре часа, а жили там тогда переселенцы, много было инвалидов войны. На танцплощадке случилось как-то настоящее побоище между пожарниками и приезжими танкистами, пустившими в ход помимо выломанных из забора штакетин пистолеты. Не пустовал и шалман «Золотой якорь», куда отец вместе со Шварцем ходили пить боржом. Это из тех воспоминаний вошла в «Лапшина» разочарованная фраза персонажа, просившего отпить боржома: «А я думал, он жирный», — точно такой эпизод произошел как-то в шалмане с отцом: о нем он, смеясь, рассказывал, вернувшись домой.

Дачный трест дал нам маленькую дачу на две комнаты, где мы и поселились, предварительно выдержав баталью с густо ползавшими по стенам небызвестными насекомыми. На участке была банька, сидя в которой я пожирал книги: в тот год у меня вдруг пробудилась жажда читать, начавшаяся с «Двадцати тысяч лье под водой». Второй моей книгой были «Два капитана» Каверина, содержание которых, бешено присочиняя, я рассказывал сверстникам. Через несколько лет один из них при встрече сказал: «Гад ты, Герман! Мы прочитали эту книжку, она намного хуже, чем ты рассказывал!»

Родители отдали меня учиться в местную школу, сразу в третий класс. С их стороны это было неразумно, для меня — мучительно. Я был городским мальчиком в деревенской школе. Надо мной смеялись, я не знал многого из того, что уже знали мои одноклассники.

Отец в то время оказался в опале. В постановлении, подвергшем безжалостной критике Ахматову и Зощенко (в пионерском лагере мы, ликуя, жгли их чучела на костре), была строчка и о «подозрительно хвалебных статьях Германа». Переживая трудные времена, он сочинял сценарий для экранизации горьковской «Матери», из-за чего и я попал в нелепую ситуацию. Когда в школе спросили, кто написал «Мать», я без тени сомнения заявил: папа. Все засмеялись, но я стоял на своем, что не спасло меня от разоблачения как вруна.

Время было голодное. Мальчишки промышляли, свинчивая с где-то добытых зенитных снарядов часовые механизмы — их можно было продать. Нередко это кончалось трагически.

В школе нам читали рассказ про американского мальчика, нашедшего кусок хлеба, из-за которого ему пришлось драться с набросившейся на него огромной собакой. Мы очень переживали за мальчика и даже соби-

рали хлеб, чтобы отправить ему посылку. Сами собиравшие ели жмых, но никто не видел в этой ситуации ничего необычного.

В сорок восьмом мы вернулись назад в Ленинград, и тут-то, казалось мне, должна начаться настоящая жизнь. Это в деревенской школе сплошная безалаберщина, а в ленинградской — я же читал «Пионерскую правду» — все ходят с горнами, строятся в линейки и отдают рапорты. Я не придумал ничего лучшего, как отозвать в сторону главного хулигана из своего нового класса и спросить у него: «Как тут обстоят дела с пионерской работой?» После чего был жестоко и неоднократно бит. Года на пол это стало любимым занятием моих одноклассников, тем более, что я был предлинный и тощий, к четвертому классу плохо подготовленным, поскольку, конечно же, в деревенской школе учили хуже, чем в городской. Но как-то от отчаяния я размахнулся в драке и заехал Пузыне, милиционерскому сыну, по лбу, от чего у него вскопчила ужасающая шишка. Как позже выяснилось, просто у его организма было такое странное физиологическое устройство. Но тогда об этом никто не подозревал, побитый Пузыня страшно заревел, побежал в медпункт, и слух о моей чудовищной силе мгновенно распространился в школе. Я наврал, что занимаюсь боксом, просто раньше это скрывал.

С этой минуты моя жизнь круто переменялась. На следующий день на уроке я из-за чего-то повздорил с одноклассником, то ли болевшим, то ли прогуливавшим накануне и ни о чем не подозревавшим. Мы обменялись под партой пинками; он сказал: «Стыкнемся на переменке», я ответил: «Стыкнемся» — весь класс посмотрел на него как на покойника.

На переменке ему уже все объяснили, он попытался уйти от драки, но я догнал его и дал по лицу. Прежде я никогда бы не мог сделать такого, но, видимо, у каждого в жизни должен наступить момент, когда нужно заставить себя пойти на это и, больше того, не испугаться встретить ответный удар.

Поскольку я уже наврал, что занимаюсь боксом, мне ничего не оставалось, как на самом деле им заняться. А так как я человек увлекающийся, и если, скажем, вдруг зажигался интересом к собакам, ночи напролет читал про собак, то и в случае с боксом обстояло точно так же. Когда другие ходили на занятия два раза в неделю, я ходил семь и стал делать успехи. Пятым, шестой и седьмой классы главным занятием моей жизни был бокс. Дошло до того, что мой тренер (потом он снимался у меня в эпизодике «Лапшина», у Шешукова во «Второй попытке Виктора Крохина») пришел к родителям и, к их ужасу, стал уговаривать отдать меня в спортивную школу, обещая вырастить перспективного боксера.

К этому времени стали обнаруживаться какие-то и для меня самого непонятные качества. Товарищи по классу никогда особенно меня не любили, не слишком уважали, в лидерах я не ходил и даже сильнее всех не был, хотя и занимался боксом и

мог при случае отлупить. Но, как ни странно, все годы учения, начиная с пятого класса, я был старостой. Как ни пыталась наша директриса помешать этому, ничего не получалось: меня избирали. Больше того, и в театральном институте после первого же семестра меня избрали старостой курса, и все пять лет я в этом качестве и проработал, хотя, опять же, никто не считал меня ни сильно умным, ни сильно талантливым, да и сам я ни малейшей тяги к общественной деятельности не испытывал.

Почему меня не любила школьная директриса, для меня и сейчас не очень понятно. Никаких поводов к тому сам я не давал и даже как-то пытался отладить наши взаимоотношения, с излишней ретивостью исполняя обязанности старосты, так что и у одноклассников симпатий ко мне не прибавилось. Пытался как-то погасить ее вражду ко мне и отец, несколько раз ходил к ней, разговаривал — ничего не добился. Потом он ей отомстил — страшно, безжалостно. В своем романе он назвал ее полным именем, отчеством и фамилией одну из героинь, тоже школьную директрису, мерзавку, демагогиню, предательницу, выдавшую фашистам подпольщиков.

Ее открытая неприязнь ко мне саму ее ставила в нелепое положение, но, как видно, ничего с собой она поделаться не могла: я был для нее писательский сынок, «плесень» и вообще классово чуждый элемент, не поддающийся перековке. На товарищеском судилище, устроенном над группой моих одноклассников, якобы уличенных в пьянке и прочих предосудительных развлеченьях, директриса изо всех сил старалась и меня причислить к той же компании и, чтобы показать всем мое полное культурное ничтожество, предложила вопрос «на засыпку»: «Какие спектакли вы видели?» Я ответил: «Все», ничуть не соврав при этом. К этому времени по вечерам я изображал за сценой в Большом драматическом шаги во «Флаге адмирала», пел опять же за сценой «Бывали дни веселые» в «Сердце не камень» Островского, был статистом еще в каких-то спектаклях — не из-за пятнадцати рублей, нынешних полутора, которые за это платили, а потому что мне это было интересно. Я бегал в театр, пересмотрел все, что можно было пересмотреть, по-прежнему очень много читал.

От школьных времен еще остались воспоминания о двух влюбленностях, достаточно заурядных, всерьез меня не задевших. Поэтому я и в кино не мог бы об этом рассказывать, не мог бы снять, к примеру, «Сто дней после детства», так удавшиеся Сергею Соловьеву: он это любит, чувствует, умеет тонко анализировать. А для меня это прошлое, отторгнутое временем. В «Двадцати днях без войны» есть любовная линия, но это любовь пожилых людей — любовь молодых мне неинтересна.

Режиссером я быть не собирался — хотел стать врачом. Ходил со студентами в анатомичку, смотрел, как препарируют трупы, собрал целую библиотеку по медицине, много читал. Режиссером меня уговорил стать

отец. Он рассказывал мне про Мейерхольда, который когда-то в самом начале литературного пути отца пригласил его, двадцатидвухлетнего, писать пьесу для своего театра. Он с удовольствием читал первые сочиненные мной опусы, которым сам я не придавал никакого значения.

В какой-то мере способствовало пробуждению интереса к режиссуре и общение с друзьями отца, прежде всего — с Евгением Львовичем Шварцем. Когда у отца бывали сложные периоды в жизни (а так вновь случилось после повести «Подполковник милицейской службы», расцененной как криминал и давшей повод зачислить его в «оруженосцы космополитизма»), меня отправляли жить на дачу к Шварцам. Точнее, это была наша дача, но случалось, что совсем не было денег, платить за нее было нечем и тогда там жили они, а меня брали к себе по дружбе. Я, конечно, не подозревал, что нахожусь рядом с великим человеком (сейчас я в этом уверен), этому мешали и всякие бытовые мелочи, и слишком близкое знакомство, но сама атмосфера общения с ним, его рассказы про своего kota, про бокс (даже биографы Шварца не знают про эту его страсть, а он буквально наизусть знал все классические поединки великих боксеров) и про многое другое, тоже как-то постепенно и незаметно склоняли меня к режиссуре.

Отец в этом отношении проявил и терпение, и настойчивость, и какую-то удивительную пронизательность. Наши отношения с ним вовсе не были идиллическими: в десятом классе случилась ссора, после которой я ушел из дому, жил у приятелей, собирался уйти в геологическую экспедицию, потом меня обманом вернули домой — сказали, что маме плохо — с тех пор мы друг с другом общались достаточно натянуто. Меня выгоняли из школы, это тоже не способствовало нашему сближению. Но все-таки я как-то доковылял до выпуска, и мы с отцом договорились, что буду поступать в Ленинградский институт театра, музыки и кино на режиссерский факультет, но, так сказать, «на общих основаниях», свое происхождение скрою. Примут — примут, не примут — пойду в медицинский.

Скрыть происхождение невозможно была. По паспорту я не Юрьевич, а Георгиевич, поскольку настоящее имя отца — Георгий, а Юрий — псевдоним. Во время войны ему вместо паспорта выдали военный билет, где, естественно, было написано «Юрий», а потом, когда билет вновь обменяли на паспорт, там так и осталось — «Юрий». Я же, как был, так и остался Георгиевичем. Поэтому и в институтской анкете написал: «Отец Георгий Герман, литератор». До какого-то тура я сумел дотянуть «инкогнито», но потом дела мои были бы плохи, если бы (об этом я узнал много позже) Георгий Михайлович Козинцев не пошел бы хлопотать за меня. И вдруг поступать мне стало удивительно легко. Я был принят на режиссерский (случай неслыханный) семнадцатилет: рядом со мной учились люди много более старше, в большинстве своем имевшие высшее образование — был даже один главный ре-

жиссер театра. Естественно, меня невзлюбили: я был блатной, писательский сынок, материально достаточно независим, в особенности по сравнению с остальными, жившими, по большей части, бедно.

Курс наш вел Александр Александрович Музиль, из старинной театральной фамилии александровских Музелей; ему я всегда буду благодарен за человеческое благородство, в высшей степени нравственное отношение к своей профессии. Помимо всего остального, он прекрасно понимал простую вещь, о которой чаще всего забывают: таланту научить нельзя. Можно научить азам ремесла, профессии в самом грубом ее приближении. А дальше, если в это будет привнесено еще и талант — полученное пригодится, если нет — не пригодится.

Время было живое, бурлящее: 1955 год, канун XX съезда КПСС. Новые веяния мешались со старыми привычками. Нас по-настоящему учили в эффектированно торжественной манере читать стихи, за что я всегда получал тройки, поскольку всегда хотел слышать в поэтических строках музыку. А потом пришел Музиль и сказал: «Вы что, с ума сошли? Что вы делаете? Да у нас один Герман умеет читать стихи».

Способности, так мне сейчас это видится, у меня были. Но рядом с другими, уже поработавшими в театре, знавшими, как и что надо делать, я был совершенно непрофессионален. Скажем, нам давали этюд — оправдать слова: «Будь что будет». Можно было, как это обычно и делалось, показать человека, готовящегося к экзамену, произносящего в решающий момент эту фразу и с облегчением выходящего с пятеркой. Но это был слишком простой ход. Я шел другим, сложным. Я придумывал произносить эти слова как заклинание, как магический заговор, с помощью которого один человек превращает другого в старца, проводя его через разные этапы жизни. По исполнению это получилось наивно — режиссурой я не владел, оттого и этюд воспринимался многими как полная абракадабра, но сам ход при всем том был интересным, таящим возможности.

Первые институтские месяцы я существовал в состоянии полубойкота — «писательский сынок, толкнули в институт, занял чье-то место и т. д.». Но как раз в это время на нашем курсе появился возвращенный после очередного исключения Аркаша Кацман, ныне замечательный педагог, профессор, известный в театральном мире всем. А тогда он был совершенно нищ, носил костюм, сшитый из мешка, курил какие-то ужасающие папиросы. Мы уже показывали свои этюды, и он, посмотрев их все, сказал: «Пока что талантливый этюд только у Германа».

Быть может не к лицу рассказывать мне здесь об этом, хвалить самого себя, но и не вспоминать тоже было бы нечестно. Это был момент очень важный, повлиявший на все дальнейшее.

А потом была первая сессия и, действительно, ситуация на курсе резко изменилась. Студийные гении

получили четверки и даже тройки по профессии и потеснились на институтском Олимпе. Я же был в числе тех немногих, кто получил пятерку. Как и в школьные годы, меня избрали старостой (нас в этом качестве было двое), и все пошло своим чередом.

На курс нас набрали восемнадцать человек, с запасом, предполагая, что около трети отсеется. Среди этих, предназначенных для отсева, был, конечно, и я. Я не должен был выдерживать напряжения институтской учебы. Тем более, что и образование для профессии требовалось более серьезное, чем можно было одолеть за школьные годы. Но, оказавшись среди людей, которые и знали больше, и были умнее, кончили университеты (потом из них вышли режиссеры, ставившие хорошие спектакли и фильмы, руководители известных театральных коллективов, талантливые педагоги), я попал именно в ту среду, в которой нуждался. Я должен был тянуться за ними, соревноваться, доказывать, что не хуже остальных.

По природе я очень обязателен. Если что-то должен сделать, то проверю двадцать пять раз каждую мелочь, смертельно надоедая всем своей дотошностью. Таков мой генотип. Вот так же, как для овчарки мука смертная — послушаться хозяина, так и для меня биологически невозможно прийти не готовым на съемку, опоздать, не сделать то, что я должен был сделать. Говорят, что я унаследовал от отца и матери их худшие черты.

Мать моя, Татьяна Александровна Риттенберг, при том, что человек она и образованный, и тонко чувствующий искусство, и повлиявший на то, что писал отец (не только в том плане, что с нее, к примеру, во многом, списана Зося, жена полковника Штубе в трилогии, но и в том, что была и дальновиднее и мудрее отца, хотя бы потому, что по складу души печальна, а он был весел), в себе постоянно неуверена, не умеет радоваться, ощущать счастье. Если счастье, то и оно с оговорками — что-то не так, что-то все равно нехорошо. Отец, напротив, умел радоваться жизни во всей ее полноте, любил компании, друзей, застолья, рестораны, был способен в счастливую минуту забыть обо всем на свете. Я не такой. Я зануда: в хорошем жду плохого, если учусь чему-то, то со всей надсадной старательностью. Когда Светлане случайно попался на глаза вкладыш в мой диплом, ее чуть не вытошнило от сплошных отличных отметок.

Обстановка в институте была достаточно провинциальная. Не было интереса ни к настоящей литературе, ни к настоящему искусству: отметка на экзамене казалась высшим мерилом всему. И все-таки, несмотря ни на что, годы были замечательные и атмосфера нашей жизни тоже. Мы репетировали по ночам, с увлечением таскали кубы, отдыхали, слушая игру на гитаре нашего товарища Лени Беляского, пили глинтвейн, собравшись у нас дома (отец добавлял к нашей складчине еще немало, и в итоге получилось внушительных размеров кастрюля). Но при всем этом, мне сопутствовало клеймо папенькиного сына, неспособного что-либо делать

самостоятельно. Точно так же, как в школе, где меня корили: «Как не стыдно просить отца писать за себя сочинения?», хотя он ни разу к ним руки не прикладывал, так и здесь по любому поводу приходилось слышать: «Ну, ясное дело! Это отец ему все придумал». Через эту стену недоверия мне удалось раз и навсегда перескочить, только сняв «Операцию «С Новым годом»».

А отец и в самом деле играл в моей судьбе исключительную роль. Он устроил меня ассистентом к Иосифу Ефимовичу Хейфицу, когда тот снимал фильм по его, тогда еще только писавшемуся роману «Дорогой мой человек». Мне было доверено заниматься мышами, которые должны были пробежать по Баталову где-то на втором плане, я занимался этим с наивозможным старанием, даже был ими покусан. Хейфиц был очень доволен серьезностью моего отношения к делу. Я знакомился с кинематографом, узнавал жизнь съемочной группы, суетливую, непонятную мне, чужую, враждебную. Через много-много лет от директора фильма Михаила Иосифовича Генденштейна я узнал, что никаким ассистентом на самом деле я не был, и ставки у него для меня не было, а зарплату, включая и суточные, и командировочные, которые мне выплачивали, предварительно вносил в кассу отец.

Моей институтской постановкой стал первый акт «Обыкновенного чуда» Шварца. Взявшись за дело с обычной для себя введливостью, я пошел к Екатерине Ивановне, которая хорошо ко мне относилась и пустила поискать в бумагах, оставшихся после Евгения Львовича, какие-нибудь, возможно, имевшиеся наброски, варианты — у нее самой не было сил заниматься его архивом. Поиски эти окончились открытием, которое могу поставить себе в заслугу: на дне сундука обнаружился изодранный вариант экземпляра пьесы «Голый король», никому тогда не известной. Я ее распечатал, пустил в мир, с моей легкой руки она докатилась до «Современника», который впервые ее и сыграл на сцене.

Я же ставил «Обыкновенное чудо», короля играл Сергей Юрский, отношения с ним складывались напряженно, он манкировал репетициями, призвать его к порядку не получалось. По совету своего однокурсника Аркадия Кацмана, у которого он тоже был занят в отрывке и вел себя точно так же, я решил Юрского наказать и от спектакля отставить. Был взят другой актер, который точь-в-точь повторил весь его рисунок, но провалил роль по одной простой причине: был неталантлив. Этот урок я запомнил на всю жизнь.

Мне много помогал в этой постановке Музиль, я сам работал увлеченно, и, действительно, спектакль получился. О нем говорили, фрагменты из него показывали по телевизору, его и сейчас иногда вспоминают, а Юрский в своей книге написал что-то вроде того, что это было самое интересное из сделанного им в молодости. Но главное: отрывок наш посмотрел Товстоногов, после чего я и получил приглашение работать у него в театре.

РАСТУТ ЛИ ВОЛОСЫ НА ПЯТКЕ?

(Размышления бывшего комсомольского журналиста)

Надоело. Одно только раздражение вызывают сетования в адрес комсомольских чинуш. И в строгих костюмах-тройках они ходят, и на служебных машинах разъезжают, и на заседаниях пропадают, и с народом не общаются, и дела чураются... словом, если и не любим мы бюрократов, то уж комсомольских — вдвойне; и если бы каждый упрек, обращенный в их адрес, претворился в увесистый булжжик, то давно бы все они погибли страшной смертью... Упреки эти, в большинстве своем, не считая некоторых перехлестов, в принципе совершенно справедливы, но повторяются с удручающей монотонностью. Возмущаться по этому поводу, мне кажется, имеет столько же смысла, как размышлять на тему: почему волосы не растут на пятке.

Да не могут они там расти. Не положено им. От бога, как говорится.

Так что отложим эмоции в сторону. Давайте разбираться — как того требует дух времени.

Сегодня общественная деятельность, если она густо замешана на демагогии, карьеризме, умении «вкусно подать» материал и внимательно прислушиваться к начальственному чиху, что практически мгновенно развращает человека, окружая его ореолом непорочной беспринципности, — для определенной категории молодых людей — самый верный путь легко и безболезненно сделать карьеру.

Как-то занимался я делами одного предприятия, где никак не шли дела, несмотря и на импортное оборудование, и на целую серию «оргтехмероприятий». Рассказал о ситуации приятелю, крупному инженеру — в надежде, что тот поможет. Он и помог: спросил фамилию директора и, узнав ее, откровенно расхохотался. «Я же его знаю! В одной группе учились! Такой рыжеватый с громовым голосом? Он! Полный болван был в том, что касалось дела и науки. Но — бессменный комсорг курса, факультета, института. Так и пошел дальше вверх. Вот он где, значит, теперь...»

Ситуация, увы, типичная. Время поиска себя, путей самореализации, своего дела требует полной и безраздельной отдачи. Путь этот труден. Он пахнет потом и запоминается резью в глазах от бессонных ночей. Совмещать его с общественной деятельностью такой же интенсивности практически невозможно — хотя есть и исключения, и я, к счастью, знаю таких людей.

Куда проще и легче добиваться и признания (идет ли речь об учебе в вузе или работе в цехе), и определенных благ бурной общественной деятельностью. Для этого, конечно, нужны специфические способности, даже, если хотите, талант — правда, первым его условием является безупречная анкета. А потом инерция удачного «стартового рывка» и ровного, без срывов, без сбоев движения уже едва ли не автоматически тянет тебя «вперед и выше»: и член профкома, и в президиумах случается посиживать, там и в партком ввели, и соответствующая репутация грамотного, толкового и хваткого товарища, ни одно мероприятие не провалит — а там, глядишь, и соответствующее приглашение не заставляет себя долго ждать...

Даже самая незначительная должность в роли освобожденного комсомольского работника — это старт на орбиту, где главным от тебя будет не сбиться с курса: инструктор райкома, завсектором, заводделом, секретарь, второй секретарь, инструктор ЦК... и так далее.

Перспективы просматриваются довольно отчетливо — достаточно познакомиться с судьбами более старших коллег, которых ты подменил; этот — пом, этот — зам, а кто-то и сам... Главное, повторю, — не сбиться с курса.

Могут случиться и неожиданности — ну, тут уж умей от них отбиться.

Лет тринадцать назад «Советская молодежь», где я тогда работал, взялась за организацию в Латвии дельтапланерного спорта. Дело безусловно интересное, но совершенно новое, никто из нас, энтузиастов, кроме горячего стремления построить свой дельта-

план и «покорить седьмой океан» за душой ничего не имел — и пришел я за помощью в комсомол. Встретили меня, как всегда, по-дружески, но когда я изложил цель своего прихода (помещение надо выбить, с финансами подействовать, материалы — каландрованный лавсан, дюралюминиевые шесты, тонкие тросики — доставать, «крышей» служить), то увидел полную и окончательную растерянность моих собеседников. «Этого, старик, мы ничего не можем и не умеем, — откровенно сказали мне. — «Зарницу» организовать, генерала доставить — это пожалуйста. А это... прямо не знаем, что и делать...» Подумав, мы нашли соломоново решение: я составляю все бумаги, мне их перепечатывают под соответствующими грифами, подписывают и ставят печати; я же, со своей стороны, всюду говорю и пишу «под эгидой ЦК комсомола...» Через три месяца наш первый дельтаплан стартовал с откосов Саурнеши, и я с удовольствием могу рассказать об этой неназойливой и необременительной помощи...

А что значит соответствовать моменту, поясню на еще одном примере из собственной биографии — сегодня могу об этом рассказать.

Написал я как-то одну статью, где выступил в защиту 15-летнего мальчика. На мой взгляд, его, волей обстоятельств втянутого в преступную шайку, в составе которой он не успел совершить ничего особо порочного, осудили неоправданно строго. Даже милиция за него ручалась. Тщательно проанализировал ситуацию и с точки зрения целесообразности такого приговора, и с точки зрения юридической науки (и уголовный кодекс был на моей стороне: одна из его статей допускала в таких случаях смягчение участи подсудимого подростка), подкрепил выкладки мнением ученых-правоведов. Но я и не подозревал, что среди названных мною должностных лиц был родственник одного крупного деятеля республики, которому данная статья активно не понравилась. Вскоре в ЦК комсомола меня встретил старый приятель, инструктор. Он сказал самые теплые слова о статье, добавив, что ее читали всем отделом и полностью согласны с моей позицией. И тут же попросил, чтобы по старой дружбе я помог ему сформулировать постановление бюро ЦК, которое вынесет мне выговор... за эту же самую статью. В ней, оказывается, я «воспеваю золотую молодежь» и «дискредитирую правоохранительные органы». Оторопь моя была настолько очевидна, что приятель мой покатился со смеху. Он мне сказал, что постановление все равно готовить надо, если это не сделает он, то напишет другой чиновник... так что садись вон за тот стол и помоги мне, а я пока пойду в буфет, куда нам привезли паштет из гусиной печени; не взять ли, кстати, и тебе пару баночек? Эта гусиная печенка добила меня вконец. Я сел и листах на десять — очередь в буфете, наверно, была длинной — успел написать все, что думаю по сему поводу. Выговор мне, конечно, все же вынесли, но когда лет через семь в свет вышла книга очерков с этим злосчастным материалом (по иронии судьбы, предисловие к ней писал бывший зам министра внутренних дел, которого сейчас и след простыл, главный мой гонитель), я о выговоре начисто забыл, и вспоминаю об этой истории лишь в качестве иллюстрации. С инструктором же этим в последующие годы мы встречались не раз и разговаривали вполне дружелюбно; он в принципе был неплохой парень, вычеркнувший из памяти эту мизерную историю — и даже на высоких постах позволявший говорить с собой на «ты» и называть себя по имени...

В недавнем прошлом — а оно, замечу по ходу дела, ох, как неохотно сдает свои позиции! — главным оружием комсомольского лидера (скажем, секретаря горкома) было личное обаяние и хорошие, тесные контакты с руководителями всех рангов и расцветок, от секретаря горкома партии до начальника треста ресторанов. У комсомола ни денег, ни рабочей силы, ни техники, а ты за десятки дел отвечаешь — и здание горкома отремонтировать, и выездной семинар организовать, и приезжих гостей разместить, накормить, развеселить, причем уровень обслуживания олять-таки от ранга гостя зависит. И от того, насколько и куда ты «вхож», какого

класса твои пробивные способности, с кем ты за руку здороваться, практически все зависит: и как твоя организация будет котироваться, и какие ты знамена получишь, и как твоя судьба сложится — а она порой от одного слова зависит, кем-то где-то сказанного. Вот и судите сами — может ли себе позволить такой лидер ночами по улицам с оковцами ходить, и с трудными подростками лично возиться, и дискотеки посещать, и чужие судьбы устраивать, и чьи-то исповеди слушать? Да если и захочет, не сможет, не говоря уж о том, что для этого контингента, о котором у нас идет речь, вся эта «мелочевка» ровно никакой роли в жизни не играет.

Были, были, конечно, исключения, и об одном из них, достаточно забавном, хочу я рассказать — правда, не называя имен, пусть простят меня читатели. В Даугавпилсе, городе, где испокон веков была толковая комсомольская организация, комсоргом на одном крупном заводе был очень симпатичный парень. То, что он обладал задатками прирожденного лидера, было видно, что называется, с первого взгляда, но когда я увидел его в деле, то искренне изумился. Он был главой молодежного коллектива в несколько тысяч человек и, честное слово, знал личные беды и проблемы каждого его члена: и кто квартиру получает, и кто женится, и кто разводится, и как здоровье детей, и . . . словом, идти с ним по заводскому двору было невозможно.

— Как тебе удается? — недоумевая, спросил я. — Твои коллеги прямо тонут в море бумаг, не успевают справки писать и на запросы отвечать . . . — Собеседник открыл нижний ящик стола и показал мне его нутро, доверху набитое бумагами. — Приходит ко мне «простыня», — я ее туда. Второй раз приходит — туда же. И только если в третий раз приходит, сажусь и пишу. А иначе ничего не получится: или в кабинете сиди и бумаги пиши или дело делай . . .

До сих пор с теплом вспоминаю эту встречу.

Были и другие встречи — весьма поучительные.

Готовилась отчетно-выборная конференция в одном вузе. Как всегда, приезжаю за день, и вечером пьем чай с секретарем ко-

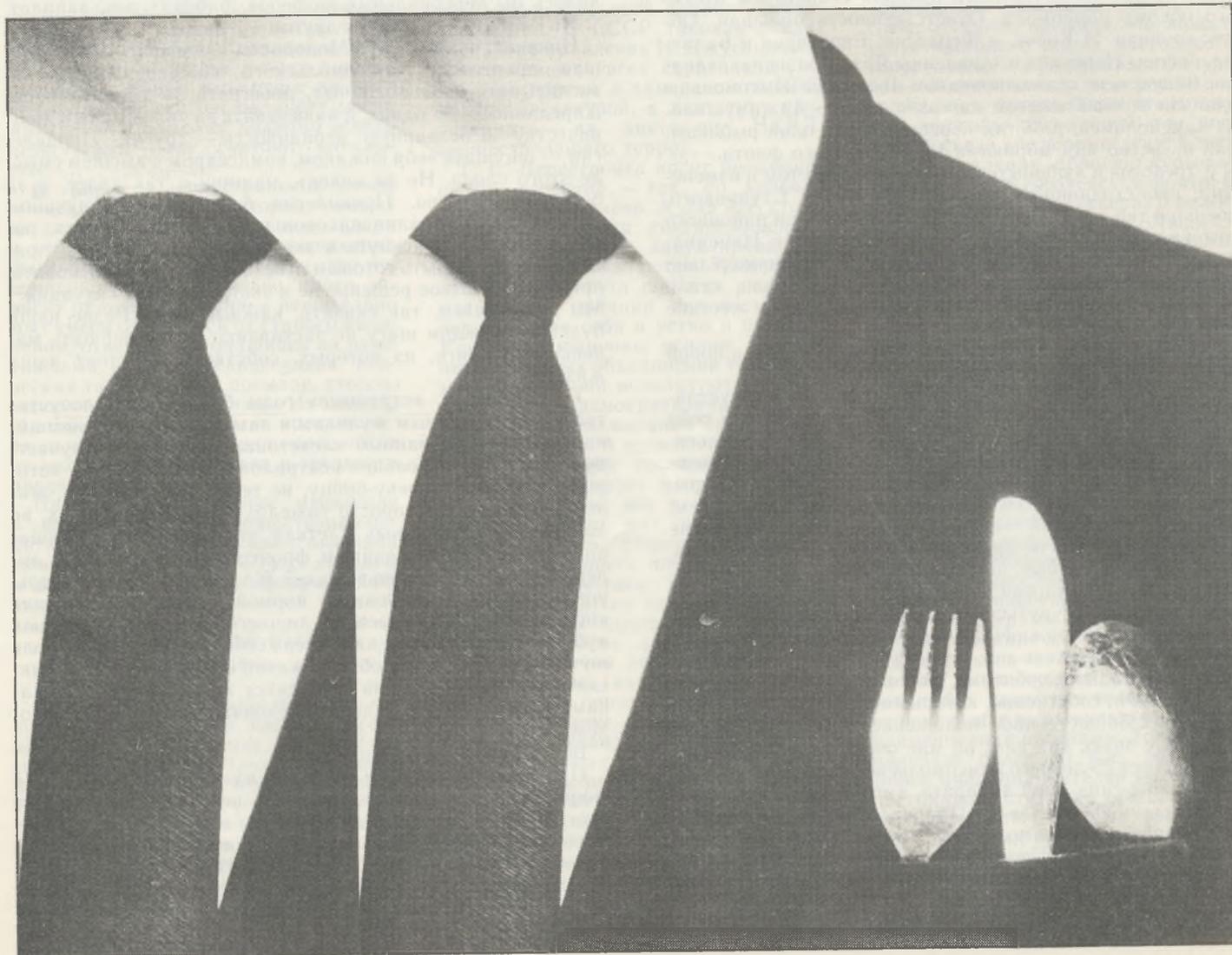
митета комсомола и заведующей сектором учета. Милые девушки, светлые головки, дельные мысли. Договариваемся — все, что говорили в горячих беседах за чашками остывающего чая, завтра нелицеприятно будет вынесено на большую трибуну на всеобщее обсуждение.

Не тут-то было. И доклад был вялый, нудный, официозный, и прения невыразительные, да и дела в вузе оставляли желать лучшего. Провел я там еще два дня, и написал все как было. А через пару недель услышал в свой адрес с высокой трибуны обвинение: автор-де, мол, был . . . пьян и посему написал такую несообразную статью. Что за чушь? В поисках первоисточника довольно быстро вышел на авторов сплетен. Ими оказались . . . мои милые собеседницы: оказывается, одной из них «светил» крупный пост в горисполкоме, и критическая статья могла все испортить в последний момент. По фактам опровергать было нечего, так что иного выхода «во спасение» у них не оставалось . . .

Два мира, две системы? . . . Ах, если бы было так! Одна система и, уверяю вас, что последняя история, увы, куда типичнее, чем мой предыдущий собеседник . . .

Сегодня в адрес комсомола высказывают много упреков, и я не буду повторяться. А вась, перестройка его рядов и даст какие-то результаты: до осени далеко и посмотрим, какие выльются цыплята из закладываемых яиц.

Что же касается внешних атрибутов обюрокчивания комсомола — все эти костюмы-тройки, галстуки, машины и приемные с вышколенными секретаршами — то, по-моему, не в них, честное слово, дело. Пусть хоть во фраках ходят и на тройках с бубенцами развезают или в «роллс-ройсах». Если же сохранится практика, при которой минимум душевных и профессиональных затрат будет давать непомерно большие дивиденды, мы однажды поймем, что в своем стремлении преобразить стиль работы комсомола, как слепые лошади, ходим по кругу, натываясь все на те же кочки и колдобины — и выравнивать их бесполезно, надо выезжать на другую дорогу.





«НЕЙТРАЛЬНЫЙ» ЛИДЕР

— Нужны стихи. Для площади, — сказал мне когда-то при знакомстве первый секретарь Севастопольского горкома комсомола Иван Ступицкий. — И песни новые — для нас, молодых, не восвавших. — Он улыбнулся, и засветилось лицо, бронзовое от загара. Глаза — светло-голубые, не боящиеся яркого света, густые, белесые, выцветшие брови, русый зуб. Он носил рубашки, закатанные до локтя, пиджак — в случаях крайней необходимости. Высокий, длиннорукий, Иван день и ночь гонял на мотоцикле, изредка пользуясь машиной, как правило, сам за рулем.

Город поднимался из руин — Ступицкий со строителями. Боролись с хулиганством — он во главе комсомольской дружины, брошенной на помощь милиции. Налаживали связи с флотом — Иван на кораблях. Все не эпизодично — прочно. Горком комсомола — на местах, а не на телефонах. Недосыпали. Быт — третьим планом.

Прошло время, Ступицкого избрали секретарем Крымского обкома комсомола. Ответственность большая. Область крупная. И Керчь, и Феодосия, Евпатория и Балаклава, районы Перекопа и здравницы Ялты. Он не нахохлился, не надулся, не стал чиновником. В те годы комсомольцы создавали военно-полевой лагерь в районе Аджимушайских каменоломен, помогли перевыполнить план рыбакам; взяли шефство над моряками Черноморского флота.

Я с тревогой и любопытством следил за ростом и изменениями, происходившими в характере Ивана Ступицкого, особенно в дни, когда он стал первым секретарем районного комитета партии самого крупного в Севастополе. Изменился: стал серьезнее, терпимее, научился более внимательно слушать. У него обострился слух к чужой боли, стало пристальнее зрение, резче обозначились крутые и жесткие морщинки у рта.

Идеальный герой? Конечно, нет. Был он и горяч, и порой излишне суров, и иногда чересчур мягок...

Он был разным. Но никогда я не замечал в нем суетливости, угодничества, неискренности. Он не искал для себя выгод. Борясь за дело, не боялся оступиться, ошибиться. Спорил, шел на конфликт и всегда отстаивал свои позиции. Не предавал себя ради пресловутой конъюнктуры. И еще, что отличало его, — личная скромность во всем.

Сегодня, чего греха таить, некоторые комсомольские работники живут иначе, придерживаются иных принципов. Чистенькие, аккуратные, подчеркнута обходительные в обращении с вышестоящими по чину, в обязательном галстукке, они, не успев окунуться в комсомольскую жизнь, присматриваются, осторожничают, скоро овладевают немудреной наукой — «держать нос по ветру». Как разнятся они с теми же молодыми ребятами, рядовыми комсомольцами, ради которых и, собственно, которыми они выдвинуты. Как различно их общественное положение. Как непохожи их запросы. Не знаю, как вам, но мне очень неприятно было слушать из уст 25-летнего комсомольского вожака хвастливые фразочки типа «мой аппарат», «мой инструктор», «одно мое цэу», «мой водила»... Правда, сейчас кое-что меняется. Подобные комсомольские лидеры тоже меняются. Демократизируются. По сути — «перекрашиваются». Демократичнее высказываются. Слово «мой» заменено на «наш», но суть остается.

Кому доводилось проходить мимо райкома, обкома ком-

сомола, наверняка замечал у парадного входа одиноко стоящую «Волгу», скучающего водителя. Чего он мается от безделья? Кого ждет? Секретаря. Почему? Откуда такая привилегия у комсомольских секретарей, в абсолютной массе молодых ребят? Знаю, выяснял. Многие из них сами имеют водительские права. Водят личные автомобили. На служебной же, говорят, не положено. А, может, просто не хотят? С водителем-то престижнее. Мне рассказывали, как один «господин секретарь», иначе его просто не назовешь, возил свою машину с шофером в областной центр на транспортном самолете. При этом хвастался: «Все свое возжу с собой»...

Откуда эта страсть к барству у юных, полных сил людей? А если бы эти во многом достойные комсомольские лидеры сидели сами за рулем машин или ездили бы, как Ступицкий, на мотоцикле. Представляете, сколько освободилось бы персональных шоферов, рабочих рук, зарплат.

Но главное все-таки в другом.

Никаких привилегий. Молодость и доверие — вот высшая привилегия комсомольского вожака. Доверие — воспитывать себе подобных, поощрять за талантливость и преданность — одних, и наказывать за склонность к хищничеству и бездарную нерадивость — других. Привилегия — ощущать себя вожаком, комиссаром в высшем смысле этого слова. Не за «паек», машину и так далее, а за бессребреничество. Привилегия быть первым, лучшим, благородным, взвалив на свои плечи тяготы других, повести за собой, рискнуть в экстремальной ситуации, принять решение и быть готовым ответить за него. А riskовать, принимая жесткое решение не в экстремальной ситуации?! Мы ведь живем, так сказать, каждый день. Разве наши будни на каждом шагу не заставляют нас совершать маленькие подвиги, из которых, собственно, состоит наша жизнь?

К сожалению, «странные» годы благодущия, попустительства к духовным жуликам и хамелеонам, к анонимщикам — замаскированным клеветникам породили безучастную массу комсомольцев-нейтралов. Ситуацию, при которой честному человеку-бойцу, не терпящему фальши, жилось, легко говоря, просто тяжело. С ним в коридорах, во дворах, на лестничных клетках эти нейтралы соглашались. Но выступить единым фронтом не решались. А лидеры? А комсомольские вожаки? Ждали указаний?! Теперь, когда гласность становится нормой жизни, когда жизнь «под водой», игра «в третьего лишнего», «моя хата с краю» публично презирается, как теперь себя вести? Главная роль в утверждении нового образа жизни соответственно ленинским нормам поведения отводится, как никогда — вожакам, комсомольским лидерам, духовным комиссарам молодежи.

Вот их главная привилегия.

Правдивость во всем — это мужество без войны. Но снаряды продолжают рваться. Они не убивают, они ранят иногда невинные юные души. И за это в ответе мы все. Молодые и старые. Только что получившие комсомольские билеты и оставшиеся в живых солдаты.

Вот почему я решил взяться за перо, вспомнил моего друга Ивана Ступицкого, задумавшись над днем грядущим.

Новое мышление требует мужества

Журналист и кинокритик ГРИГОРИЙ СИМОНОВИЧ беседует с кандидатом философских наук и искусствоведения, старшим преподавателем кафедр общественных наук Всесоюзного института повышения квалификации работников культуры ВЛАДИМИРОМ БОРЕВЫМ.

Г. Симонович. Наш общественный лексикон пополнился словами «перестройка», «гласность», «ускорение», «новое мышление». Они у всех на устах. Они вырастают даже в другие языки мира. Их не переводят. Просто воспроизводят латинскими буквами русское звучание, как когда-то слово «спутник». Переломные моменты послереволюционной истории нашей всегда рождали новую терминологию, но, увы, так и не возникло пока ни принципиально новой, высокоэффективной и динамичной экономики, ни по-настоящему широкого демократизма, ни того высокого качества жизни людей, о котором мечтали классики марксизма-ленинизма. Сегодня время небывалых надежд. Не слепых и иллюзорных, а подкрепленных первыми реальными переменами, реальной, энергичной внутренней политикой партии, реальным и заслуженным, а не инспирированным, как бывало раньше, авторитетом в народе ее высшего руководителя, наконец, реальным осознанием и признанием многих ошибок прошлого. Новое мышление на этот раз непреодолимо, оно овладеет умами миллионов и поможет полному успеху перестройки — так считают оптимисты.

В. Боров. Распространение новой концепции нашей истории, новых взглядов на наши сегодняшние задачи и перспективы — один из решающих факторов успеха перестройки, это несомненно. Но колоссально много зависит от того, как скоро и решительно мы сумеем отказаться от старого мышления, отцепить волочащийся за нами тяжелый шлейф предрассудков, всяческих табу, ложных посылов, стереотипов и благоглупостей. Их масса. Их впитывали кожей и кровью несколько поколений. Очищение, отказ от них требуют мужества и трезвости предельной.

На мой взгляд, старое мышление в сфере социальной, общественно-политической, исторической, духовной зиждилось на трех китах: догматы и верования; мифы и предрассудки; стереотипы и клише.

«ДОГМЫ: КОМУ БЫЛО ВЫГОДНО?»

В. Б. До последнего времени мы продолжали жить по моделям предвоенным — в экономике, философии, социальной теории. Другие просто не были выработаны да и не имели права на существование в условиях догматического следования постулатам сталинского «Братского курса...» Недавно на философской дискуссии в МГУ доктор философии М. Капустин высказался жестко и точно: «та марксистско-ленинская философия, которую мы преподаем, совсем не является

марксистско-ленинской и лишь слегка является философией. Преподается конгломерат безграмотных теоретических положений, эклектически соединенных в сталинскую эпоху благодаря стараниям придворных философов. Преподается то, что было изобретено для обоснования неконтролируемой власти Сталина».

Ученый конкретно, текстуально показал, как Сталин, редактируя Ленина, выбрасывал основные положения его философских построений, как были изъяты или затушеваны ленинские идеи общественных форм организации и управления страной, как канонизировался принцип «только то хорошо, что государственное», хотя государство, по Марксу, это лишь инструмент в руках общества.

Еще более категоричен в своих суждениях доктор философских наук Г. Куницын. По его формуле, у каждой революции есть свой вариант контрреволюции. В СССР таковая реализовалась в правлении И. Джугашвили, уничтожившего всех соратников Ленина по партии и заменившего НЭП личной диктатурой, а диктатуру пролетариата — на диктатуру НКВД, осуществлявшего террор.

Г. С. Перестройка носит революционный характер, — так, по крайней мере, она замыслена. И для нее, стало быть, есть угроза контрреволюции?

В. Б. Скрытые, завуалированные формы уже проявляются. Контрреволюционны по сути попытки скрометировать принцип гласности, утверждающие себя и устно и печатно. Контрреволюционны усилия лидеров неформальных объединений типа «Память». Ведь они используют главный инструмент демократизации — гласность — для разжигания национализма, шовинизма. А догматическое мышление, пока еще господствующее в умах, подкашивает простейший вывод: дали волю, вот и результат. И получается, что, мол, не провокационные лозунги фюреров «Памяти» плохи, а гласность плоха, опасна...

Г. С. И все-таки, лишая возможность высказаться тех же идеологов «Памяти», мы нарушили бы принцип гласности. Здесь логический тупик.

В. Б. А зачем лишать? Надо сражаться с ними, как и с иными идеологическими оппозиционерами, в открытой полемике, гласно разоблачать. Запретительство, как правило, и есть следствие догматизации, канонизации тех или иных путей развития и взглядов, результат снобистской уверенности группы людей в том, что только им принадлежит абсолютная истина.

Опасность догматов очевидна. К чему привело, например, «государствление» всего и вся? К невиданному росту административно-бюрократического аппарата, к примату ведомствен-

ных интересов над интересами общества и, как это ни странно, над интересами самого государства, частью которого ведомство является. Примеры под рукой: канава из Сибири в Среднюю Азию, губительная для экологии и природы, отвела бы не только речную воду в песок, но и отчисления от миллиардов в пользу ведомственных работников, за что они, видимо, и боролись. А ведомственная наука обслуживала ведомственный заказ. Как когда-то выполняла политический, понося генетику, кибернетику, социологию и других «продажных девок империализма».

Многие ведомства десятилетиями укрепляли, отстаивали абсолютную монополию на управление теми или иными сферами производства общественной и культурной жизни. Но функционировали они из рук вон плохо, озабоченные эгоистическими интересами. В результате в последние годы мы являемся свидетелями и, если хотите, жертвами парадоксальной «монополии без монополизма». Вот Министерство связи. У него монополия на важнейшие современные формы человеческого общения: почта, телеграф, телефон, посылки. Но качество услуг настолько упало, настолько несопоставимо с международным уровнем (а цены между тем росли), что граждане и организации стали находить способы письменной или послочной связи вне ведомственной системы. Учреждения обросли курьерами (вспоминается гоголевская фантазматория о 35 тысячах курьерах), важные письма почте не доверяют. Люди стараются передать корреспонденцию или посылку с проводником, знакомым. То, что в XIX веке шло до Лондона семь дней, теперь может идти месяц и более.

Еще более разительный пример «монополии без монополии» — Министерство культуры. Реально оно контролирует сегодня может быть лишь десятую долю культурной жизни страны. И остается в плену концепций 20—30-х годов о просветительной роли культуры, которая мыслится только как совокупность музеев, театров, цирков, парков... Между тем, социологи установили, что потребление художественной информации на дому в 5 раз превосходит по времени традиционные способы общения с культурными ценностями. Помимо обычных телепрограмм существуют и расширяют влияние альтернативные формы контактов с культурой — пограничное, спутниковое, компьютерное, кабельное, кассетное телевидение. На черном рынке видеокультуры 30 тысяч наименований программ. Только в Ленинграде более 40 тыс. видеоточек. Более миллиона жителей этого города постоянно и стихийно общаются с видеопродукцией. И это на фоне заметного снижения посещаемости (реальной, а не отчетной) музеев, театров, концертных залов. Молодежь ушла из-под опеки Минкульта, не выполнившего указания ЦК о создании компьютерных досуговых центров.

Г. С. В результате видео, как альтернатива традиционным формам культурного досуга, воспринимается на местах агрессивно. Как же, ведь никем не протампованно! Множатся уголовные дела, на владельцев видео местные правоохранительные органы смотрят как на потенциальных преступников. После «Круглого стола» в «Советской культуре», в котором и вы, Владимир Юревич, принимали участие (материалы были опубликованы 6 июня 1987 г.), приходят такие письма, такие истории всплывают, что поневоле вспомнишь о самых мрачных годах довоенных беззаконий. В одном из писем народная артистка УССР рассказала, что в Киеве работники внутренних дел «брали» ее больного сына за просмотр, как потом выяснилось, вполне безобидной видеокассеты, брали так, как обычно выкладывают на экране операции по обезвреживанию многолюдной и хорошо вооруженной бандитской «малины».

В. Б. Как говорится, что посеяли...

РАССТАВАНИЕ С МИФАМИ

В. Б. Избавление от старого мышления требует, чтобы мы рассеяли мифологический туман, в котором долгие годы скрывались ошибки, просчеты, а то и преступления против гуманности. Мы должны, как писал Ленин, «не порочить самих себя, иметь смелость признать откровенно то, что есть». Социальные, исторические мифы нужны опять-таки лишь административно-бюрократическому аппарату, ведь в них так удобно переплести истину в ложь, они так хорошо баюкают...

Сколько лет жили мы с убеждением, что у нас самый культурный, самый читающий, самый образованный народ в мире! Какая статья о социальной сфере обходилась без этих гордых заявлений. На самом деле по данным ЮНЕСКО мы на 28 месте в мире по уровню образования и культуры. Развитые страны просто-напросто перешли или быстро переходят на избирательную форму подачи информации — видео, компьютер. Роль вербальной (устной или письменной) информации резко снизилась. А мы по-прежнему пользуемся только буквами в печати и словами по радио. Замечательно, что сейчас поставлена задача добиться всеобщей компьютерной грамотности. Но вернее, честнее ставить вопрос о ликвидации всеобщей компьютерной безграмотности.

Г. С. Миф о «самой читающей в мире» поколебим и данными, опубликованными недавно в «Советской культуре». Оказывается, индивид тратит в среднем семь рублей в год на книги, то есть в пересчете на нынешние цены, покупает две-три книги. Библиотечные работники сетуют на пустые формуляры абсолютного большинства книг, признаются, что вынуждены фальсифицировать данные о числе книговыдач. Долгое время пресса, за редким исключением, не раскупалась, навязывалась по «добровольно-обязательной» подписке. Сегодня все резко изменилось. Люди расхватывают и читают газеты и журналы. Они поняли, что слову возвращена реальная си-

ла. Они хотят понимать происходящее, ориентироваться, высказываться. Очистив понятие «самая читающая» от историко-мифологических наслоений, мы, быть может, вернем ему исконный подлинный смысл. Этому поможет перестройка.

В. Б. Есть исторически закреплённые в сознании поколений мифы, расшифровка которых особенно болезненна. В нашу историческую память вросло представление о подвигах и победах первых пятилеток. Но сегодня мы обязаны задуматься о цене этих побед, если их вообще правомерно называть победами, без серьезнейших оговорок. О критерии оценки вновь четко напомнил в статье в журнале «Коммунист» № 8 за этот год секретарь ЦК КПСС Александр Николаевич Яковлев: «Человек представляет для социализма высшую ценность — не только в общем плане, но и предельно конкретно, индивидуально». Если приложить этот критерий к годам минувшим...

Для первых пятилеток крайне важным материалом был чугун. В Госплане разгорелась дискуссия между максималистами и оптималистами. Последние считали: страна напряжется и даст 8 млн. тонн стали, максималисты — 10. Долгие дискуссии, научные обоснования ни к чему не привели. На 16-й партконференции был волюнтаристски поддержан план максималистов. В 30-м году Сталин сказал: дадим 17 млн. тонн. Было решено копать в Магнитке, строить и в других местах металлургические гиганты. Под это строительство начались закупки за рубежом оборудования, самого современного и дорогостоящего. Единственное, чем можно было платить, — зерно. Были посланы чрезвычайные комиссии, в том числе Молотова и Кагановича на Украину, на Дон и Кубань. Забирали все подчистую (начало 30-х годов). Продавали за копейки: цены на мировом рынке оказались низки, западные производители, чтобы держать цену, сжигали избытки зерна в топках.

Рыли вручную, с нечеловеческим напряжением. Почитайте А. Платонова в «Новом мире» — вы сможете это ощутить. Ворошилов, приехав на Магнитку, сказал: «Я большевистской ноздрей чую здесь металл». Строителей косил тиф — умерло около 60 тыс. человек. Люди жили в палатках, землянках: все — рабочие, инженеры, начальники. В это же время от голода вымерло три миллиона человек на Украине и в Поволжье, в самых зернодобывающих районах. Были даже случаи людоедства. Результат — 6,5 млн. тонн чугуна в 1-ю пятилетку. Ниже обоснованной нормы оптималистов.

Ни одна из первых пятилеток не была выполнена по основным экономическим показателям. Зато укрепилась центральная власть, нашлось оправдание самой идеи централизации, тотальной мобилизации населения под громкими лозунгами. Такова была реальность.

Г. С. Но реальностью была и массовая самоотверженность людей, их благородная и чистая вера в близкое всеобщее счастье. Герой создающий, жертвующий собой для людей не пе-

рестает быть героем, если на костях его строят фундамент личной власти тираны, проходимцы или безответственные прожекторы. На энтузиастов первых пятилеток не должна быть брошена тень. «Мы должны дорожить каждым прожитым днем после Октябрьской революции», — подчеркнул М. С. Горбачев, беседуя недавно с Габриэлем Гарсиа Маркесом. Демифологизация отдельных событий и людей того времени требует предельной взвешенности и деликатности. Иначе это обернется не новым мышлением, а опасной переоценкой важнейших гуманистических ценностей.

В. Б. Я согласен с вами, и все же есть герои и героини. Павлик Морозов, сознательно обрекавший на гибель отца-бедняка, тоже героизировался, канонизировался до тех недавних пор, пока мы не начали осознавать, что он был по существу жертвой порочной, искажавшей марксизм и злонамеренно внушавшей массам «теории» о примате классовых интересов над общечеловеческими ценностями. Я уже не говорю о целях и о самом процессе борьбы с кулачеством, сегодня они переосмысливаются серьезными историками, экономистами и художниками весьма критически.

Г. С. Искусство, некогда помогавшее созданию мифов, ныне участвует в их разоблачении. В фильме В. Абдрашитова «Плюмбум, или Опасная игра» сильно и смело показано, что и сегодня в принципе не исчезла социальная почва, на которой может произрасти некое подобие Павлика Морозова. Плюмбум — Руслан допрашивает отца своего с холодной бестрапешностью чиновника, он уверен, что карает социальное зло. Но его духовность и нравственная глухота объективно и в потенциале куда опасней для общества, чем браконьерские рыбалки отца или вокзальная «шабашка» жалкого городского бродяги-алкоголика, которого Плюмбум помог изловить. Мифотворчество вдохновлялось и трудовыми рекордами отдельных рабочих, имена которых становились известны всей стране. Увы, зачастую рекорды тщательно организовывали ретивые администраторы, выжимали из человека все силы, чтобы потом громко отрапортовать, укрепить свой авторитет перед вышестоящими, снизить расценки, нормы, тарифы. Человек был для них неодушевленным орудием личного преуспеяния. В том числе об этом сделан фильм Анджея Вайды «Человек из мрамора». Это мощная, высоко талантливая и правдивая картина. Почему бы ее не приобрести и не показать широкому зрителю. Пусть работает на правду. Этому не должна мешать бывшая политическая опрочеченность выдающегося режиссера.

В. Б. Хочу подчеркнуть живучесть, возобновляемость исторических мифов и построённых на них псевдонаучных концепций и обывательских слухов. После XX съезда партии, а уж тем более после XXVII съезда и всего, что было опубликовано за последний год, как будто бы не должно остаться сомнений относительно личной роли Сталина в осуществлении массовых репрессий, его страшной вины в том, как началась для нас война. Но вот недавно в журнале «Молодая

гвардия» № 7 в статье В. Горбачева делается попытка реанимировать версию о доверчивой жертве корыстных царедворцев, миф, помогавший кое-кому в середине 60-х приостановить и свернуть идейно-нравственное обновление общества.

«НИЗЯ-А-А...»

В. Б. Третий камень преткновения на пути к новому мышлению — стереотипы. Они повседневно проявляются в наших отношениях с действительностью. Они исправно работают на заблуждение общественного сознания, на увековечение абсурда, на сохранение статус-кво для бюрократов, консерваторов, бездельников. И самый злой, живучий — стереотип запрети-тельства. Он сегодня больно бьет по перестройке, им умело пользуются ее противники. Размышляя о том, насколько право обеспечивает юридическую защиту столь важной сегодня социалистической предприимчивости, А. Н. Яковлев отмечает, что «в юридических документах, инструкциях продолжает витать «презумпция виновности» в отношении хозяйственной инициативы. Закон об индивидуальной трудовой деятельности, кажется, пока единственный из действующих ныне, где во главу угла поставлен принцип: все, что не запрещено, можно. Но многие по-прежнему считают: если в законе не упомянуто, значит, запрещено».

Установка бюрократических барьеров, надолгов и турникетов стали у нас пунктом номер один во всех управленческих решениях.

Вспомним недавно прочитанное интервью с одним из руководителей ГАИ. Ситуацию он оценил весьма критически: дороги у нас отвратительные, дорожных развязок почти нет, стоянок тоже, техническое состояние автомобилей нетерпимо, уровень водительской культуры крайне низок. Чтобы как-то контролировать ситуацию, ГАИ вынуждено вешать все больше запрещающих знаков и карать, карать за их нарушение.

Сокращает ли это хоть немного число дорожно-транспортных происшествий? Конечно. Но проблемы-то не решает. Зато создается иллюзия борьбы

за решение проблем, иллюзия заботы о людях и городе. Так запрети-тельство камуфлирует реальное дело.

Г. С. *Пример еще более прозаический. На весь Арбат и проспект Калинина в Москве — всего один общественный туалет, проблема, кстати, общегородская. Приятель, живущий в этом районе, рассказывал, что в подъезды окрестных домов стали все чаще наведываться несчастные, которм, как говорится, приспичило. Реакция властей и общественности была решительной и «конструктивной»: повсеместно установили кодовые замки, организовали боевое дежурство жильцов и дружинников. Подъезды района оказались на передовой фронта борьбы с физиологическими потребностями москвичей и гостей столицы. Но результаты ничтожны. Иначе и быть не может, ибо, как говаривал профессор Преображенский у Михаила Булгакова, разруха не в клозетах, а в головах.*

В. Б. Стереотипы старого мышления, как ни странно, имеют у нас отношение к такой физической и философской категории, как пространство. В России могущество империи произрастало во многом за счет новых территорий. Их освоение улучшало жизнь в центре. Эти традиции в новое время получили «развитие» в экстенсивных методах экономики. Их с горечью узнаешь в особой форме земледелия, когда предпочитают распахать степь от моря до моря и собирать с гектара мизерный урожай, нежели эффективно хозяйствовать на малых, плодородных площадях. Экономисты подсчитали, что на деньги от продажи только горючего, которое сжигается при работе на этих площадях, можно приобретать столько же хлеба, ничего не тратя на рабочую силу. Я уж не говорю о материальном и моральном ущербе от гибели пастбищ, лесов, водоемов. Если территория колхоза равна по площади Люксембургу — это уже хорошо. Если там коров вдвое больше, чем на какой-нибудь английской ферме, это просто замечательно. Забывают, правда, что не хуже было бы их так же успешно доить.

Гигантомания как абсолют, как знак видимого благополучия отражает уровень сознания, уровень стереотипа. Магия цифр и масштабов, не обеспеченная качеством, не соизмеряется

со здравым смыслом, приносит и, боюсь, еще будет по инерции приносить нам немало бед. И разве не она способствовала тому, что сегодня пришлось закрывать замечательные музеи, другие центральные объекты культуры — гнались-то за числом посетителей, зрителей, мероприятий, а количество экскурсий, пробогавших по залам той же Третьяковки за «отчетный период», это ведь и унесенные на подошвах паркетные покрытия, вибрация, колебания температуры и влажности, губящие картину. Успех искусства планировался от доступного числа посетителей. Иные критерии значения не имели.

Устойчивых стереотипов, увы, предостаточно. Это и старательно внушавшийся тезис «большинство всегда правое...»

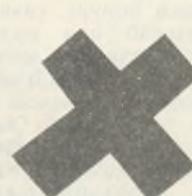
Г. С. ... Фильм «Чучело», кстати, хорошо поработал на его разоблачение...

В. Б. И призывы во что бы то ни стало опережать время, выполнять за меньший срок то, что рассчитано на больший (между тем сама идея плановой экономики, если она реализуется правильно и умно, плохо согласуется с таким подходом). Время не терпит произвольного с ним обращения. Хорошо просчитанный и организованный производственный процесс не нуждается в интенсификации мышечного труда, в том, чтобы люди жили себе надрывали.

Вслед за исторической практикой виднейшие представители общественных наук получили, наконец, возможность дать бой сформированному в сталинскую эпоху, стереотипному в массовом сознании тезису о том, что общество по мере его развития должно становиться все более однообразным, однородным и унифицированным.

Сегодня очевидным становится, что именно разнообразие форм производственной, общественной жизни, форм собственности и форм управления — развивает и обогащает социализм, делает его престижнее и сильнее.

Г. С. *Этой же задаче послужит и скорейшее избавление от нароста ложных представлений, старого мышления, тормозящего перестройку не слабее, чем факторы материальные.*



В конце 1979 г. на предновогоднем собрании в институте, где я тогда работал, по традиции обсуждалось происшедшее в мире за год и ближайшие перспективы. Мой шеф, блестящий политолог, поднял тост за тех несчастных, кто в те часы шел в Тегеране голой грудью на шахские пулеметы — с молитвой на устах, аллахом в сердце и аятоллой в голове. Кто не сочувствовал им тогда? Кому не казалось, что шах — худшее из зол, что восставший против неравенства и несправедливости народ всегда прав, кто бы и под каким знаменем ни вел его за собой? Тост закончился горьким и неожиданным предсказанием о том, что не пройдет и пяти лет, как эти люди будут с ностальгической тоской вспоминать о шахских временах, когда жизнь для тех, кто «внизу», хоть и была непереносимо тяжела, но по крайней мере оставляла место надежде... В тот момент сама эта мысль казалась кощунственной. С ней не хотелось, нельзя было соглашаться.

Прошел год с небольшим — и на стенах Тегеранского университета кто-то написал: «В 1979 году несправедливость здесь была побеждена невежеством». Прошло еще несколько лет — и число политических заключенных в стране выросло в десятки, а число казненных — в сотни раз по сравнению с шахскими временами; масштабы применения пыток (внедренных еще при шахе хитроумными западными советниками) вообще сравнивать не с чем. 600 тысяч иранцев погибли или искалечены в бессмысленной войне, конца которой не видно. Многие из тех, кто провел лучшие годы жизни в тюрьмах, оказались снова там. Пожалуй, им тоже можно задать тот проклятый вопрос без ответа: «Если бы они знали?..»

Впрочем, ощущение мизерной цены человеческой жизни, абсолютной призрачности человеческого существования, сопровождающее голод, войны, социальные катастрофы, вообще, видимо, лишает смысла сомнения подобного рода.

Быть может, в этом — главная часть ответа на проклятый вопрос. Накопленный в обществе потенциал социальной ненависти разносит в клочья привычные представления о добре и зле, возможном и невозможном, допустимом и недопустимом. Малое, частное, собственно человеческое как бы растворяется в ощущении неотвратимости и необратимости происходящего, чувстве сопричастности Истории.

Если же в первооснове надвигающейся социальной катастрофы «динамит человеческого тела», голод, накапливаемый поколениями, то взрыв грозит разнести хрупкие рамки любой цивилизации вообще, которая воспринимается как враждебная, ибо плоды ее пожирают другие.

До сих пор тонкие стенки национальных границ, хотя и с трудом, но сдерживали взрывные волны социальных катаклизмов, которые лишь изредка прорывались в региональные конфликты. Увы, сегодня колоссальная энергия страдания, голода и отчаяния, накопившаяся на одном из полюсов мирового развития, ставит под угрозу будущее всего человечества, единство

АНДРЕЙ ФАДИН

ВОСПОМИНИАНИИЯ О НЕПЕРЕЖИТОМ

которого необратимо спаяно ныне экономикой и экологией, ядерной бомбой и телевидением. И дело здесь не только в ужасающем разрыве в уровне и качестве жизни (и смерти?), который сегодня неотвратимо вторгается в духовную жизнь каждого, и который невозможно не переживать лично, видя почти одновременно на телеэкране истощенных бенгальских крестьян, эфиопских детей со вздувшимися от голода животами — и рестораны для кошек и собак в Нью-Йорке.

Важнее другое: страдание и роскошь не только прямо демонстрируют себя друг другу на телеэкране, в журналах, в прямом контакте (хотя еще вчера они были как бы в разных мирах, разделенных тысячами миль удобного неведения), но и вызывают, подготавливают совершенно определенную реакцию — не всегда конструктивную и почти всегда чреватую катастрофой. К сожалению, хомейнистский Иран, похоже, лишь первая ласточка.

Все может обернуться гораздо хуже. В конце 40-х годов Эйнштейн обронил фразу о том, что лет через двадцать атомная бомба будет столь проста, что ее смогут получить и готтенты. Сегодня его брошенное вскользь замечание приобретает определенно зловещий смысл. Ведь отчаяние «проклятым заклейменных» земного шара рано или поздно может оказаться подкреплено и кое-чем более весомым, страшным и, к сожалению, более убедительным, чем призывы к состраданию, разуму и совести «богатых наций». И не трудно себе представить, чем может обернуться вскормленная безысходным отчаянием ненависть обитателей, например, лагерей палестинских беженцев в век, когда Бомба легко умещается в чемодане...

Каждый раз, когда человечество сталкивается с очередным протуберанцем социальной ненависти, истоки начинают искать в злой воле руководителей, в характере идеологии, в национальной традиции или в происках иностранных темных сил. И для всего этого есть какие-то основания. Но остается все же неудовлетворенность, стремление к более фундаментальным ответам.

Очень многое высветил повергший многих из нас в шок страшный опыт полпотовской Кампучии, родившейся — не будем этого забывать — тоже в огне революции. Конечно, попытка «красных кхмеров» вернуть вспять историю, «упразднить» всяческий прогресс и вернуться к «естественному» существованию на основе автономного развития, нуждалась в определенной идеологии — и имела ее в виде маоизма, теории «основных потребностей» и радикально-экстремистского аграрного эгалитаризма.

Но откуда взялась та страшная социальная энергия, позволившая полностью опустошить города, уничтожить всю технику, науку, носителей знания и цивилизации? Журналист, побывавший в Пномпене вскоре после бегства фюреров «красных кхмеров», описывал уничтоженную **вручную** ЭВМ третьего поколения; госпитали, в которых были педантично разбиты все при-

боры, пробирки, инструменты; типографии, где было уничтожено все без исключения оборудование. На все это должны были быть затрачены десятки миллионов операций. Подобные вещи не делаются по приказу — с такой тщательностью, старанием, упорством. На это должны были быть личные причины, личная ненависть исполнителей.

И истоки этой ненависти — в повседневной жизни людей, лишенных того, чем обладали другие, обитатели городов, со всеми их заморскими благами. Недоступность порождает сначала зависть, затем отчуждение, и наконец, прорывается ненавистью.

Что было кхмерскому крестьянину до электричества, радио, газет, до импортной фармакологии, компьютеров, автомобилей и кино, если все это — для «тех, кто сверху», если судьба его — «вставать до рассвета, желтый кулак солнца над головой, вечный запах буйволиного навоза, боль в мышцах и неизменная забота о горстке риса»? Не здесь ли, не в этой ли жизни искать истоки полпотовской антиутопии с ее опустевшими городами, перебитыми врачами и учителями, офицерами и чиновниками? Не в этом ли причина того, что кхмерский мужик, никогда в жизни не носивший обуви, не дрогнув, заставлял разуваться очкастых интеллигентов и нежных городских барышень и гнал их, голодных, с кровотокающими ногами, в джунгли, где почти все они гибли за считанные недели?

И не похоже ли это на чувства русских мужиков из рассказа Ивана Бунина, которые сдирают шкуру с живой барской коровы — потому что она барская?!

Всегда спокойнее думать, что если бы люди знали об отдаленных последствиях своих действий, то поступали бы иначе. Но глядя назад, испытываешь тем большие сомнения, чем глубже вживаешься в их внутренний мир, в непосредственные мотивы их действий, в жестокую обусловленность каждого их шага всеми предыдущими.

Видения будущего — сильный психологический механизм, но для масс он отступает перед диктатом настоящего. Трудно поверить, что картины грядущей гражданской войны — со всеми ее ужасами, с белым и красным террором, расстрелом пленных и заложников и всем тем, что принять сегодняшнему гуманисту-интеллекту попросту невозможно, — чтобы все это могло остановить или охладить ненависть к режиму и его представителям среди русских рабочих, переживших, скажем, Ленский расстрел 1912 года.

Умного и тонкого Н. Бердяева могли мучить предчувствия «девятого вала» народной ненависти, смывающего тонкий слой либеральной европеизированной культуры (впрочем, по его мнению, носители ее, не ведая, что творят, сами «раскачивали лодку» — режим, обеспечивающий существование этого культурного слоя). Но что должен был чувствовать к режиму, например, кишиневский еврей, в присутствии которого его детям погромщики выкалывали гвоздем глаза? Как могли относиться к режиму и всему, что было с ним связано, казахи и киргизы, почти треть которых была уничтожена при подавлении восстания 1916 года?

Можно ли было убедить одичавших от грязи, крови, холода, вшей солдат, что дикие расправы над офицерами, ходившими в атаку позади солдатских цепей и сидевших на телах живых солдат, чтобы не промочить ног в затопленных жидкой

грязью окопах — не соответствуют цивилизованным правоотношениям?

Какую ценность могли иметь тонкие эмоции героев Бунина и Чехова для обитателей туберкулезных туброщ Самары и Нижнего? Что должен был чувствовать мужик по отношению к элегически-изысканному миру дворянской усадьбы, с его домашним музицированием, многоязычной библиотекой и длинными вечерами с чаем, вистом и диспутами о смысле жизни, если в этой усадьбе еще на его памяти пороли, взимая недоимки, его родителей и портили девок.

А с другой стороны, что должны были чувствовать идеалисты-интеллигенты в отношении режима, при котором еще в начале 1900-х годов чтение книг по собственному выбору мог себе позволить лишь очень смелый человек, а административная высылка «была делом обычным, как насморк». В этой стране, — по выражению современника, кто в тюрьме не сидел, тот подозрительный человек.

Нет, предчувствия Рока истории, заставлявшие людей расплачиваться за свои действия кровью, не останавливали и не могут остановить никого и ничего в этом мире. Мощный накал социальных страстей не мог плавно сойти на нет, завершиться безболезненным компромиссом. Взрыв должен был произойти — и он грянул. И то, что взрыв этот породил не бунт против цивилизации вообще, а революцию, положившую начало новой истории России — во многом заслуга политического руководства революцией, выступившего преемником этой цивилизации. А ведь сделать это было тем труднее, что грандиозные потоки социальной энергии, которые они в конце концов смогли ввести в железные берега государственно-политической организации, долгое время несли их в себе, толкали в спину, оставляя весьма небольшие степени свободы, незначительное поле маневра, подчас ограниченное лишь военной необходимостью. Непреодолимая логика социального противостояния, политической борьбы, гражданской войны определяла едва ли не каждый их последующий шаг.

И все же, все же из настоящего, ощущая на себе последствия всех предыдущих выборов и будучи при этом вне жестокой альтернативы «или — или», — разве не должны мы вносить нравственные критерии в оценку происшедшего? Разве не обязаны мы счесть сегодня нравственно неприемлемым многое из того, что современникам казалось естественным и нормальным актом борьбы?

Бесспорно, трудно сегодня принять, да и понять даже, уничтожение *всей* царской семьи, включая малых детей. Шаг этот странным образом еще отзовется в нашей истории сталинским указом о снижении до 14 лет возраста, с которого наступает уголовно-политическая ответственность — что было использовано для шантажа ожидавших суда лидеров оппозиции.

Но ведь и сама жестокость времени формировала нравы и характеры, да и культурные нормы, при которых человеческая жизнь представлялась ценностью лишь в определенном политическом контексте. Обе части расколота яростной социальной войной общества помнили лишь *своих* павших: оплакивавшие Романовых и их детей вряд ли при этом вспоминали тех мальчишек, которых доставали гвардейские пули Кровавого воскресенья.

Описывающие ужасы красного террора не более чем вскользь упоминают о том,

что делали генерал Слащев в Крыму или атаман Семенов на Дальнем Востоке. В свою очередь, и советская историография симметрично умалчивает о масштабе и характере «бессудных расправ» ЧК, о природе крестьянского сопротивления продразверстке, именуемого «кулацкими мятежами», и о многом, что скрывают ныне бесполезно, а осмыслить и пережить в себе заново — необходимо.

И все же для тех, кто ее жаждал и не боялся мучительных исканий, правда истории жила — подчас пунктиром, подчас поэтапно. Она жива была в памяти современников, жива в той — пусть не слишком обширной — честной литературе, которая прошла с нами весь наш трудный путь к сегодняшнему дню. Порой хорошие и честные книги становились памятником эпохи, в то время как их авторы уже начинали эту правду уступать политической конъюнктуре следующей исторической полосы, как это произошло с Шолоховым после «Тихого Дона». Порой книги вслед за своими авторами ныряли в небытие на целые десятилетия, как это произошло с произведениями Бабеля, Артема Веселого и многих, многих других. Именно этой литературе мы обязаны возрождением интереса новых поколений к эпохе, из которой мы все вышли. Без нее на новом витке истории не появились бы ни проза Трифонова, ни драмы Шатрова, ни поэзия современных бардов, вносящих новую нравственную ноту в переживания прошлого.

У заржавленных рельсов,
У сожженных вагонов,
От Лены-реки и до Буга
Мальчишки в буденновках,
Мальчишки в погонах —
Перестреляли друг друга.

И валились на землю,
Сырую и вешнюю,
И на них белый сад опускал лепестки
На глаза открытые,
На глаза нездешние
Садилась бабочки-мотыльки.

Да по разным концам
Разоренной России
В деревнях у икон, в городах
Только матери голосили
О жестоких своих сыновьях.

Такие строки не могли появиться и стать общим настроением ни тридцать, ни двадцать лет назад. Сегодня они есть, их поют, слушают, записывают на магнитофоны. Ибо это — вклад в переживание истории и взгляд послевоенного поколения — на наши истоки.

Но как совместить светлый импульс, с которого начиналась грозная революционная эпопея, с реальной исторической практикой, в которой было ВСЕ? Как приложить нормальные этические критерии к этике того, что было, от чего отказаться невозможно, хотя бы потому, что плодами этого прошлого мы пользуемся ежедневно?

Как в рамках одного индивидуального человеческого сознания помирить столь симпатичную нам сегодня швейцеровскую этику «благоговения перед жизнью» и непреклонные исторические императивы, толкающие на вполне реальный, насильственный бунт?

Увы, сам по себе исторический процесс, видимо, внеэтичен как природа, и морализаторские суждения о нем бесплодны не только в практическом, но и в познавательном отношении. От наших ламентаций,

к сожалению, ничего в прошлом не меняется.

Но, изменяя взгляд на прошлое, мы решаем, что из него мы хотим взять с собой в будущее, а что, даже признав неизбежность свершенного, все же захотим оставить позади навсегда.

«Закономерности не бывают плохими или хорошими, они — вне морали, — размышляет герой Стругацких. — Но я-то не вне морали». Исторический смерч, в отличие от природного, не снимает проблемы личного выбора — даже если удастся остаться в стороне, призывая чуму на оба дома. Поэт Максимилиан Волошин, укравший красных при белых и белых при красных, быть может, имел основания считать, что его выбор — единственно этичный в ситуации гражданской войны. Но ведь спасенные им люди боролись друг с другом на смерть и **после** сприкосновения с таким образцом этического максимализма — и делали это не из пустых предрассудков.

Во главе революционной партии стояли интеллигенты; Совнарком образца 1918 года представлял собой, быть может, самое интеллектуальное правительство Европы. Но подавляющее большинство интеллигенции не пошло с революцией, ушло в эмиграцию. Одновременно волны мужицкой ненависти ко всему, что воспринималось как барское, сносили тонкий слой культурного чернозема. В захваченных усадьбах истреблялось все, чему не было места в крестьянском быту, — библиотеки, картины, фортепиано (еще один общий знаменатель взрывов социальной ненависти — *memento Кампучия*.)

Подобные антиномии можно множить и множить. Это было, это нами прожито. Из песни слова не выкинешь, гласит русская пословица. Но как уловить смысл, мелодию самой песни? Как не поддаться магии отдельных слов (а ведь каждое из них давно стало символом, переросшим границы национальной истории)? Как за деревьями увидеть лес, если, пытаясь в нем продвигаться, — об эти-то деревья и разбиваешь лоб?

Или, может быть, эти-то деревья и есть лес, и другого не дано?

Да, такую точку зрения встречаешь часто. Вся 70-летняя советская история по ней — не более чем череда кровавых эпизодов, деспотического произвола, насилия и трагических ошибок, не что иное, как тупиковая ветвь или — в лучшем случае — бессмысленный зигзаг истории.

Такой взгляд встретишь и у нас, и на Западе. С ним можно и нужно спорить (правда, наши историки делали это, увы, совершенно неудачно, хотя и не только их была в этом вина). Важнее другое, как с этим взглядом **жить**, что с ним **делать**? Здесь, у нас, — и на Западе.

Жить полноценно, включенно жить в обществе, разделяя боль и стремления людей — и абсолютно не приемля при этом их прошлое, память, святыни, не уважая их заблуждения и ошибки — невозможно. Можно лишь стоять в стороне, указывая перстом на кровоточащие раны. Можно ожидать «конца зигзага». Но ведь тогда: «чем хуже — тем лучше». Тогда не остается ничего другого, кроме как радоваться каждому провалу, неудаче, каждому запаху гниения — радоваться разложению! А ведь распадались-то в «те годы» не только «структуры» и «порядки», разлагались мы сами, люди, соотечественники, их души, их способность жить достойно — в самом простом, бытовом даже смысле...

Увы, позиция «чем хуже — тем лучше» — неизбежное следствие тотального разрыва с собственным, непосредственным, недавним прошлым, результатом отказа искать и находить огонь в пепле истории. В этом — драма многих из тех, кто начинал с защиты провозглашенных нашим обществом идеалов — от самого общества, от действительности, которая слишком уж с этими идеалами расходилась. Беда тех, кто, защищая от нашей общей нетерпимости свое право самостоятельно мыслить, прошел путь от сомнения до отчаяния. Кто не нашел лучшего пути, чем уйти в эмиграцию — внутреннюю или внешнюю. Кого логика борьбы и разрыва привела к тотальному нигилизму, переносу мыслимого образа совершенного общества — на Запад.

Ну, а там — в столь не похожей на нашу западной реальности, — что означает подобный взгляд на наши истоки? Увы, логичным выводом из него звучит чугунный приговор Рейгана — «империя зла». А за этим приговором уже с железной необходимостью следуют МХ, «першинги», СОО — понятно, ибо с «империей зла» невозможно договориться, «лучше быть мертвым, чем красным», «доверять им невозможно». А значит?.. Равновесие страха, ожидание выгодного момента для удара? Ведь с «империей зла» по-другому и нельзя...

* * *

Нет, согласиться с этим в здравом уме невозможно. Но и делать вид, что наше историческое бытие не дает миру поводов к сомнениям в нашей чистоте и честности — значит прятать голову в песок. Слишком долго мы себя восхваляли и слишком легко извиняли за «мелкие недостатки», слишком долго и оглушительно били в пропагандистские литавры, мгновенно теряя память (а порой и слух, и зрение, и **вкус**) — по мановению очередного перста указующего.

Сегодня мы переживаем болезненный (иным он и быть не может) момент очищения правдой. И здесь не обойтись без новой встречи с прошлым.

Сказать, что мы уже знаем и обязательно скажем теперь **всю** правду — было бы, наверное, если не ложью, то ошибкой. Правду о себе еще только предстоит искать, и неминуем здесь пробный камень сомнения, с которого начинается поиск правды — в Истории, в современности, в себе.

А ведь все еще очень непросто у нас с сомнением. Смотришь на него с подозрением — жить-то с ним трудно. Сомнение разрушает стереотипы, делает смешными лозунги, ставит вопросы, на которые отвечать трудно, иногда просто рискованно.

Вот «Литературная газета» напечатала стенограмму обмена мнениями иностранных корреспондентов о переменах в СССР. Один из них справедливо указал на то, что гласность пока не распространяется ни на внешнюю политику, ни на военные вопросы. Здесь у нас, если судить по печати, точка зрения всегда одна — официальная. А одна ли? И как быть, когда она резко меняется? Сегодня мы часто вспоминаем любимую ленинскую мысль о том, что правда не должна зависеть от того, кому она служит. Почему же, в самом деле, должна оставаться вне общественного обсуждения и критики зона, столь значимая для всех (и не только для нас)? Или не было в нашей истории внешнеполитических ошибок, провалов, за которые приходится краснеть и сегодня?

Кто не верит, попробуйте перечитать

речь Молотова 17 сентября 1939 года, почитайте наши газеты того времени (впрочем, и они доступны далеко не всем).

Нравственная история нуждается в жестоким, жгущем знании. В стыде, который Маркс назвал внутренней революцией. В покаянии, которое необходимо тем, кто впервые ощущает себя наследником и правопреемником революции.

Только узнав и сказав себе — о себе — все, поняв, чего мы никогда больше не повторим, чего мы не приемлем в самих себе, мы будем иметь право говорить о наших достижениях и нравственных ценностях, о том, чем гордимся.

Нечего и сомневаться в нравственной чистоте поколения сорок первого года, в искренней солидарности людей 30-х годов с Испанией и Китаем, или в чистоте помыслов тех студентов ИФЛИ, которые ушли зимой 1939 года на финский фронт, уверенные, что они несут народу Финляндии свободу и социализм. Но как, почему они не видели, что прямо здесь, вокруг них, были миллионы тех, кто также нуждался в солидарности, помощи, милосердии? Инстинкт самосохранения? Но ведь в 41-м они жизнью, смертью своей доказали, что не этот инстинкт — их главный мотив. Правда, с внешним врагом всегда как-то проще. Он очевиден. А вот внутреннего опознавали по указке... Поэтому, может, и сейчас многие ждут — чем эта «перестройка» кончится? «Может, лучше не высовываться, а то ведь подует другой ветер — неприятностей не оберешься».

И это — тоже наше наследие, никуда от него не денешься. И пока не сделается его явным — оно будет владеть нами, а не мы им. Говорить о свете, игнорируя тени — нелепо. Говорить о революции, умалчивая об ошибках или преступлениях, которые ею прикрывались — столь же бессмысленно, как, говоря о великой победе в войне, замалчивать размеры потерь. А ведь на памяти одного поколения делалось и то, и другое.

Черное существует везде, но если мы называем его белым или молчим о нем — это не может не вызывать недоверия.

Именно поэтому любая попытка ответить на «проклятые вопросы» революций должна начинаться с принципиального отказа от любого умалчивания, сокрытия, угодливого истолкования. Ведь лишь наша способность вынести трагизм истории, самую ее мучительную правду — правду о самих себе, если мы не отрекаемся от своего прошлого, — дает право на доверие личности к обществу, гражданина — к государству, наших соседей — к нам.

Без этого, без обращения к истокам, без права на сомнение любой диалог неминуемо превратится в пропагандистское фехтование, главный мотив которого — стремление самим выглядеть лучше в глазах внешнего мира, представив оппонента «империей зла».

Порой мы задаемся вопросами типа: «что такое борьба за мир в СССР?» С кем? Против чего? На этот непростой вопрос у меня есть один очень простой ответ. Борьба за мир для нас — это борьба не с Рейганом, конечно (вряд ли на него произведут впечатление наши петиции и митинги), а с самими собой, с тем в нас, что является тенью мрачных сторон нашего исторического опыта. И борьба эта возможна лишь при опоре на суть этого опыта — стремления к достойному человеку существованию. Чем человечнее будем мы друг с другом, тем больше будет оснований у других верить нам.

МЯТЕЖНЫЙ РОД БАЛЛОДОВ

(Продолжение. Начало см. № 1)

ЛИКОВАНИЕ ПЕРЕКРЕЩЕННЫХ

Индрикис Страумите в своих «Заметках православного латыша» писал: «До родов обычно бывают сильные боли — были они и здесь. Боли начались уже давно; в 1841 году появились схватки, а четыремя годами позже, в 1845-м, последовал кризис».

Родоразрешение состоялось. Что же новорожденный? На свет явилось 100 тысяч православных крестьян — в латышской и эстонской частях Лифляндской губернии.

Сегодня, оглядываясь на прошлое, мы как будто можем сказать, что в 1845—1847 годах измученный латышский народ произвел на свет «урода». Новорожденного стыдились местные «немецкие» власти. Стыдились как свидетельства собственного бессилия. Неспособности держать «быдло» в повиновении. Новоявленного «урода» стеснялась и царское правительство, и русские чиновники, по меньшей мере, те из них, которые провозглашали лозунг одного царя, одного языка, одной веры. Они по своему стыдились того, что не могут протянуть бедствующим крестьянам руку помощи, отчего вгоняют их в еще большее отчаянье, и... не способны реализовать свою же программу русификации.

В исторических сочинениях движе-

ние за переход в русскую веру всегда пытались затушевать. Взять хотя бы Я. Кродзникса. Картофельному бунту в Яунбебрах этот латышский историк посвятил в 1922 году целую книгу. Но дальше событий 1841 года не пошел (может быть, помешала смерть). Вот что он писал:

«1841 год имеет большое значение в жизни нашего народа. Им открывается новая эпоха: раньше мы были стороной страдающей, теперь становимся наступающей, от пассивности переходим к активности. Мы меняемся ролями с немцами, еще деды наши пытались найти в гернгутерстве избавление от немецкого ига, но борьба в мирской жизни вспыхивает именно сейчас. Дерзновение редко приводит к немедленному успеху, становление нового уклада осуществляется не сразу, ведь и дерево не валится под первым же ударом. В том, что противнику приходится отбиваться, уже заключен успех, и немалый».

Пожалуй, эти слова относятся скорее не к дородовым схваткам, с которыми Страумите сравнивает 1841 год, а к самим родам — 1845 году. Но, по-видимому, в 1922 году в буржуазной Латвии судить о «русской» вере возбранялось. Заглянем глубже в историю и попытаемся понять, действительно ли латышский народ в 1845

году «породил урода». Может быть, уродство есть результат позднейшего воспитания? Те, кто хотел рождения урода, так долго агитировали, так настойчиво «воспитывали» новорожденного, что он сам поверил в свое уродство.

Читая записки Страумите, мы видим, что новорожденный был здоровым, жизнерадостным мальчуганом.

Цитируем:

«Перешел! Давид Баллод перешел!..»

Эта весть молнией облетела Лифляндию и Эстляндию. Она проникла в самые глухие места, леса и болота, как бы совершенно оторванные от внешнего мира, и заглянула в те ветхие жилища, куда ни разу не заглядывал даже солнечный луч.

Она произвела ошеломляющее впечатление. Все прочие заботы на какое-то время отодвинулись в сторону, в народе ни о чем другом не говорили, как только о переходе Давида Баллода или, как латыши это называли, перекрещеньи. Достоинно внимания, что никому и в голову не пришло рассматривать это событие как невзначай происшедший и отдельный случай, до одного лишь Баллода касательство имеющий; но все, не сговариваясь, почувствовали начало общего движения и словно бы перелом в собственной судьбе...



П. Баллод с семьей. 1895 г.

П. Баллод. 1887 г.



Чудесное настроение владело массой! Масса ничуть не была удивлена и даже обеспокоена своим положением наказуемых и преследуемых. Все это принималось как должное. Наказанные еще теснее прикипали душой к православию, а лютеране при виде этого желали перехода (в иную веру), будто побуждаемые к тому неведомою силою. Наказаний никто не стыдился, скорее наоборот, ими гордились не только сам наказанный, но и вся семья его.

Кого однажды уже судили, тот в собственных глазах безусловно становился православным.

Народ ликовал. Крестьян гноили в тюрьмах, беспощадно пороли, пороли везде — в городах и имениях. Но народ не брал в руки колья, косы и топоры. Нет. Если кто из выпоротых, считая себя без вины виноватым — ведь «перекрещенье» дозволено, — обращался с жалобой в суд, порку повторяли. Только теперь уже по решению приходского суда, назначавшего бунтовщику вместо обычных 40 ударов все 60. Перекрестившись, крестьянин шел домой «довольный и радостный».

«На дорогах, в кабаках, всюду было слышно одно и то же, от кабатчиков, от своих и чужих спутников — что Баллод действительно перешел, что теперь все перейти могут».

В то время не то что радио и телевидения — не было и таких газет, которые осмеливались бы об этом писать. Выходившие митавская «Латвиешу Авизес» и рижская «Тас латвиешу лаяжу драугс» молчали как в рот воды набравши — ведь они издавались пасторами. Сведения передавала народная молва, из уст в уста.

«Спокойно, тихо, без шума, с величайшей лояльностью, никого не трогая ни словами, ни делами, ни в доме, ни на дороге, латыши и эстонцы отовсюду толпами шли в Ригу принять новую веру, православие».

Новорожденный еще не знал и не ведал, что ему уготована трагическая судьба.

В надежде на лучшую долю «перекрещенцы» ликовали. Их вожди, включая Давида Баллода, были слишком мало образованными для того, чтобы предвидеть свою судьбу, стояли далеко в стороне от официальных властей и умения вести политическую борьбу, чтобы переломить ход событий.

В чем причины и движущие силы этого народного движения?

Историки не раз доискивались ответа на этот вопрос. Профессор Х. Строд указывает, что в архивных материалах и трудах историков, работавших в то время, можно проследить две тенденции в зависимости от того, к какой партии — национальной или немецкой — принадлежал пишущий:

«Члены национальной партии объясняли переход в православие глав-

ным образом местными аграрными условиями, отрицая какую бы то ни было агитацию, а документы, составляющиеся исходя из интересов немецкого дворянства, стремились объяснить это движение одной лишь агитацией».

В составе национальной партии изучению причин переходного движения больше всего внимания уделял Ю. Ф. Самарин. Он считал основной причиной неудовлетворительное аграрное положение крестьян, которых «обокрали» в 1819 году и продолжали обкрадывать впредь. Вместе с тем, опираясь на анализ гернгутерства, он приходил к выводу и о религиозной неудовлетворенности «перекрещенцев». Оценка Ю. Ф. Самарина и сегодня представляется во многом верной.

Конечно же, в основе крестьянского движения лежали классовые экономические противоречия. Люди в 1845 году буквально умирали с голоду после жестокой засухи, подобной той, что предшествовала событиям 1841 года. И даже малейшая надежда могла привести народ в движение. Надежда на землю — хотя бы путем переселения вслед евреям, как чаяли в 1841 году, или путем перехода в «царскую» веру, за чем должны были последовать облегчения, — жила в сознании каждого латышского крестьянина.

Но в такие экстремальные периоды жизни народа, когда дилемма «жить или умереть» становится не итогом жизни, не вопросом нескольких лет, а делом сиюминутным, люди особенно активно обращаются к поискам ответа на вековечный этический вопрос — «что есть добро и что есть зло», — ищут своего бога, кому решать, и апостолов его, кому вести народ к лучшей жизни, словом, ищут свою религию. Нет поэтому оснований игнорировать религиозную неудовлетворенность народа. И нельзя отрицать, что таковая была. Ее создали успехи гернгутерства.

Аграрные отношения и классовые противоречия между крестьянами, с одной стороны, и баронами и пасторами, верой и правдой служившими дворянству, — с другой, были главной движущей силой перехода в православие. Но эта сила исходила из недр народа, так сказать, снизу. Была и другая движущая сила — та, что шла сверху. Мы уже касались ее, упоминавшая стычку между национальной и немецкой партиями. За этой стычкой крылся более глубокий смысл.

Национальная партия боролась за объединение Российской империи под флагом юдной религии, одного языка. И существующее в Прибалтике лютеранство оказывало противодействие центростремительным устремлениям архитекторов империи. Его следовало сломать, и этим объясняется активность правитель-

ственных учреждений в роковом 1845 году.

БОРЬБА «ПАРТИЙ» ЗА ВЛИЯНИЕ В ЛИФЛЯНДИИ

В 1845 году в Лифляндии вспыхнула острейшая борьба, попросту война между национальной русской партией (это слово тогда не имело своего нынешнего значения) во главе с генерал-губернатором Головиным и баронской немецкой партией, под знаменем которой сплотились остзейские дворяне, пасторы, чиновники и лица, представлявшие их интересы в царском правительстве.

Линия фронта в столкновении двух партий проходила по судьбам латышских крестьян, перешедших в православие.

Бароны и помещики лихорадочно искали противоядия от народного движения. И прежде всего поливали грязью православных священников — мол, те обещают новообращенцам мирские блага. Да так настойчиво гнули свое, что Головин пошел на уступки — издал циркуляр, согласно которому всякий лютеранин, пожелавший переменить веру, обязан выучить наизусть следующую просьбу:

«Я... уезда... имения... прихода... усадьбы крестьянин... после двукратного устного увещевания заявляю, что от всего сердца и души желаю перейти из лютеранства в православие. Переходя в православие, я не требую и не ожидаю от правительства никаких мирских благ, а от помещика не жду послаблений, но перехожу в православие только для спасения своей души. После присоединения обещаю так же как до сих пор беспрекословно подчиняться законным властям, а также служить и работать для своего помещика. Обязуюсь и свято клянусь исполнять это обещание, ибо в случае невыполнения мне грозит строгое наказание. Богослужение желаю слушать на латышском языке, который я знаю. В удостоверение сказанного подписываюсь или собственноручно ставлю три креста».

Не все крестьяне после первого или повторного увещевания были способны сию «молитву» произнести, и движение за переход в государеву веру несколько пошло на убыль.

Бароны призвали на помощь и зарубежную печать — там стали писать, что будто русское правительство приговаривает «перебежчиков» посулами. Так была воздвигнута еще одна, небольшая, правда, преграда обращению: 4 января 1846 года царь издал указ о шестимесячном сроке для испытания стойкости потенциальных новообращенцев в «истинной вере». Если после того, как крестьянина двукратно увещевали, он стоял на своем, зачисления в списки православных надо было ждать полгода. За это



П. Баллод в 1861 г.

П. Баллод (в 1-м ряду слева) с группой политических ссыльных в Сибири. Начало 70-х гг.



время местные власти могли по-всякому «обрабатывать» упрямаца.

Слухи о том, что православные священники, агитируя за переход, сулят блага мирские, достигли двора, и 8 декабря 1845 года престолонаследник (государь находился на отдыхе за границей) велел сплетников изловить и предать военному суду. Но ни одного злоязычника поймано не было. Не сами ли пасторы были этими шептунами?

Бароны пытались прибегнуть еще к одному сильнодействующему средству — военной силе. Они беспрепятственно жаловались на якобы зреющие крестьянские бунты. В ответ на эти жалобы генерал-губернатор слал казаков, дабы непокорных усмирить, но, как выяснялось, слал понапрасну — крестьяне и не думали бунтовать. Даже порки за самовольное хождение в город к батюшкам не могли вызвать столь серьезных волнений, чтобы, как в 1841 году, понадобилось пускать в дело войска.

Подводя итоги двух лет, лифлянд-

ский жандармский начальник подполковник Гильдебрандт сообщал по инстанции, что за 1845 и 1846 годы в православие обращено 37 279 человек и около 70 000 записалось на переход; к сему он присовокуплял общую оценку настроения в мятежной губернии:

«Мнение мое . . . относительно необоснованных опасений лифляндского дворянства, будто движение в Лифляндии крестьян к православию будет неминуемо ознаменовано возмущениями и даже кровопролитием, подтверждается в полном смысле слова: ибо доселе спокойствие нигде нарушено не было».

Испытав все и всяческие средства против крестьянского движения, остзейцы наконец решили замолчать его — создать впечатление, что никаких религиозных беспорядков в губернии нет и в помине.

Приведем факты. Как мы уже знаем, волнения начались в 1841 году. А в официальных отчетах иная картина. Барон Г. Фелькерзам, граждан-



П. Баллод (в 1-м ряду слева) среди товарищей. С.-Петербург. 1861 г.

ский губернатор, вождь либерального крыла ливонского дворянства, в губернском отчете за 1841 год упоминает о желании крестьян переселиться в Пруссию (?!). И все. Ни слова о стремлении перейти в православие, уехать в «теплые края» и об ответных экзекуциях в назидание бунтовщикам. Столь же безмятежны отчеты за 1845 год. Никаких, по словам Фелькерзама, заслуживающих внимания происшествий или стихийных бедствий. И как бы между прочим: «Православную веру приняло около 10 000 лютеран и 12 евреев». Отчет выведен каллиграфическим писарским почерком, лишь 10 000 можно прочесть и как 1000, вроде бы ноль прибавлен потом, а в приложении № 26 (вероисповедание жителей губернии) о православных молчок.

Так вели себя остзейцы в роли морально проигравших: народ напрягал все силы, чтобы сбросить оковы многовекового ига баронов и пасторов.

Генерал-губернатор Головин был мужественным воином, но перед ловкими иезуитскими ходами немецкой партии пасовал.

В начале 1846 года он добился закрытия латышскоязычной газеты «Тас латвиешу драугс» («Друг латышей»). Во времена религиозной смуты издатель и редактор этой газеты пастор Трей пытался помочь лютеранскому духовенству сплотиться в виду угрозы крестьянских мятежей.

18 апреля Гильдебрандт доносил своему начальству:

«Нерасположение к губернатору Головину жителей Риги и особенно купцов постоянно усиливается, к чему в последнее время дало повод еще: награждение орденом бургомистра Тимма, содействие удалению из Риги пастора Трея, издававшего прекращенную ныне газету «Друг латышей», неодобрение отказа Большой гильдии на избрание в члены трех русских купцов и, наконец, ревизия городских сумм». (В последнем мероприятии усмотрели лишение остзейцев стародавних привилегий.)

В результате Головин утратил поддержку влиятельных в губернии лиц, стоявших у кормила власти. Любая его мера бойкотировалась, попытки открыть новые православные храмы встречались в штыки. Противники отвода земель под строительство упомянутых церковей доходили до самого царя; в архивах хранятся несколько таких дел, из которых видно, что бароны, аргументируя свою позицию, пускались во все тяжкие. Местные власти развернули преследование православных крестьян — не позволяли хоронить мертвых по обряду, и это еще самое малое, а коли уж ничто не помогало, лишали земельной аренды. По данным Ю. Ф. Самарина, за 14 месяцев (1 января 1846 г. — 1 марта 1847 г.) в Ливонии удалено от усадеб 152 право-

славных крестьянина, лютеран же — втрое меньше.

Да и могло ли быть иначе?

«Вся местная власть губернская и уездная, все начальники городской и земской полиции, и (не говоря о пасторах) все помещики происхождения немецкого, лютеранская вера почитается ими главною и господствующею», — констатирует Самарин, анализируя неудачи переходного движения.

В этой связи возникает вопрос: кому оно шло на пользу — национальной или немецкой партии? Не будь его, этого движения, разве осмелилась бы немецкая партия в открытую апеллировать к своим дарованным якобы Петром Великим привилегиям, которые позволяют остзейскому дворянству (и только ему) громогласно числить себя государевыми слугами в Прибалтийском крае; что же до латышских крестьян, то им отводится роль рабочей силы (былда, как нимальо не стеснясь заявляли помещики). О крестьянских правах тут и речи не было.

Прибалтийско-немецкое дворянство сумело убедить советников Николая I, что Головин не способен вступить за привилегии немецких баронов. А ведь в секретных директивах Головину, направлявшемуся в 1845 году в Ригу, прямо говорилось:

«Сохранить нерушимо всеимпостивейшие дарованные Остзейскому краю преимущества, в той мере, в какой они согласны с общими государственными узаконениями и при том с строгим соблюдением, дабы под предлогом действительных привилегий не были присваиваемы права мнимые, с государственным постановлением не согласные».

Кто в этом водвороте страстей мог рассудить, где кончатся пожалованные привилегии, а где начинаются мнимые права? Все зависело от расстановки сил обеих партий в высших эшелонах власти.

Головин проиграл. В феврале 1848 года его с почетом — по случаю пятидесятилетия — выпроводили из Риги.

В своем прощальном отчете генерал-губернатор указал на основные трудности, с которыми ему пришлось встретиться на своем посту.

«Распоряжения помещиков, требовавшие надзора со стороны правительства, были двух родов: одни имели целью противодействовать водворению в приходах православных церковей и священников, другие обнаруживали явное недоброжелательство к переменившим веру крестьянам и даже угнетение их при раздаче пособий в неурожайные годы, при требовании барщины, удалении от усадьбы и т. д.»

И с известной гордостью прибавил:

«В настоящее время между ливонскими крестьянами, среди которых до 1845-го года почти вовсе не

было православных, считаются православного исповедания латышей 38.282, эстов 62.180, итого 100.462 душ».

Обозревая эти события, нельзя не учитывать и международную ситуацию. В 1848 году в Европе повсюду шли революционные бои. В январе появился «Манифест коммунистической партии». О коммунизме заговорили и в России.

Возможно, что страх перед революцией руководил Николаем I, когда он принимал решение об отзыве Головина и назначении на этот пост ревностного защитника привилегий остзейского дворянства князя А. А. Суворова (1804—1882) — внука генералиссимуса. Не успел князь по приезде в Ливонию выслушать первое же приветствие местного чиновника, как потребовал, чтобы тот перешел с ломаного русского языка на привычный немецкий. Лучше нельзя было подчеркнуть свое благоволение к немецким порядкам и обычаям в этой Прибалтийской провинции России.

ОТЧАЯНЬЕ ПРАВОСЛАВНЫХ КРЕСТЬЯН

Положение православных крестьян Ливонии становилось все тяжелее, и началось обратное движение за возвращение в лютеранство. Ю. Ф. Самарин в своих «Окраинах России» так писал об этом откате:

«В начале 60-х годов в кругу новообращенных латышей обнаружилось очень сильное обратное движение из православия в лютеранство. Первыми признаками его были уклонения православных латышей от исповеди и причастия. Потом более или менее упорное сопротивление со стороны родителей крещению и миропомазанию их новорожденных детей по чину православной церкви, наконец стали поступать словесно и письменно просьбы о разрешении православным переходить в лютеранство, или, по крайней мере, крестить в лютеранскую веру детей, рожденных от браков лютеран с православными».

Эти просьбы доходили и до столицы, причем по многим каналам — от жандармерии, от генерал-губернатора, из православной духовной консистории.

В апреле 1864 года в Ригу прибыл посланник царя — один из графов Бобринских. Последовавший отчет графа прозвучал как гром с ясного неба:

«Из 140.000 значившихся в то время по православным спискам в Ливонии эстов и латышей, едва 1/10 часть, может быть, действительно исповедуют православную веру, остальные же никогда душою не были православными». Теперь они со слезами и «на коленях» умоляли правительство признать их лютеранами.

Синод категорически опротестовал заключение, сделанное графом Бобринским. Выдумки, мол, местных лютеранских пасторов и верных им судей. Синод поручил архиепископу Рижскому и Митавскому Платону собрать объективные сведения. Платон рьяно взялся за дело: летом объездил всю губернию, посетил 80 православных приходов, но выводов графа опровергнуть не сумел. Можно было спорить, какая часть крестьян оставалась «православными душою», но в целом картина была удручающая. Архиепископа встречали отнюдь не с восторгом.

Раскроем 5-й том «Источников по истории Латвии» (Рига, 1939). В нем помещен 30-страничный отчет об инспекционной поездке Платона. Документ составлен в канцелярии прибалтийского генерал-губернатора на основании сообщений уездных ординунсгерихтов (судов) Лифляндской губернии.

Первая неприятность ожидала его высокопреосвященство 10 июня в Лемзале (Лимбажи). Молодые лемзальцы жаловались: «Ничего другого не хотим, как только освобождения от православной церкви». По логике: коль скоро был издан закон, который соблазнял всяческими посулами их отцов перекрещиваться в православие, то не подобает ли издать закон, позволяющий выйти из лона православной церкви детям, которые не виноваты в том, что их отцы переменили веру.

Сколько гнева накопилось в семьях новообращенцев, где дети честили родителей, а несчастные не могли сказать в оправдание своему легкомыслию буквально ничего!

Лемзальский судья записал в отчете сетования одной старушки его высокопреосвященству: «Я своих детей носила крестить в православную церковь, и вот теперь они меня проклинают».

Во всех приходах выслушивал Платон одни и те же просьбы о переходе назад в лютеранство и ропот на произвол помещиков.

В Старо-Лайцене крестьяне жаловались: «Давно уже землю ждем, обманывают нас».

В Мариенбурге (Алуксне) церковь была переполнена. И снова крестьяне жаловались на преследования. Когда архиепископ отказался выслушивать дела мирские, возмущенные прихожане покинули церковь. Диалог Платона с народом не состоялся. Причиной был и языковой барьер — не выучились за 16 лет русскому. Никакой переводчик не поможет заглянуть в душу... Гнев в православных латышских семьях разгорался пуще прежнего.

Волна негодования бежала впереди экипажа Платона. В Малупе на встречу с ним собралась малая часть паствы. Трое крестьян жаловались, что поме-

щик передал землю в аренду лютеранам.

Случайно или с умыслом, но Платон оттягивал встречу с человеком, послужившим как бы первопричиной всех несчастий православных крестьян — с Давыдом Баллодом. Шел третий месяц поездки Платона (правда, большую часть августа он отдыхал в Вендене у себя на даче), и речи о выходе из православия волнами прокатывались по всей губернии и не раз хлестко бичевали великого проповедника. Ему было тогда 55. Делу борьбы за православие в Латвии Баллод посвятил 20 лет. Но силы его иссякали: свою миссию он выполнил. Теперь его терзала мысль, что тысячи земляков-новообращенцев, их дети и внуки, проклинающие своих доверчивых родителей, — что все они ополчатся на православную церковь и на него, Давыда Баллода. Это было невыносимо.

Тем временем Платон приближался к Лаудону (Ляудона). 2 сентября он прибыл в Одензе (Одзиена). В церкви собралось человек семьдесят. Архиепископ осудил отступничество от веры из мирских выгод. «В это время голос из толпы прервал речь, говоря, что такую несправедливость сделали латыши, которым лаудонский священник обещал мирские выгоды; другое лицо возвысило в толпе голос, прося освобождения от православия. Последней была Мадде Амолинг. Архиепископ обратился к ординунсгерихтеру и просил установить тишину. Господин Гринблат намеревался отпрямиться успокаивать Мадду, к которой, однако, между тем успела подойти ее мать с тем же намерением; Мадде, плюя, отвечала матери, чтоб она оставила ее в покое, так как она одна причиной всего ее несчастия», — так о пренеприятном инциденте в Одензейской церкви сообщал генерал-губернатору местный судья. После того как Мадде была вынуждена покинуть собрание, высокопреосвященство прихожан отпустил. Между тем напрасно было взывать к совести лаудонского священника — он к тому времени уже был мертв.

Глубоко несчастный, Давид Баллод скончался 30 августа — осуждаемый семьей и роднею, проклинаемый народом, оклеветанный лютеранской властью, оставленный без поддержки православной церковью.

В последний путь Баллода провожало 700 человек, вынос тела состоялся из новой церкви, год назад освященной самим архиепископом.

Церковные стены эти стоят до сих пор. Я видел их по дороге в Ляудону на могилу Баллода. В местной школе, где собран богатый краеведческий материал, о могиле Баллода никто ничего не знал. Я побрел на старое кладбище, примерно в километре от центра поселка. Могилы Баллода там не нашел, хотя первых покойников из числа православных латышей как

будто хоронили на этом погосте. Зато посреди кладбища наткнулся на ров — да-да, самый настоящий ров, наподобие противотанкового. Перекрещенных хоронили и по ту сторону рва.

Значение этого рва я понял, когда в одном из номеров старой рижской газеты «Русский» за 1860 год прочел такую заметку: «У нас с лютеранами завязалась официальная переписка относительно поминовения усопших. Один православный приход просит, чтобы ему дозволено было хотя бы один раз в год сходиться на могилу своих предков. Лютеране возражают, потому что никакими математическими выкладками нельзя доказать, что молитвы православной церкви упадут именно на трупы православных! Ведь известно, что в кладбище лютеран больше лежит, чем православных».

Надо полагать, кладбищенский ров и призван был служить преградой молитвам православных. Могилы Баллода за ним я не нашел. Отправился назад в поселок, на новое православное кладбище. Местные жители не сумели мне показать могилу Баллода. Стал я прикидывать, где бы могли похоронить первого попа из числа латышей. И где же обнаружил могилу? В самом центре погоста! На живописном пригорке. Только надгробие так замшело, что я едва соскреба ножом мох, чтобы прочитать надпись. На могиле поставлен простой дубовый крест. Стоит как ни в чем не бывало, недаром сделан из дуба.

Каждая историческая ситуация рождает героев. Движение за переход в православие выдвинуло своего вождя — Давыда Баллода. Историк латышской культуры Антонс Биркертс в своей замечательной книге «Латышская интеллигенция — борьба и судьбы» (т. 2, Рига, 1927) посвятил Давыду Баллоду похвальное слово:

«Баллод занимает весьма видное место в истории нашей интеллигенции. Его значение многогранно. Оно прослеживается в путях нашей религии и церкви, в социальном движении, в области национальной жизни, в политике».

Биркертс отмечает, что в социальном плане Баллод — первый доказательно обнаруживший себя в истории организатор и вождь латышских народных масс. Немцы презрительно именуют его агитатором. Стыдиться этого слова незачем. Биркертс добавляет — другие национальные вожди явились за ним следом: К. Валдемар, сплотивший латышей, в небольших, правда, масштабах, развернул деятельность в Эдвалене (Эдоле) в 1848 году, создатель первого латышского хора Ю. Цаунитис работал в Риге пятью годами позже (1853 г.) и тоже лишь в рамках кружка.

(Продолжение следует)

КОДА

Бегу по темному коридору. Медленно, чуть покачиваясь, ровно и легко, так, как бегать никогда не удается. Иногда даже кажется, что я отрываюсь ногами от необыкновенно мягкого пола и ненадолго задерживаюсь в воздухе. Но это не полет.

Я бегу по темному коридору, теперь бегу быстро и едва успеваю замечать картины, появившиеся вдруг на его стенах; картины едва освещены, и я бегу. Мне хорошо: тяжесть придет потом, а пока свежесть ночи ласкает меня. Наконец-то. Я вижу первый луч. Первый и единственный. Он расширяется, растет и постепенно я понимаю, что это выход из темного коридора, огромная дверь в мир, и я бегу к этой двери. Свет слепит меня, и я слышу шелест трав и звенящее пение птиц. Остается совсем немного, всего какие-то сотни метров, и я расправляю руки, раскидываю их как крылья и лечу к свету. Коридор заканчивается, обрывается, и я падаю в свет... Конец, ничего больше. Небытие.

Действие дозы кончилось. Я всегда не любила этого момента. Это самое страшное: тяжесть после всего пережитого, волшебного и большого.

Я лежу на грязном ковре в старой квартире на улице Дзирнаву и слышу, как внизу гремит трамвайный город. Не хочу вставать, не могу: просто не в силах пока двинуть ни рукой, ни ногой. Не могу даже открыть глаза: над веками раскаленные шары гудят как колокола, и слышно дыхание, прерывистое, нервное. Господи, кто же это? Не помню: и какая, в принципе, разница? Сегодня, по крайней мере.

Возможно, что завтра мне, как обычно, станет неприятно вспоминать события этого дня, а возможно, что завтра будет таким же, каким было сегодня. Это все сложно. Мне холодно, наверное, я раздетая, а по полу дует. Кто же со мной? Надо вспомнить... Не получается. Помню только грязно-желтый ковер, заляпанный, пыльный, в старой квартире на улице Дзирнаву. Здесь знакомо все: и бледно-голубые обои, и огромный диван, и треснувшее стекло окна, и этот самый ковер, и бесконечный запах коктейлей.

Когда я впервые вошла в эту квартиру, дивана еще не было. И хотя потом мы приволокли его из скупки на Суворова, но все равно по старой памяти многие предпочитают лежать на полу. Особенно во время прихода. На диване только те, кто парами. Так всегда было заведено: если не одна, то диван твой. Значит, со мной не парень?

Мама, по-моему, догадывается, кто я такая. Один раз, когда я мылась в ванной, она внимательно смотрела на мои руки. Хорошо, что у меня есть крем, а не то я бы давно стала такой, как Аля. Я держусь молодцом.

Я не хочу, чтобы мама узнала: у нее большие почки, и с ней всякое может случиться. Но если она узнает, что я могу сделать? В конце концов, она о чем-то думает,

когда я не прихожу домой ночевать. Счастье, что она не знает о квартире на Дзирнаву. И никто в семье не знает, кроме Янки. Янка один раз, тогда еще, в октябре, приходил сюда. Он сразу понял, чем мы здесь занимаемся, и дома потом избил меня. Он всего на год старше меня, и он тогда бил меня по щекам, а я боялась кричать, потому что в соседней комнате папа и мама смотрели телевизор. Он бил меня, а я ничего не чувствовала и лишь потом начала плакать. И Янка сел на колени и стал просить у меня прощения. Он знал, что прав, и я знала, что он прав, но разве я могла что-то сделать? Я училась уже на первом курсе.

Впервые я попробовала еще в седьмом классе. Тогда мы только начинали курить, и именно тогда пришедший откуда-то с Юга Иван принес с собой несколько коробочек самодельных сигареток. Я тогда была обычной, такой как все, просто чуть больше других любила гулять в центре города. Там у нас подобралась веселая компания, из которой нас осталось только двое. Тогда мы и познакомились с бродягами-хиппи, таскавшимися по дорогам и приходившим на корма в Ригу. Они рассказывали много интересного и научили нас курить клюни — самодельные сигаретки с голубым дымом и странным, непривычным запахом. Никто не знал, что значит таинственное слово «джойнт», которым они, далекие от реального мира, перебарщивали в среде своих. Мы просто не знали, что это такое, а когда привыкли, Иван, которого теперь звали почему-то Ив, объяснил нам. Мы посмеялись. Никто не верил, что это нас будет держать, никто. Но как нам было хорошо, вместе с одной-двумя сигаретками — присоединяйся. Ив уже ушел из Риги на свой Юг, когда мы познакомились с Химиком. Ив, уходя, сказал, что у Химика есть то, чего мы никогда не пробовали, но что нам обязательно понравится. И оставил нам телефон. Никто из нас не хотел связываться с чужаком, нам было хорошо вместе, но прошли две недели после ухода Ива, и мы стали мучиться, нам не хватало чего-то, начались головные боли, меня тошнило. Сигаретки Ива закончились, а сверхдозы лекарств из маминого запаса не спасали. Мы ходили из угла в угол, не зная, что делать дальше, пока кто-то не догадался позвонить Химику.

Химик появился быстро. Невысокого роста, в потертых джинсах, вечнокоричневой куртке и с узеньким кофедом, в котором лежали пакетики с машинками. Он терпеливо выслушал наши путанные речи, и в конце концов сказал, что, конечно, он может нам помочь. И в тот же вечер моя рука впервые испытала боль. Химик предложил, а точнее ввел нам коктейли собственного изготовления.

Коктейль и его действие мне не понравились. Ощущения были сильными, но неприятными, и коктейль надолго выбивал из колеи. В тот вечер я еле живой добралась до дома, и весь следующий день мне

было так плохо, что я не пошла в школу. Я уже решила, что это, видимо, последний мой прием, но через пять дней все повторилось снова. Химик был теперь все время рядом со мной; он давал мне коктейль, вернее сам вводил мне его и ничего не просил. Наши стали расходиться в стороны, и с Химиком поддерживали связь теперь четверо, и вскоре раз в три дня коктейль стал обязательным, и тогда я уже поняла особый смысл ощущений, которые захватывали меня все больше и больше. Состояние полетов искупало все остальное.

А потом началось страшное. Рыжего взяли. Он ввел коктейль прямо на улице, и в тот же вечер его подобрали в каком-то парке. Химик кричал на нас, хотя мы, в сущности, не были виноваты: он сам дал ему коктейль. И в тот же вечер он потребовал от меня платы за все, что давал мне раньше, и назвал сумму.

То, что я не могла найти ее, он, конечно, знал. Именно поэтому он и потребовал. Химик — человек опытный. Я предложил ему свои сережки — подарок папы к шестнадцатилетию, а он только посмеялся. Он погладил меня по голове и сказал, что теперь я стану медиком. И в тот же вечер его узенький кофед стал моим. И машинки тоже.

Это означало, что отныне я могла вводить коктейли. Аккуратно, тщательно приставить иглу к темноватой жилке на коже руки, дрожащей от нетерпения, от предчувствия полета.

Рыжего отпустили, но поставили на учет где-то там, и с тех пор все стали осторожными. Изменилось одно. Теперь мы вынуждены были платить за коктейли. Кроме меня. Теперь за каждую пачку разнесенных коктейлей Химик давал мне мой, желанный, способный освободить от дикой власти тех тайных сил, которые мучили меня теперь в дни, когда я не могла принять коктейль. И я начала мотаться по городу. То здесь, то там. Везде были люди, которые хотели и не могли, и все они ждали теперь меня. И я несла им то, что давал мне Химик. Я никогда не думала, что их так много. И все они платили Химику. Точнее, мне; все шло, конечно, Химику, ведь если бы я не отдавала ему все, он бы не дал мне то, я выжимала из них последнее, что у них было. Я стала мастером своего дела. Даже врач вряд ли колол лучше меня: мне приходилось все это делать несколько раз в день, иногда подряд, иногда в темноте, в подвалах и прямо на улице, и я никогда не ошибалась.

И тут я впервые попала. Довольно глупо, конечно, но что теперь изменишь? К счастью, я уже успела разнести все порции, и теперь в моей сумке оставался только один, самый чистый коктейль и моя любимая машинка. И только поэтому мне удалось соврать, что эта порция — моя, и что я купила ее у какого-то оборванца в Старой Риге.

Они, конечно, потащили меня к себе, отобрали машинку, взяли координаты, долго расспрашивали, записали адрес.

Они тоже неплохие люди: обещали ничего не говорить моим родителям. Потом пытались узнать, почему я такая. Я думала, а они сидели и ждали. Почему? Не знаю. Все вокруг серо, нет ничего нового, яркого. Книжки, музыка, и все остальное — это не наше, это нам навязали старшие, такие же серые, как и весь их мир. А наш мир иной.

У нас есть тот цвет, который они потеряли. Это ведь так просто: если тебе плохо или просто скучно, надо лишь взять в руки машинку, и отступят все заботы и горести, и, главное, не надо ни о чем думать. Будущее такое же серое, как настоящее. И лишь там — реальность.

Они выслушали меня и отпустили, сказав, что я должна лечиться, и что они будут за мной следить.

«Кому это надо?» — сказал тогда Химик. И все продолжалось по-старому.

Или, вернее, почти по-старому. Я просто окончила школу и поступила дальше. Зачем? Так, по инерции, чтобы не огорчать родителей.

На курсе я познакомилась с Юрием. Впрочем, я знала его и до этого, два раза я возила ему коктейль в грязную квартиру на Дзирнаву. Он жил там один, существовавший бог знает на какие средства. Разве это волновало меня?

Он мне понравился. У него была квартира, и мне не надо было думать, где и когда принимать коктейль. И мы стали принимать вместе, он и я. Какая разница? Никакой. Потом мы стали и вместе спать. Это не было особым открытием. Даже тот, самый первый раз. Он захотел, я отдалась. Зачем нам было усложнять наши отношения?

Это уже потом мы пробовали перед приходом, и то всего лишь несколько раз. Воистину правы люди: делать два дела сразу бессмысленно. И тогда мы решили, что либо коктейль, либо секс. Я все-таки предпочитаю коктейль.

Мне всегда нравилась борода Юры.

Самое неприятное началось в тот день, когда они съели Химику. Они остановили его машинку и заставили открыть кофёр. Все машинки были у него. И он сел. Надолго. Они, когда брали его, не знали, что делают хуже нам: ведь мы получали все через Химику. А он даже не успел ничего сказать. Мы боялись ходить к нему. И вот тогда начались страшные дни. Мы бродили по городу, страдали от отсутствия; не могли ни жить, ни дышать. Все кругом было одной сплошной галлюцинацией. И мы были на грани безумия.

Мы были готовы на все ради хотя бы одной машинки с коктейлем. На все — ради одной.

И в конце концов — через недели три, кажется, мы и нашли того человека, который теперь снабжает нас. Он, конечно, сразу потребовал платы. Пока могли, платили. Но ведь мы не миллионеры. И скоро пришлось думать, где же взять «капусту». Рыжий постоянно таскал какие-то непонятные шапки, часы, иногда кольца. У Длинного просто толстые родители, у него всегда была «капуста» на порцию. А мне пришлось плохо. Кое-что у меня было, и первое время мне помогал Длинный, но скоро я поняла, что долго так не продержусь. Я начала искать выход и тогда познакомилась с Алькой.

Бедная Алька. Она тогда была еще очень

и очень свеженькой, симпатичной, или, как говорил о ней Длинный, секси. Она только начала работать на машинку, и ей хватало одного коктейля в неделю, и раз в неделю, вечером, ее можно было видеть на Меркеля, откуда ее и таскали по своим номерам южные гости и собственные наши «ангелочки». У нее такая красивая прозрачно-белая кожа. Этого вечера ей хватало на то, чтобы раз в неделю брать порцию коктейля. Неприятно было то, что ей все время приходилось травить себя химией, все время дрожать, что один раз она ошибется и сделает что-то не так. Последствия, конечно, понятны, и явно не нужны в наши глупые 18 лет. Да и потом от кого? И что дальше?

Плохо то, что я не нашла другого, кроме Алькиного, способа. Я не такая секси, как она, зато я блондинка и не крашусь, а Рига, слава богу, привлекает гостей с Юга. Мне совершенно все равно, где, с кем, что. Даже самое отвратительное. Только пусть они платят. Я готова.

С тех пор с «капустой» стало более или менее. Конечно, не всегда удается найти желаемого, но, в общем, один из трех вечеров мой, и после него я могу пойти разрядиться в старой квартире на улице Дзирнаву.

Вот только Альку жалко. Она совсем сдает. Говорит, что от страха поймать мелкого она приняла что-то не то, а это «не то» в реакции с коктейлем доконало ее. Даже глубокие глаза поблекли, а грудь стала такой, как у Рыжего. Мы специально ставили их рядом, у нее чуть больше. Волосы у нее стали какими-то бесцветными, и кожа на руках стала дряблой. Я всегда знала, что у людей с очень светлой кожей ткани стареют быстрее.

Длинный сказал, что я теперь более секси, чем Алька. Классно. Я люблю Альку.

И хотя я теперь тоже немного похудела, но с кожей, с прической у меня все в порядке: я занимаюсь косметикой, стараюсь хорошо есть, принимаю поливитамины. Мои южане остаются довольными: я еще не стара. Мне всего 19 лет.

Я лежу на ковре в квартире Юры на Дзирнаву. Теперь я уже вошла в колею и могу встать. Я открываю глаза. На улице еще светло. Это хорошо. Удивительно, что я лежу не на ковре, а на диване, но на жесткой брезентовой куртке Длинного, и то, что давило мне в лопатку и бедро, не раздавленные окурки, а всего лишь пластмассовые пуговицы, старые, исцарапанные.

Платье на коленях поднято, но меня, судя по всему, никто не трогал. А дует потому, что большая старая рама распахнута настежь, и сквозняк гуляет по квартире.

Рядом со мной — Длинный. Он, наверное, чего-то хотел, но не успел. Это ничего, он хороший. Он еще не отошел, и я смотрю на него. Длинный сегодня работал за троих. Он первым из нас понял, что можно собирать шарики и как делать из них коктейли. Он же первым узнал, где есть поля, и сегодня мы ездили туда.

С утра он пришел прямо в Универ и сказал, что мы можем поехать куда-то за город. Длинному объяснили, что и где искать и как ехать, чтобы не остановили на полдороге. Длинный всегда был осторожен. Мы вернулись в Ригу около восьми, и он сразу приготовил коктейль, и я сама взяла в руки машинку, чтобы ввести ему. Он всегда любил, когда это делала я. Я умею.

Я встаю с дивана, открываю шкаф, вытаскиваю свое полотенце. Оно уже грязное, его давно пора стирать, но мне некогда: в этой квартире я бываю только когда беру коктейль или когда у моего партнера нет квартиры. И такие тоже бывают. И мне кажется, что этим же полотенцем пользуется Алька, когда она здесь с очередным своим хозяином, и Длинный, и Юр, и Кок, и все те, кто здесь бывает. Такие уж здесь законы.

Но, конечно, они все вытирают им лицо и руки, а нам с Алькой приходится вытираться целиком. Но ничего, полотенце еще не очень грязное, а душ я приму дома. Здесь я вымою руки и лицо вначале теплой, потом холодной водой, наложу крем, потом косметику. Иначе люди будут шараться от меня. И мама все сразу поймет.

Янка поймет даже с косметикой. Но он ничего не скажет мне. Он уже сказал все, что хотел. Он пытался отучить меня, два раза отбирал ключи от квартиры на Дзирнаву, ходил за мной везде и всюду, но и это не помогло. Кок ухитрился передать мне машинку в те дни, когда было уже совсем невмоготу, так что Янка ничего не смог сделать. Теперь он обещал сказать отцу.

Пусть говорит. Теперь уже ничего не изменить. Я не могу жить без коктейля. Я читала, что после двух лет человек неизлечим от этой болезни. Но ведь я здорова.

Я осторожно накладываю крем на кожу. Он быстро впитывается, сейчас я смогу намазаться. Главное, чтобы быстро заживали следы на руке: они заметны куда больше, чем тени под глазами.

Иногда я думаю, что же будет дальше. Может быть, Янке все же удастся остановить меня. Или они заберут меня, и тогда придется сидеть где-нибудь, и там меня будут лечить, но ведь я не хочу этого. Если же узнает отец, будет жуткий скандал, и мне придется бежать сюда, на Дзирнаву. Но я надеюсь, что все останется так, как идет сейчас.

Коктейли мне нужны все время, и меня хватит еще надолго; плохо то, что, возможно, меня никто не будет брать, и тогда придется искать «капусту» бог весть где. Лишь бы до этого я уже начала работать — тогда «капуста» будет. Тогда все будет хорошо...

Я знаю, что именно это — самое страшное. И самое безопасное для всех нас.

Я упираюсь в эту мысль, и мне становится грустно и пусто. И тогда я иду сюда, в квартиру на Дзирнаву, а здесь я не думаю о том, что будет. Почему? Потому что коктейль — лучшее лекарство от будущего и даже от настоящего.

Я укладываю свою сумку. Длинный еще там. А мне пора идти. Он очнется и пойдет домой. А ночью здесь будет Юр. Хорошо, что в квартире есть еще одна маленькая комнатка. Там бываем мы с Алькой. Почему я не видела ее уже три дня? Наверное, она на Меркеля, ждет. Сегодня ее день. Пусть он будет удачным. Я захопываю дверь, спускаюсь по лестнице, выхожу на улицу. У меня все хорошо. Я легко ступаю по тротуару. Никто не видит, что единственное, чего я хочу — это лечь и забыть, что мне 19 лет, и что однажды Янка сказал, что жизнь кончена. Я не верю ему. Ничего страшного не произойдет. Наверное, идут люди, серые, как мир. Они думают, что их мир красивее полета.

Страшно то, что они правы. Во всем. Я тоже верю, что все будет хорошо.

ЭДМУНДС РУДЗИТИС

САМЫЙ ЗДОРОВЫЙ НАРКОТИК

То, что работы было выше головы, а времени мало, и впрямь уберегло меня от бесцельных и необдуманных поступков. Труд — самый здоровый наркотик.

Анджей Вайда

В последнее время в центральных и республиканских средствах массовой информации все чаще обсуждается как будто новая для нашего общества, бог знает откуда на нас свалившаяся проблема наркомании. О ней судачат, она стала модной темой.

Однако проблема эта по меньшей мере ровесница писаной истории. Правда, на протяжении веков тут происходили, конечно же, качественные и количественные изменения, но далеко не кардинальные. Население определенного географического региона отдавало предпочтение тому или иному наркотическому веществу; число наркоманов росло или, наоборот, уменьшалось; зона распространения конкретного наркотического средства расширялась или, напротив, сужалась. Так, в Южной Америке еще в доинкскую эпоху излюбленным наркотиком был кокаин — алкалоид, содержащийся в листьях кокаинового куста; ацтеки во время религиозных церемоний одурманивали себя входящим в состав другого растения мескалином. Жители Крайнего Севера достигали слуховых и зрительных галлюцинаций, съедая сушеные мухоморы. Древние скифы вдыхали дым, шедший от посыпанной на раскаленные камни конопли. В Азии с незапамятных времен в ходу опий — высохший на воздухе млечный сок, вытекающий из надрезов на незрелых головках снотворного мака. Что касается Северной Америки и Европы, то здесь за последнее столетие преобладало курение табака и употребление кофе, натурального чая и алкоголя. А уж на этом как бы традиционном фундаменте «произросло» получившее широкое распространение во время первой мировой войны применение снотворных, а тридцатые годы — стимуляторов, и наконец после второй мировой войны началась эра транквилизаторов, уменьшающих чувство напряжения, тревоги, страха.

В общем, во все времена и во всех странах некоторой части общества (числом то поболее, то поменее) было присуще влечение к наркотикам. Отсюда следуют три вывода. Во-первых, многовековая история и широкое распространение наркомании наводят на мысль, что в основе ее лежат некие общечеловеческие предпосылки («вечный» фактор). Во-вторых, колебания доли наркоманов по отношению ко всему населению в различные эпохи и в разных странах свидетельствуют о влиянии конкретных социально-экономических условий («современ-

ный) фактор). В-третьих, то обстоятельство, что нигде и никогда порок не поражал все общество, доказывает важность индивидуальных различий между людьми («индивидуальный» фактор).

Может показаться невероятным, но общечеловеческий фактор связан с выделением гомо сапиенса из животного царства, с появлением и развитием разума. Осознание своего индивидуального «я» и вместе с тем сложности окружающего мира, неумение достаточно хорошо ориентироваться в происходящем, конфликты с ближними, обществом и государством, трудности и драмы обыденной жизни, неожиданные, непредсказуемые болезни и уродства, гнетущее неведение, малодушие, страх перед старением и неизбежной смертью — все это подталкивает даже высокоразвитый интеллект к самообольщению и самообману: невозможность влиять на ход событий побуждает искать способы изменения своего физического самочувствия и душевного состояния, иного восприятия окружающей обстановки, другого отношения к людям и событиям. В этом смысле причины употребления наркотических веществ едва ли не равнозначны причинам, понуждающим человека обратиться к религии; истина, заключенная в марксовом выражении «религия есть опиум народа»*, только подтверждает существование знака равенства и одновременно обратной связи между этими двумя явлениями.

Важнейшими социальными факторами наркомании следует считать усиление в обществе тенденций обезличивания, безыдейности и безответственности.

Корень обезличивания — в уменьшении роли семьи, исчезновении родовых традиций, историческом беспамятстве и пренебрежении опытом предыдущих поколений, стандартизованном всеобщем образовании, миграции населения, стирании местных различий, механическом характере труда в больших коллективах, подавляющем и «стригущем под одну гребенку» влиянии массовой культуры и средств массовой информации.

Безыдейность может порождаться самыми явлениями в обществе на фоне бурного научно-технического прогресса, чрезмерной концентрации и централизацией политической и экономической власти, бессилием не то что отдельно взятых индивидов — целых народов перед реальной угрозой атомной войны или ядерным шантажом, разочарованием в ценности терпящего крах религиозного либо философского движения, вульгарно-материалистическим взглядом на мир, недостатком свежих идей и сомнениями в будущем.

Буеранг безответственности — это результат в чем-то непродуманной опеки со стороны государства и общества над всяким его членом. Доступность бесплатного образования и бесплатной медицинской помощи, среднестатистический рост материального благосостояния, обгоняющий рост производительности труда, ослабление борьбы за существование, увеличение ресурсов свободного времени, помощь одиноким матерям в воспитании детей, гарантированное обеспечение в старости — все эти безусловно гуманные и необходимые вещи оборачиваются для незрелого в духовном и социальном отношении человека почти что безбрежной личной безответственностью.

Еще больше причин связано с индивидуальным фактором. Формированию склонности к наркомании способствуют: наследственная или приобретенная в результате болезней и травм головы умственная недоразвитость, ошибки семьи и школы в воспитании ребенка, низкий уровень морали и нравственности индивида, отсутствие положительных идеалов и даже какие бы то ни было интересы вообще, нереализованные по-

тенции или неосновательные претензии человека, неоднократная психическая травматизация и стрессовые ситуации, телесные недуги, сопровождающиеся болями, бессонницей, нервным возбуждением или депрессией, неудавшаяся семейная жизнь, ассоциальные наклонности в характере (наркомания как протест против общества), недостаток ярких чувств и приятных ощущений и переживаний, скука, одиночество, отращивание к жизни.

Понятно, что перечислять подобного рода причины — как «вечные», так и связанные с определенной эпохой и конкретным индивидом — можно долго. Ясно, что они переплетаются, находятся во взаимодействии между собой и твердо отнести их к той или другой группе нельзя. Этот схематический, упрощенный перечень мне понадобился главным образом для того, чтобы продемонстрировать всю сложность проблемы. И убедить, что взгляд, будто в основе распространения наркомании лежит всего-то незнание ее последствий, по меньшей мере наивен, как близоруко и мнение, что в борьбе с ней многого можно добиться усилением разъяснительной, то бишь, санитарно-просветительной работы: чтением лекций, публикацией статей и брошюр, показом кинофильмов. Это так же наивно, как полагаться только на высококачественную медицинскую помощь наркоманам или ужесточение законодательства.

Очень важно понять, что наркомания отнюдь не выходит из ряда чисто человеческих желаний и стремлений, это и не инфекция, которой заболевает все население в некоем эпидемическом очаге. Наркомания заполняет собой вакуум, образовавшийся там, где до тех пор господствовало или какое-либо другое наркотическое вещество, или наркотицизирующая человеческую психику (вызывающая духовный подъем, утешительная, одурманивающая) идея либо деятельность. И наоборот — влечения к наркотикам практически не наблюдаются у людей, верящих в определенную идею, идущих к конкретной цели, одержимых работой, добивающихся жизненного успеха, удовлетворенных собою и пребывающих в душевном равновесии. Им этот «костыль» не нужен.

Возникает вопрос — почему же люди прибегают к химическим наркотическим средствам, когда вокруг столько естественных, безвредных для здоровья и общественно признанных возможностей изменить свое настроение? Если не считать обреченных на бездействие инвалидов, неизлечимых и агонизирующих больных, а также лиц с явно ущербной психикой (наклонностями к извращениям или самоубийчеству), то для оставшегося большинства решающим аргументом является то сравнительно ничтожное усилие, какое требуется для употребления наркотика. У всех потенциальных наркоманов одна общая слабость — руководствуясь самочувствием и мгновенными эмоциями, они идут по пути наименьшего сопротивления. Для выдающихся достижений в работе, успеха, карьеры, для того, чтобы стать знаменитым ученым, завоевать титул чемпиона в большом спорте, добиться взаимности любимого человека, нужна ясная целеустремленность, необходимы концентрация воли, терпение, упорство, способность не пасовать перед многочисленными трудностями — и это, заметьте, без твердой уверенности в том, что замысел воплотится в жизнь. «Раздавить банку» или «сесть на иглу» намного проще. И с гарантией немедленного кайфа — приятный дурман в голове, повышенное настроение, сознание вины куда-то улетучилось, заботы отошли на второй план, все существо погружено в комфорт, физический и душевный... Можно, конечно, осуждать это глубоко человеческое (биологическое) качество — поиски самой скорой, доступной и простой возможности (пусть даже абсолютно бесперспективной и крайне опасной) улучшения самочувствия, но глупо и смешно не брать его в расчет, организуя борьбу с наркоманией.

И еще. Медики знают, что наркоман при отсутствии привычных «колес» без труда «пересаживается» на другие или употребляет заменитель, суррогат. Это хорошо знают

врачи соответствующих больниц: на какие только ухищрения не пускаются содержащиеся в изоляторах «чистые» наркоманы, чтобы выманить у доктора или дежурного персонала абы какой психотропный аппарат, способный хоть немного улучшить самочувствие! Пренебрегать этим известным в наркологической науке положением мы не вправе.

Даже алкоголики, у которых привычка и зависимость от крепких напитков несравненно слабее, чем у наркоманов, употребляющих опий или его препараты, даже они, бросив пить, нередко переходят на транквилизаторы, психостимуляторы или хотя бы увеличивают ежедневную дозу выкуренных сигарет, количество выпитого натурального чая и кофе. Давно известен такой (применяемый в очень тяжелых и трудно поддающихся лечению случаях опиомании) прием, как сознательное «спавивание» больного, то есть превращение его в наркомана с влечением к этиловому спирту, так как лечить затем хронический алкоголизм легче.

Один существенный нюанс — никакая серьезная и планомерная борьба с наркоманией невозможна, пока не понято и до конца не усвоено, что это не первичное, а вторичное явление. Рост или уменьшение числа наркоманов как в зеркале отражают состояние общественного здоровья, все его явные и скрытые социальные, экономические и идеологические достижения и пороки. Вот почему наметившаяся в последнее время тенденция выдвигать наркоманию за чисто медицинскую проблему и едва ли не всю ответственность за ухудшение наркологической ситуации взваливать на плечи медиков не только нелогична, но вредна и опасна, так как вводит общественность в заблуждение. Все это могло бы вызвать разве что горькую усмешку, выскази упреки в адрес медиков родственники больных или отдельные некомпетентные журналисты, — увы, врачей попрекают и высокопоставленные должностные лица, а это гораздо хуже. Но ведь какой абсурд — все равно что на войне в непомерном числе убитых и раненых винить врачей! Все, что может медицина в отношении наркоманов — это оказать первую помощь пострадавшим, притом не всегда успешную и почти всегда только частичную, ибо большинство причин, предопределивших пристрастие пациента к наркотику, никуда не денутся, и во всяком случае не во власти медиков их устранить.

С течением времени у нас произошли изменения в употреблении алкоголя: переход к напиткам с повышенным содержанием спирта, все более частое приобретение алкоголя на вынос, распитие его в неподобающих местах и в неподходящее время (как правило, в рабоче). Каждая из этих тем заслуживает специального очерка — интересно было бы проанализировать, как еще в довоенные годы выпускаемые промышленностью алкогольные напитки потеснили слабые (с небольшим содержанием спирта) домашние вина и напитки или продукцию местных пивоварен и винокурен, как во время войны расцвело, а в послевоенные годы продолжалось самогонное варение, какую роль в дальнейшей алкоголизации бывших солдат сыграли выдававшийся на фронте спирт и относительно низкие цены на водку в пятидесятых и шестидесятых годах, — в рамках одной статьи все это обозреть трудно.

Но хотелось бы поговорить о ликвидации старинных кабаков, а также буфетов, закусокных, чайных, об изъятии алкогольных напитков из столовых и открытии специализированных винных магазинов. По моему мнению, эти меры не обуздали, а расширили пьянство, породив самые уродливые его формы и заложив прочную основу для «штампования» хронических алкоголиков. Фактически остались только два варианта приобретения алкоголя и его употребления вне дома: рестораны и кафе для «чистой публики» (материально лучше обеспеченной) и магазины для «простого человека». Последнему ничего другого не остается, как распить взятую в магазине бутылку тут же за углом, за штабелями досок или грудой кирпича, в парке на скамейке или в

* Это высказывание К. Маркса обычно цитируется в урезанном виде, из-за чего искажается смысл. Приводим соответствующую фразу: «Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бесцельного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа». — Прим. пер.

кустах. Как видим, материально хуже обеспеченные люди поставлены в униженное положение (выпивать в грязной подворотне, под косыми взглядами прохожих, мало чести), с изрядной примесью психотравматизации (с точки зрения милиции и дружинников они ведь числятся отныне злостными нарушителями общественного порядка). О какой-то там «культуре застолья» вообще уже говорить не приходится. Более того, этих людей не только в прямом смысле слова прогнали из-за стола, но и лишили реальной возможности пить в розлив, заставляя наспех тянуть из горлышка, к тому же им теперь недоступны горячие и даже холодные закуски.

О том, что пить не закусывая вредно, необразованный народ знал еще в старину, и эта коленами проверенная истина нашла однажды официальное признание в законодательстве, точнее в одной из самых рациональных программ борьбы с пьянством — Гетеборгской системе, введенной в 1865 году. При этой системе категорически запрещалось продавать алкогольные напитки без сопроводительной горячей закуски. Такая позиция полностью обосновывается научными данными: хронический алкоголизм развивается в том случае, если пятая часть суточного калоража приходится на алкоголь (т. е. при дневной норме 3000 килокалорий — 600 ккал, или 200 г 40-градусного напитка). Можно начать научный спор, являются ли тут красной чертой 20 процентов или больше, но одно безусловно — у нас многие жертвы алкоголизма долю получаемых с крепкими напитками калорий постепенно, при неполноценном питании, все увеличивали и увеличивали, перешагнув сначала за опасную черту, затем достигнув 50, а потом уже и 100 процентов.

Могут спросить — отчего же эти «страдальцы» не употребляли купленные в магазине алкогольные напитки дома? Во-первых, оттого, что по ряду причин делать это не осмеливались: не будучи еще алкоголиками, стеснялись детей, боялись конфликта с женами и т. п. Во-вторых, у многих просто не было такой возможности — в разъездах, командировках, вдали от дома. И в-третьих, потому — и это азбучная истина наркологии — что для употребления алкоголя нужна компания, поскольку людям с алечением к нему присущ ярко выраженный коллективизм (можно сказать «стадность», но от этого дело не меняется). Именно поэтому закрытые кабаки вызвало к жизни многообразие, уродливые и крайне живучие имитации этих заведений — «кабаки под крышей» (в квартире алкоголика, котельной, деревянном сарае, на складе) и «кабаки под открытым небом» (в парке, дворе, на берегу водоема). Кроме того — не станем это отрицать — кабаки, чайные, буфеты исторически никогда не существовали только как распивочные, но служили и местами встреч, где соседи, родственники, сослуживцы, друзья детства, просто случайные знакомые могли посидеть после работы, потолковать о событиях, обсудить новости, похвастать успехами, поговорить на невзгоды, посоветоваться...

О ценах на алкогольные напитки. Какие цены считать оптимальными? С одной стороны, низкие способствуют росту потребления алкоголя. С другой — высокие толкают любителей «забыться и развлекаться» к суррогатам, к иным наркотическим веществам или самогонварению. Первое мы видели в 50—60-х годах, второе видим сейчас. Сначала малоимущие, а с дальнейшим ростом цен — и люди среднего достатка начинают употреблять суррогаты алкоголя (денатурат, политуру, одеколон, спиртосодержащие медикаменты), а затем переориентируются на непривычные до тех пор наркотические вещества. Само собой понятно, такую переориентацию облегчили и ускорили низкий уровень всеобщей морали, длящегося уже годами некультурное асоциальное потребление алкоголя довольно значительной частью нашего общества и сформировавшееся под влиянием такого способа «питания» циничное отношение к любым высокоидейным понятиям и критериям, глухота к призывам вести здоровый образ жизни.

Нынешняя конкретная наркологическая ситуация внушает мало оптимизма. Статистические данные о сокращении продажи алкоголя в торговой сети не включают в себя рост потребления парфюмерных изделий, спиртовых лекарственных средств, технического спирта, самогона и браги, поэтому меня такая статистика не очень-то убеждает. Меньшее число пьяных в общественных местах — результат усиления работы милиции после соответствующих правительственных постановлений и отражение давно известной людской способности приравливаться к любым изменяющимся условиям; как говорят наркологи, «теперь в моде пьянство под одеялом».

Учета потребляемых не по прямому назначению всевозможных медикаментов, а также средств бытовой химии и наркотических веществ собственного приготовления (из мака и конопли) не ведется, приходится опираться на допущения.

Насколько опасно сложившееся положение, можно убедиться в наркологических больницах, профилакториях, там, где отбывают наказание алкоголики, к которым была применена 57-я статья — о принудительном лечении в местах лишения свободы. Еще лет десять — пятнадцать назад тут лечились почти что одни больные хроническим алкоголизмом, а пристрастившиеся к каким-либо другим веществам наркоманы или токсикоманы выглядели на этом фоне белыми воронами. (Токсикомания — болезненная зависимость от веществ, официально не зарегистрированных в качестве наркотиков.) Наоборот, сегодня белой вороной грозит стать «чистый алкоголик». Или, как с грустной иронией замечают наркологи, «поступление в больницу человека, употреблявшего только купленные в магазине алкогольные напитки, для врача чуть ли не праздник!»

Большинство больных, поступающих в стационары с диагнозом «хронический алкоголизм», по сути уже превратились либо не сегодня-завтра превратятся в политоксикоманов (людей, одновременно или попеременно употребляющих несколько причисляемых к наркотикам веществ). Арсенал средств, позволяющих достичь опьянения, растет с каждым днем: ныне в этом перечне значатся одеколоны всех марок, лосьоны, духи, средства ухода за волосами и против перхоти, аэрозоли для освежения воздуха, крахмаления белья и против насекомых, дезодоранты, средства для чистки стекол, все аптечные настойки и «пузырьки» для компрессов и натираний, препараты от астмы и паркинсонизма, стимуляторы и психостимуляторы, таблетки от кашля, капли и мази от насморка, импортные пасты для мытья ванн и чистки раковин, стиральные порошки, всех видов лаки, клеи, политура, разумеется, чефир и т. д. и т. п. Это «богатство» занимает все более прочное место в «репертуаре» алкоголика и применяется им в зависимости от обстоятельств: в ожидании, пока откроются винные магазины, для усиления эффекта от выпивки и более разнообразных ощущений, чтобы побыстрее уснуть, чтобы опохмелиться.

О составе многих вошедших в оборот веществ (особенно изделий бытовой химии) нет никакой информации, и это чрезвычайно усложняет ситуацию: врач не только не знает противоядия при тяжелом отравлении ими, но и не способен предсказать их действие на организм. Одновременное употребление нескольких подобных веществ — причина растущей трудностей с оказанием первой помощи наркоману. К тому же больные часто не могут указать, чем они пользовались: что-то такое мерещится спутанному сознанию, но разве они заинтересуются, какие таблетки или какую жидкость предложил им некто «из нашей коды!»

Не меньшую проблему представляет собой лечение таких больных после того, как острый период миновал, — отучение от вредной привычки. Настоящим «золотым веком» наркологии кажутся теперь давно прошедшие времена, когда «водка была дешевой, бери — не хочу» и почти у каждого алкаша был любимый напиток: пиво ли, беленькая, ликер, коньяк, а то и шампанское. Воспитание отвращения именно к этому зелью (аверсионная терапия, от пр. averio — противво-

положный) уже закладывалась основа последующего воздержания, оставалось подкрепить эффект психотерапией. «Серебряным веком» следовало бы считать период, начало которому положило смешивание разных напитков и широкое распространение дешевых крепленых вин. В «бронзовый век» неразборчивость достигла такой степени, что к стандартным напиткам стали примешивать суррогаты алкоголя. Но и тогда у наркологов был один конкретный враг — более или менее очищенный этиловый спирт. Больных лечили медикаментами, после приема которых употребление градусных напитков представляло угрозу для жизни, поэтому была надежда на выздоровление. Сегодня, с расцветом неограниченного употребления очень разных по своему химическому составу и далеким от алкоголя веществ, эффективность имеющихся в распоряжении медиков средств лечения становится, скажем так, все более проблематичной. Сомнителен успех даже такого — когда-то крайнего — способа, как «вшивание ампулы», потому что больной, не осмеливаясь больше прикладываться к рюмке, тем не менее продолжает «хлебать с утра до вечера чефир, закусывать таблетками и жить в одном сплошном кайфе». Остается психотерапия, но этот бесконечно трудоемкий и «требующий высочайшей квалификации метод на многих больных все же не оказывает никакого воздействия, и, что не менее важно, от врача тут требуются не только знания и чуткость, но врожденные психотерапевтические способности, тонкая интуиция, привлекательная внешность, respectable вид, приковывающее внимание больного жесты, манеры, походка, эмоционально насыщенные интонации, тембр, модуляция голоса и т. д. Короче говоря, белого халата и врачебного диплома психотерапевту мало — нужна яркая индивидуальность, нужна личность, обладающая способностью к внушению.

Пока мы смутно представляем себе всю тяжесть последствий расширяющегося употребления суррогатов алкоголя и наркотиков. История «сухого закона» однозначна: через несколько лет уменьшенного потребления алкогольных напитков (пока шла постепенная переориентация и привыкание общества к новой ситуации) оно не только достигало прежнего уровня, но превышало его. В США «сухой закон» был введен в 1919 году, но уже в 1932 году потребление алкоголя заметно превысило отметку, с которой был введен запрет. Опыт предостерегает: по прошествии ряда спокойных лет резко возрастает преступность, учащаются несчастные случаи, отравления, травматизм, увеличивается число самоубийств (в годы «сухого закона» смертность в Нью-Йорке подпрыгнула с 13 до 86 человек на тысячу населения), наблюдается еще более глубокое падение нравов и общественной морали, процветает подпольное производство алкогольных напитков и наркотических веществ, в продаже появляются различные их подделки, усиливаются «кутечка» и хищение медикаментов из аптек, больниц, с фармацевтических фабрик и аптечных складов, махровым цветом распускается спекуляция — на «черном рынке» пахнут такими гигантскими прибылями, что возможный куш оправдывает любой риск, и соблазн быстро разбогатеть оказывается сильнее страха наказания, пусть самого сурового. Если говорить о неалкогольных наркоманиях, то многие американские специалисты-наркологи, не отрицающие, например, иммиграции чужестранцев и других важных социально-экономических факторов, все же убеждены, что отрицательные последствия «сухого закона» ощущаются в США и поныне — наркоманы, ставшие таковыми в 20—30-е годы, продолжают воспроизводить новые поколения наркоманов.

Замалчивать эти исторические факты, утаивать всю сложность проблемы преступно — ведь тем самым мы бы дезинформировали общественное мнение, надели на глаза слоры, стали питаться розовыми иллюзиями, которых и без того достаточно в статьях руководствующимся конъюнктурными соображениями флюгер-журналистов и в письмах несведущих читателей, облюбовавших штампы вроде «мы многого достигли», «улицы стали чище,

в парках стало тише», «заметно расширился ассортимент безалкогольных напитков и соков», «начальник цеха отметил укрепление трудовой дисциплины во вверенном ему коллективе».

Нельзя не говорить о тех тревожных симптомах (пока это отдельные случаи, но становящиеся все более частыми), которые заметны уже сегодня: распространении наркотиков или веществ родственного действия среди подростков, употреблении стимуляторов, транквилизаторов и галлюциногенов на дискотеках, превращении безалкогольных кафе в «сборные пункты» наркоманов, покупке или отборе силой рецептов у нервных, психических и прочих больных по дороге из поликлиники (диспансера) в аптеку, зачатках подпольного производства и нелегального бизнеса (причем сразу в межреспубликанских масштабах), попытках наркоманов и сбытчиков наркотика устроиться на работу на фармацевтические предприятия и склады, чтобы похитить оттуда «готовые» или «переработанные» медикаменты. Заметьте — если похищаются медикаменты в фабричной упаковке, то ущерб наркоман наносит предприятию и самому себе, а если имеет место «переработка», то урон терпит и все общество, так как на складе недостачи не будет, но в пачке таблеток и в ампулах окажется отнюдь не то, что выписал больному врач. И не надо быть врачом, чтобы понять последствия поступления в аптеки, больницы, на станции скорой помощи таких псевдомедикаментов.

Надо ясно отдавать себе отчет в том, что распространение нарко- и токсикомании открывает ящик Пандоры, и несчастья не будет конца. Установить, что человек употребляет наркотик, нелегко. Если внимательные родители, педагог, начальник, автоинспектор почти всегда безошибочно скажут, выпил ли ребенок, ученик, работник, шофер бутылку пива, то соответствующая (такая же ничтожная) доза наркотика не может быть обнаружена без специальных химических реагентов даже опытным экспертом-наркологом. Но это не значит, что принявший пару таблеток транквилизатора или галлюциногена ученик на улице, рабочий за станком, шофер за рулем будет подвержен меньшему риску попасть под транспортное средство, вызвать аварию в цеху или на автодороге. Начало наркомании большей частью остается незамеченным даже родными и близкими больного (в отличие от алкоголизма, трагедия которого развивается на глазах у людей), и пока не будет создана экспертная служба, мы можем лишь предположительно утверждать, что уже сейчас причиной некоторой части бытовых травм, несчастных случаев на работе и «на трезвую голову» совершаемых дорожных аварий является большая или меньшая доза наркотика. А как непростое найти сам наркотик! Если пьяница всячески изоцируется, пряча от жены недопитый стакан водки, то наркоман может безмятежно прогуливаться по улице среди бела дня с сигаретой в зубах, и кто узнает, что количество наркотика в его «безобидной» пачке сигарет по воздействию на организм равнозначно содержанию грузовика с водкой. Трудно предотвратить употребление наркотика — вожделяющий сунул руку в карман и украдкой бросил в рот таблетку. Тяжело бороться с получением и производством наркотических веществ (несравненно труднее, чем с самогонноварением). Нелегко хотя бы приблизительно установить распространенность нарко- и токсикомании, уговорить наркомана лечиться, лечить его и уж намного труднее — вылечить. Чтобы осознать масштабы трагедии, достаточно посмотреть в глаза несчастной матери наркомана. В них и неизбывная боль, и сомнение, и разочарование, и отчаяние, горячая мольба о помощи и безысходность — в глазах редкой матери алкоголика отразится такая гамма переживаний. Недаром зарубежные ученые именуют наркоманов «опустошенными людьми», а наркотик — «белой смертью». Эта жуткая — безнадежность и бессильная — опустошенность, когда ежедневно видишь нескончаемую трагедию самого родного человека, и читается в глазах матери наркомана.

Напршивается вечный как мир вопрос — что делать? Ответ один — продолжать многовековую борьбу за здоровый образ жизни, ясное сознание, физическую и духовную активность каждого члена общества. И еще — рассматривая любой из аспектов этой труднейшей проблемы, сохраняя чувство реальности: не внушать иллюзий самим себе и не обманывать других.

Прежде всего, ставя целью добиться воздержания от любых наркотических веществ (включая алкоголь), надо считаться с известным процентом «брака», так как абсолютная трезвость в масштабах всего общества, по-моему, недостижима. К идеалу, конечно, стремиться надо, однако исторический опыт учит, что никогда еще определенная часть людей не обходилась без самообмана — религиозного, политического, наркотического, и сегодня нет никаких основательных причин полагать, что человеческая природа изменилась столь кардинально, чтобы все и повсюду в своем поведении отныне руководствовалась логикой и исходила только из научных доводов. Яркое тому свидетельство — употребление все того же печально знаменитого алкоголя, которое продолжается вот уже около 10 000 лет, и почти столько же длящаяся борьба с ним, в которой использовались самые драконовские меры, в том числе и смертная казнь (в древнем Китае, Индии, античной Греции, империи франков и др.), и результатом которой было... завоевание алкоголем позиции самого распространенного и употребительного сегодня наркотика в мире.

Следует понять, что все попытки остановить растущее использование суррогатов алкоголя и наркотических веществ лишь одним устроением контроля и ограничением продажи обречены на неудачу. Продавая одеклон по флакону в одну руку — все равно в таком городе, как Рига, за полчаса можно окупиться в центре так, что портфель лопаться будет от одеклона. Полностью изъять из продажи несколько сот наименований парфюмерной продукции, необходимые большим медикаменты, а также предметы бытовой химии попросту нереально. Хотя бы потому, что пришлось бы отказаться и от бензина — токсикоманы вдыхают и его пары. А если все названное тем не менее запретить, останутся ведь самогонноварение, домашнее пиво, вино, бражка, уже освоенная наркоманами и достаточно распространенная технология получения героина и марихуаны на кухне и, что еще опаснее, огромный резервуар неизвестных нам сейчас химических, биологических и лекарственных веществ, которые если пока и не применяются для одурманивания, то могут стать употребительными в любой момент. А если довести запретительный раж до абсурда, убрал с глаз долой буквально все соблазны, так ведь останется воздух, его-то наркоманы-эски давно научились использовать (вводят в вену) для имитации кайфа.

Взвешивая все эти соображения, невольно приходишь к выводу, что перед нами замкнутый круг: самый простой и наиболее радикальный способ борьбы с распространением неалкогольных наркотических веществ и суррогатов алкоголя — их вытеснение дешевыми и легко доступными алкогольными напитками. Но — «тут мы уже были», это вариант пройденный, бесперспективный, по крайней мере сегодня и в ближайшем будущем. Он не проходит ввиду чересчур большого числа хронических алкоголиков и приближающегося к нему количества бытовых пьяниц в нашем обществе, абсолютного отсутствия культуры питья, все еще низкой трудовой дисциплины, неразвитости общественного мнения, бесконечного множества требующих решения социально-экономических проблем. Словом, курсу на сокращение продажи алкогольных напитков альтернативы нет. А вот структуру продажи надо пересмотреть, притом обязательно, и так, чтобы в процентном отношении большая часть напитков продавалась в розлив, то есть для употребления на месте и непременно с закуской, а не на вынос и не для того, чтобы пить не закусывая.

Далее. Надо срочно пересмотреть работу существующих наркологических больниц, профилакториев и колоний для преступников,

иначе эти заведения грозят превратиться в постоянные очаги распространения нарко- и токсикоманий, попадая в которые, «чистые алкоголики» (употребляющие только градусные напитки) или нарушители закона постепенно втягиваются в компании токсикоманов. Как больницы, так и лагеря для заключенных должны быть разделены по меньшей мере на три совершенно изолированные одна от другой зоны (блоки) — для «чистых» алкоголиков, алкоголиков с склонностью к токсикомании, токсикоманов и наркоманов. Необходимо повысить также зарплату медицинскому персоналу и работникам охраны. Зарплата должна быть такой, чтобы человек дорожил местом и не соглашался подрабатывать поставкой наркотических средств больным или заключенным. Более суровые наказания «поставщиков» приведут только к дефициту квалифицированных кадров и появлению вместо них авантюристов и деклассированных элементов. Но периодически, через несколько лет работы, персонал такого заведения должен целиком смениться во избежание морального упадка, характерного для многих работающих в подобных местах.

Надо укрепить движение трезвости, для чего нужны неотложные меры: во-первых, выдвинуть (точнее, позволить выдвинуться) к руководству самых активных, идейно убежденных трезвенников (а не функционеров, занятых делопроизводством), и во-вторых, оказывать этому движению достаточную материальную поддержку. Источником средств могут быть государственные фонды — отчисления от прибыли, получаемые в результате продажи алкоголя, и от благотворительных театральных спектаклей, концертов, выставок, мероприятий. Без активного, охватывающего альтруистическим фанатизмом руководства и прочной материальной базы это движение будет прозябать, не находя в обществе никакого отклика.

Более целенаправленной должна стать антиалкогольная пропаганда. Пока у нас не введен «сухой закон» и алкоголя потребляют еще довольно много, до тех пор неразумно (и, заметим в скобках, неубедительно для большинства) настаивать чуть ли не в категорической форме на абсолютной воздержанности всего общества. Гораздо большее внимание следует уделить подростковому и женскому алкоголизму, надо сосредоточиться на группах лиц, не имеющих права пить никогда и ни при каких обстоятельствах, — малых детях, учащихся, молодежи, беременных и кормящих женщинах, хронических алкоголиках... В антиалкогольной пропаганде чаще надо прибегать к влиянию и авторитету популярных в народе, уважаемых личностей — писателей, артистов, художников, спортсменов, ученых, кинозвезд и звезд эстрады и т.д. Осуждение ими алкогольной и неалкогольной наркоманий имеет большое значение, поскольку опыт показывает, что речи и статьи врачей-наркологов, чья известность не выходит за пределы узкого круга, должного эффекта не дают, их энтузиазм расценивается не как проявление убежденности, а как выполнение служебного долга.

Хорошо бы усилить воспитательную работу в школах. Надо повысить трудовую дисциплину, контролировать поведение молодежи на дискотеках, разоблачать и сурово наказывать сбытчиков наркотических веществ. Следует выступать против такой индустрии развлечений и времяпрепровождения, которые перерастают в организованную бездельность. Необходимо устранить недостатки в идеологическом воспитании. Надо перекрестить каналы утечки наркотических веществ с фармпредприятий, из аптек и больниц. Все хронические алкоголики и неалкогольные наркоманы должны быть взяты на учет. И все же...

И все же эти меры не выйдут за рамки косметических улучшений, пока не появятся убедительные симптомы оздоровления всей нашей общественной жизни — не только культурной, но и социально-экономической.

Всеобъемлющая перестройка — единственное действительно эффективное средство борьбы с наркоманиями. И плюс работа — самый здоровый наркотик.

«МЫ УМРЕМ НЕ В ПАРИЖЕ...»

... А стоит ли умирать в Париже?

Этот вопрос прозвучал на одном из поэтических вечеров, после того как Наталка Билоцеркивец прочитала стихотворение с эпиграфом из Сесара Вальерхо: «Я умру в Париже в четверг вечером».

«Мы умрем не в Париже, — писала поэтесса, — теперь я наверняка это знаю. В провинциальной постели, кишащей слезами и потом. И твоего коньяка не подаст тебе никто, я знаю. Ничьим поцелуем не будем мы утешены. Под мостом Мирабо не разойдутся круги тьмы. Слишком горько мы плакали и оскорбляли природу, слишком сильно любили, любовников посрамляя этим, слишком стихи писали, поэтами пренебрегая. — Никогда они нам не позволят умереть в Париже, и воду под мостом Мирабо окружают плотным конвоем» (подстрочный перевод).

Увы, поэтессе пришлось отвечать на вопрос, разясняя, что речь идет вовсе не о том Париже, где богачи пьют коньяк, а безработные умирают под мостами, речь идет вообще не о географии и политике, а о культуре, о системе конвенциональных символов, среди которых «Париж» — это, безусловно, столица, но столица искусств, столица художников и поэтов, своего рода Мекка, в которую мы все осушествляем если и не реальное, то во всяком случае мысленное культурологическое паломничество. В этом смысле «Париж» противостоит, конечно, не Киеву, Риге или Москве, а **ПРОВИНЦИИ**, убожеству и унылости духовной, культурной, эмоциональной жизни, — и находится эта «провинция» может где угодно, в том числе и в самом Париже.

Но почему проблема провинциализма, переживание ее как своеобразного психологического комплекса именно для украинской литературы столь характерны?

Вряд ли во всей Европе найдется еще один столь многочисленный народ, о существовании которого в Мире было бы почти неизвестно, не говоря уж о его литературе и искусстве. Вряд ли найдется народ со столь мизерным количеством интеллигенции, если иметь в виду, разумеется, интеллигенцию, разговаривающую на одном языке с народом. Не оттого ли один из самых «народных», как принято считать, и «обшественных» поэтов Тарас Шевченко трагически вопрошал: «Для кого я пишу, для чего?»

Мнение о «провинциальном» и, так сказать, «второсортном» характере украинской культуры, как правило, не высказывается в печати, но в околотуратурных кулуарах звучит достаточно часто, да и вообще, в полуинтеллигентской среде бытует весьма устойчиво — начиная с каких-

нибудь самодельных киноафиш на крымских курортах, где фильмы студии им. А. Довженко хитроумно именуется «мосфильмовскими» — чтобы «заманить» зрителя, и кончая весьма откровенными ответами продавцов книжных магазинов на вопрос: «Что у вас хорошенького?» — «Да ничего. Все — на украинском языке». Эта специфическая культурная ситуация сказывается на творчестве самых разных писателей, и поэтам поневоле приходится с ней, с ее остротой считаться и даже по своему на нее реагировать. Реакция может быть разной — от «покаянных» стихов Юрия Андруховича («Кому от этого стало легче, что строчки ты зарифмовал?») до откровенно дидактичного «Наушения сельского учителя» Ивана Малковича:

... Запомни,
что когда-нибудь
могут наступить и такие времена,
когда нашу речь
не будет помнить
и самый маленький соловьинок.

Поэтому нельзя надеяться
только на соловьев,
дита.

Мы цитируем, кстати, поэтов, в общем-то не склонных к публицистическому декларированию своей позиции, поэтов, нередко упрекаемых критикой за излишнюю «метафоричность», «усложненность» своих стихов, за «уход» от «злободневных» проблем, за сознательную ориентацию на узкий круг посвященных, искушенных в поэзии читателей. Публицистические «срывы» ТАКИХ поэтов, думается, особенно показательны, ибо свидетельствуют о буквально физической невозможности предаваться раздумьям о вечном, отрешась от сиюминутного, — слишком уж высока роль «сиюминутного» для судьбы вечного.

И тем не менее проблема «герметизма», «внесоциальности» молодой поэзии обсуждается сегодня в украинской критике довольно остро, затрагивая в частности и творчество представленных в настоящей подборке поэтов (за исключением умершего еще в 1968 году двадцатидвухлетнего Леонида Киселева). Если бы эти упреки исходили исключительно от нормативной, вульгарно-социологической критики, привычно требующей от писателей главным образом «воспевания» и «прославления», мы бы не видели сегодня в этом **ОСОБОЙ** проблемы. Но в том-то и дело, что оппонентами сегодняшних украинских «герметистов» нередко являются люди вполне честные, не запятнавшие себя конъюнктурой.

Общекультурная ситуация на Украине, как мы уже говорили, все еще такова, что сугубо «эстетическая» позиция остается для поэтов непозволительной роскошью, — что, в свою очередь, создает слишком благоприятные условия для позиции сугубо «утилитарной» и, что особенно опасно, спекулятивно-«утилитарной». Можно не сомневаться, что такие, стоящие именно на этой, последней, позиции «поэты» не позволят своим более дерзким коллегам «умереть» в «Париже», хотя плотные конвои вокруг всех «мостов», пожалуй, излишни: куда надежнее предохраняет смельчаков от «необдуманного» поступка внутреннее, мучительное и неизбежное чувство ответственности перед языком и культурой, как перед последними редутами, после разрушения или эрозии которых начинается уже необратимое исчезновение нации.

«Мы умрем не в Париже» — это весьма горькое, но и весьма трезвое признание, открывающее путь к мужественному осознанию собственной судьбы.

И все же — как, в чем конкретно должно воплощаться это «чувство ответственности»: в продолжении «мессианской», «проповеднической» традиции украинской поэзии — с надеждой достучаться до многомиллионных масс? А может быть — с безумной одержимостью попытаться как-то примирить эти альтернативы, найти некое диалектическое единство противоположностей?

Сегодняшняя украинская поэзия дает самые различные ответы на эти вопросы.

Есть, впрочем, и нечто общее у сегодняшних молодых украинских поэтов — высокая поэтическая культура, бескомпромиссность, духовная независимость и то обостренное «чувство истории», которое, говоря словами Т. С. Элиота «Побуждает писать, не просто сознавая себя одним из нынешнего поколения, но ощущая, что вся литература Европы, от Гомера до наших дней, и внутри нее — вся литература собственной твоей страны существует одновременно».

Я не знаю, насколько небольшие подборки шести, безусловно, интересных поэтов дают представление о яркости и многообразии сегодняшней молодой украинской поэзии, не знаю, насколько это вообще можно почувствовать через перевод (одна образованная москвичка как-то призналась мне, что до знакомства со стихами Шевченко в оригинале считала его чем-то вроде Сулеймана Стальского, на что я посоветовал ей и Стальского почитать в оригинале), — но я надеюсь, что хоть какой-то шаг в преодолении неведения к украинской литературе будет сделан — шаг, надеюсь, не первый и не последний.

ПАВЛО МОВЧАН

Когда осмысливаю поговорку «Что написано пером, то не вырубишь топором», то вспоминаю, сколько за последние годы написано всякой всячины. Да на какую глубину сознания оно вошло, чтобы его потом вырвать?

Такое впечатление, что много чего писалось на стеклянных листках и до первого дождя.

Стоят себе на полках сборники, одни тоньше, другие толще (а таких большинство) с чистыми страничками.

А что из того глубокого, что было бы можно вырвать секирой, осталось? Мало, ой как мало... Во-первых, секира гуляла, секира редакторско-издательская, еще до издания того, что могло бы углубиться во время, в материю. Во-вторых, всякое отличие небезопасно. Была сознательная мимикрия, умолчание (они такие, как все), и безотчетная (жить-то нужно, нужно печататься, издаваться). Конъюнктурность проявлялась опосредованно: например, слово «рай» менялось на «гай», а «кривда» на «правду»... размер был сохранен, а смысл? Стих, вроде, тот, да уже не тот. Подумаешь, выбросили «бога» из текста, а заменили... в худшем случае, «воронами», в лучшем, «голубями».

Редактор не убеждает, а успокаивает: я пропущу, дальше не пропустят. Да и ты уже внутренне готов к такому варианту, то есть к компромиссу. И уже скользишь по тексту стиха, и не видишь этих дырок, через которые вытекли и мысли твои, и последовательность твоя, и мужество, и так называемая гражданская совесть. Короче говоря, от тебя осталось очень мало. Хотя сам себя убаюкиваешь, а-а-а, тот, кому нужно, поймет, увидит эти тайные «алогизмы»... Так что для секиры осталось мало работы после издания... Однако кое-что оставалось. Или из-за недосмотра, или по недоразумению. Когда же бдительные стражники-словорубы спохватывались, бывало уже поздно: а как это получилось? Кто это смотрел? И давай махать секирой: то «свои» бьют «своих», чтобы «чужих» не пускать. Такие вот где-то преувеличенные в деталях невеселые условия, в каких довелось творчески вырезать поэтам, чье слово писалось не на стекле, но при сверкании щербатых секир. Ситуация, может, и покажется похожей на иные, но со своей «национальной» спецификой, ибо своими считались не только те, кто бил в барабаны пафоса, а и кто считал себя «слугою народа», и писал просто примитивно, потому что служить Слову, литературе всегда труднее. Так как кроме «службы» нужно иметь еще и дар, а также такую нематериализованную вещь, как душу. Идиома «продать душу» у нас имела идеологическую окраску: продать врагу. Но она оплачивалась не только инвалидностью, а и не менее ходовым родным рублем. О, этот рубль! Сколько он позвал с окольных путей на широкую магистраль материального благополучия.

Для чего весь этот треп? А чтобы уважаемый читатель в Латвии знал, что наши дела были не хуже, чем ваши. Так и жили... Можно добавить, так и живем... Но уже говорить об этом можно. Об атмосфере, в какой до сих пор пребываем... Ибо изменения видны только в Москве. Той Москве все можно! Да живем надеж-

дою, что и до нас долетит «ветер перемен». Хотя по логике жизни талант должен всегда одолеть сопротивление. Сопротивление слова, сопротивление обстоятельств. Но не затрачивать всю энергию на преодоление этого оплота внешнего. А то выйдет, как у того цыпленка, что пробил из последних сил скорлупу и, увидев над собой белый потолок, закричал: «Как, еще одну скорлупу пробивать?!»

Однако, сколько тех, кто задохнулся в собственной скорлупе? Одним не хватило сил, другим отваги. О них мы не вспоминаем. Или ограничиваемся констатацией: жизнь сурова. Но и мы не милосердны. Почему лишь между прочим вспоминаем о духовной потере? Вот перед латвийскими читателями подборка современных молодо-немолодых поэтов. Двадцать пять лет тому назад дебютировали Виктор Кордун и Никола Воробьев, и Василь Голобородько. Уже (наверное все) забыли, что они были окрещены тогда «языческой школой», так как были ориентированы на возрождение языческого мирозерцания в поэзии, на реконструкцию народной истории, истории не в последовательности временных свершений, а в расширении круга представлений.

До первых своих книг они шли долго. Зато можно теперь утверждать — время подтвердило их творческую подлинность. Но кто может подсчитать и их, и наши духовные утраты. А утрачено было много. Для того, чтобы подсчитать потери, рубль не годится, не та единица исчисления. Как исправить искривление совети или изломанную душу? Как результат этой литературной ненормальности у нас возникли поэты, имена которых стали громче самого творчества. Усилия таких поэтов сосредотачивались на добывании «права на имя». А творчество — инструмент этого. Орудие производства. Дополнение к премии, должности тоже... Если бы можно было и не писать — чтобы это было предусмотрено правилами игры, — то они и не писали бы, но... ситуация обязывала и обязывает. Хвала всевышнему, было еще и есть творчество. Без имен. Имена все время словно догоняют поэтов, которые не всегда настойчиво и последовательно реализовали себя. Снова же обстоятельства. И нужно было, как М. Воробьеву, становиться сторожем, или литературными донорами, как В. Кордун и В. Герасимюк... Да, шумная слава и не менее громкое молчание — это все испытание. Ибо рано или поздно приходит судный день: а что ты там такого создал? А что ты там такого вымолчал в атмосфере немоты и стагнации? И как горько бывает, когда выясняется, что молчание было взаимным. Стало быть, пустым, как и ящики письменных столов... Это почти трагическая ситуация — отсутствие свидетеля времени. Это не трагедия, когда серо-бело-лохматые бездари добывали все то, что можно было «схватить» с литературы. Ибо это сиюминутный фарс, как мы убеждаемся, с логичным (но неизбежным?) для фарса комедийным финалом. Хуже, если отсутствует само противодействие: подлинное творчество, слово истинное, а не имитационное.

Поэзию всегда находили во всех благородных поступках, в беззащитных намерениях, совершенных ради Истины, Красоты, Добра, Женщины. Поэт — он и про-

рок (таким должен быть в идеале), ибо ощущает, предчувствует, предвидит либо утверждает высокие человеческие добродетели; он, поэт, глашатай универсальных философских положений, призванный воспринимать чужую боль своей. Душевная согармоничность — вот чего ищут прежде всего в поэзии, а не выявления авторских амбиций.

Поэзия будто меняет оптику и помогает видеть в текучести жизни духовное постоянство. И зримыми предстают «пропасть времени» (И. Рымарук) и «бездна меж людьми» (В. Герасимюк), и «глубина Деревьев» (М. Воробьев), и видно, что «каждый погруженный глубоко в безвременье» (В. Кордун)...

Поэзия дает нам стройность и выводит из разлада и однообразия в мир самоцелесообразности и душевного согласия. Ни один другой литературный жанр не может погружать наше сознание во время так, как поэзия: до дна истории, до предыстории, во времена синкретического мышления, в нашу родную античность и восстанавливает связи со всеми поколениями и временами.

Поэзия выявляет и формотворческие ключи нашей памяти, и ее глубину, и ландшафтную обусловленность: «Гей, Полесье — прозрачная славянская слеза, капель звонкой живицы! Тут люди земнее земли, звонче утренних спасских колоколов, / ближе к себе и дальше других от себя. / Горьковатая завязь лесов / в глубинах их мятных печалей» (В. Кордун).

Мы являемся свидетелями стереотипизации многих явлений в жизни: от жилищного строительства до речи (языка), то есть мышления. С одной стороны — это наследство застойных явлений в нашем социальном бытии, а с другой — это плата за достижения цивилизации, какими мы безоговорочно пользуемся. Цивилизация — синоним стереотипизации. Потому и такая реакция «большинства» на все оригинальное, индивидуальное. Поэтому так и обстреливали этих поэтов, обвиняя их во всех грехах: от «кича» до «аполитичности». И здесь я хочу сделать акцент на одном парадоксе: при всей своей крайней заиндивидуализированности каждый из упомянутых поэтов сориентирован на традицию. А традиция, по-моему, категория вневременная...

Я почти не анализировал произведения тех поэтов, с которыми латвийский читатель познакомится сам. Говорить о поэзии вообще — дело безнадежное. Потому, что стихи всегда лучше и более неисчерпаемы, чем то, что о них говорят. К тому же, всегда можно ошибиться в своих оценках и выводах.

Сказать же, что мир поэта — сложный, это многозначительная банальность, которой боятся все настоящие поэты. Да и что же это за мир, если он элементарный, примитивный.

Поэтому я скажу: мир поэзии М. Воробьева, В. Голобородько, М. Григорива, В. Герасимюка, И. Рымарука, М. Малковича — это мир... сложный, труднодоступный. Это тоже банальность, но со знаком плюс. Так как я убежден, что их миры, у каждого из них свой мир, — читателю нужно обжить, вжиться в него, а для этого необходимо потрудить свою душу. Ибо это не разгадка ребусов: их сложность, о которой так часто говорят поэты-стереотипники, внешняя. Тут не отмычки нужны к их стихам, а ключи... ключи к собственной душе.

Перевел с украинского
ВЛАДИМИР СТЕШЕНКО

ВАСЫЛЬ ГОЛОБОРОДЬКО

ДОНЕСТИ ЦВЕТК ДО ЦВЕТЕНИЯ

Как сейчас вижу:
мать вышивает внукам сорочки.
Старая уже была,
неподходящие очки одевала, ибо все некогда было
поехать в город к окулисту, а одевала,
какие под руку подвернутся,
садилась возле окна,
исколотыми пальцами, не очень уже
и послушными, тянула нитку —
вышивала внукам сорочки.
Для чего вышивала,
ведь можно было купить в магазине?
Над этим не задумывалась, хоть покупала в сельмаге
сорочки в полоску или в клетку,
не задумывалась, просто делала, как дерево
сквозь зиму доносит
в грязной почке
цветок до цветения:
детям готовила обнови в школу,
пусть учатся, «будет инженером»,
но выучится на всеми уважаемого тракториста,
теперь внукам — для школы,
пусть хорошо учатся.
Долго подыскивала красивый узор, наконец
остановилась на «рубчике»,
долго прикладывала моточек к моточку,
какими нитками вышивать — выбирала,
вышивала долго — все некогда за огородными
и домашними делами,
внуки вырастали — сорочки становились маленькими,
слава богу, рождались другие, тем
когда-нибудь будут в пору.

ГЛУБОКИЙ ВЗГЛЯД

За жизнью мальчика-белочубчика
— за мной, который катается на санках со взгорка:
то весело мчит вниз,
то тяжело санки на горку вывозит —
следит взгляд материнский.

Материнский взгляд голубой
от ясного неба над головой
гетмана, который отправляется на
битву возле Пилявцев
(хоть материнские очи
были на самом деле другого цвета).
Материнский взгляд ласковый
от моря под легкими стругами,
на которых плывут казаки
вызволять побратимов из тяжелой неволи.
Материнский взгляд ласковый,
как обсыпанный цветами лужок,
которым ведут враги в плен
девчат-полонянок.

Из такого белого камня выложен
— как криница —
взгляд матери,
и я в той кринице аж на дне
униженным камешком лежу:
вот санки мои детские об землю разбивают,
а я зареванный тут же стою —
смотрю двумя слезищами на разбитые санки.
Как бы мать не закрывала очи
— больно ей видеть, как обижают
родное дитя, —
мое унижение в глубине ее взгляда.
Спасение от этого зрелища — пустое дно
после смерти
криницы.
Но криница не умирает,
а становится еще глубже от белого камня
моего взгляда,
обращенного к матери
и в будущее.

ВАСЫЛЬ ГЕРАСИМЮК

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА

(версия)

Был такой день,
когда нельзя ничего тащить из леса,
ибо приползет домой гадина.
Были такие слова,
которые умел нашептывать слепой,
вытягивая гадину из-под хаты, —
чтобы убить.
Была такая гадина,
которая пряталась от холода в печи
и цокала среди ночи, словно будильник.
Был такой час перед рассветом,
когда эта змея согрелась на ляжке парня,
который спал на печи,
и ужалила его в пятю,
когда придавил ее во сне.
Был такой парень,
который имел богатырскую силу,
но боялся своей пяты,
потому что в ней осталась глубокая дыра,
откуда око лихомански блестело.
Была такая ночь,
когда слез этот парень с печи,
ибо ноги сами понесли его в лес
за короной из небесной головы
мудрейшей и красивейшей повелительницы,
за короной,
в которую полночью
дуло все ее змеиное царство,
выдувая ледяной холод,
свиваясь и извиваясь,
оплетая, стискивая эту землю.
Была такая земля...

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ЭТЮД

Когда в тебе срубили
что-то высокое и гордое,
и оно упало на душу, словно колода,
и не знаешь, куда ее деть...
(Сожжешь — сам сгоришь!)
Так и будешь носить на сердце,
пока потихоньку не станет трухлявым...
Итак, когда в тебе срубили
что-то высокое и гордое, словно смерека,
ты посмотри, как рубят смереки,
рубят на хату,
ибо на хату в горах — только смерека,
как, впрочем, и на гробы...
Итак, когда в тебе срубили
высокую и гордую смереку,
не поддерживай — пусть упадет
и щемяще придавит сердце...
Тогда отсеки ей ветки,
но оставь верхушку:
ибо и такая верхушка еще пригодится,
ибо
даже поверженная верхушка смерек
вытянет из убитого дерева
все соки,
сделает его легким и теплым
и недоступным для шашеля —
освободит твою душу...
И тогда
отсеки верхушку,
ибо с поверженной — не восстанешь.
Даже с верхушкой смереки.
Отсеки!

В писательской биографии Джорджа Оруэлла (псевдоним Эрика Блэра, 1903—1950) было несколько кульминаций, определивших причудливые изломы этого творческого пути.

Оруэлл родился и вырос в Индии. Сразу после первой мировой войны его послали в привилегированный английский колледж, цеплявшийся за свою рутину, словно ничего не произошло за этими увитыми плющом старыми стенами. Смешное притворство тяготило и раздражало Оруэлла. Он с головой погрузился в тогдашнюю атмосферу яростных споров о будущем, которое последует за только что свершившейся катастрофой. Былые ценности, традиции, идеалы не внушали ни малейшего доверия. Радикализм с сильным привкусом циничности — таково было преобладавшее в ту пору умонастроение. Будущий прозаик разделял его безоговорочно.

Пять лет, которые он затем провел служащим колониальной администрации в Бирме, многое в нем переменили, завязав в сознании Оруэлла узлы противоречий, так им и не распутанные до конца жизни. Служба оказалась превосходной школой социального опыта, укрепив убеждение, что старый мир обречен и его крах неминуем. Первые книги Оруэлла, написанные, когда он довольствовался скромными доходами школьного учителя и продавца в лондонской книжной лавке, беспощадно язвительны, но и горьки до безысходности.

Оруэллу ненавистно сытое самодовольство, мещанское убожество помыслов и устремлений, апатия духа и гражданского мужества. Так заявил о себе один из оригинальнейших английских сатириков XX века. Однако слабости его позиции слишком заметны. Ситуация в мире становилась все более грозной, от каждого требовал четкого выбора перед лицом фашизма и преступной бездеятельности западных лидеров. А Оруэлл метался между взаимоисключающимися полюсами, испытывая характерные колебания европейского интеллектуала, которого и притягивает, и страшит неотвратимый исторический перелом.

Требовался выход, и его подсказала Испания. Бойцом Интербригады Оруэлл защищал Испанскую республику под Барселоной; когда франкисты все-таки победили, он написал «В честь Каталонии» — документальную книгу, оставшуюся клю-

чевой для понимания всего его творчества. Здесь нет и следа самобичевания: Оруэлл знает, прологом каких битв была испанская трагедия, к какой ответственности она взывала. А тем не менее это книга человека, которого случилось в Испании надломиться. И уже навсегда.

Было бы непростительным упрощением сказать, что надломил его только финал этих событий. В Испании он впервые увидел, что такое фашизм, и пережитое потрясло Оруэлла. Но там же он воочию удостоверился в том, что сталинские и ежовские методы, при помощи которых подавлялась политическая оппозиция внутри республики, — зло, не имеющее оправдания даже условиями войны и ссылками на правомерность революционного насилия. Для Оруэлла, вчерашнего радикала с романтическими представлениями о грядущем обществе справедливости и социалистическими симпатиями, не основывающимися на прочном знании законов истории, чистки, расстрелы, беззакония — печальная реальность того времени — оказались шоком. Не для него одного, конечно. Просто он так и не смог оправиться от этого удара. Написанный во время войны «Скотный Двор» (1945) и законченная перед смертью вторая знаменитая антиутопия «1984» — литературный итог передуманного в Испании и сразу после нее.

Если подразумевать художественную родословную этих произведений, прежде всего надо вспомнить Свифта, и не столько «Гулливера», сколько не так хорошо у нас известную «Сказку о бочке». Оруэлловский «Скотный Двор» — тоже философическая сказка, где легко угадываются реальные события и персонажи очень близкой истории. Много раз пытались связать эту повесть только с нашей историей, но такие усилия тенденциозны, не говоря уже о том, что они обедняют замысел автора.

Оруэлл написал притчу о деспотизме и несвободе, вырастающих из благородных идей, когда эти идеи становятся предметом грубого искажения со стороны тиранов, паразитирующих на объективных сложностях, неизбежных противоречиях и муках движущейся истории. Он был пристрастен, это бесспорно. Однако пристрастность выразилась не в том, что те или иные прототипы его действующих лиц заслуживали совсем иного изображения. Такие упреки лишены серьезного основа-

ния, поскольку достаточно произвольны усилия опознать за оруэлловскими персонажами совершенно определенных людей, чьи имена остались в летописи нашего столетия.

Пристрастность Оруэлла выразилась в другом: используя для хитросплетений сюжета факты, почерпнутые из драматической хроники 20-х и 30-х годов, он интерпретировал эти факты с такой жесткой однозначностью, какую трудно отнести только за счет требований жанра. «Скотный двор» — сатирическая аллегория, в которой нашли свой отзвук и «хрустальная ночь» в Германии, когда Гитлер истреблял вчерашних своих союзников, и завтрашних потенциальных конкурентов, и жесткие акции против испанских анархистов, предпринятые в тот момент, когда защита республики требовала единения всех ее приверженцев, и московские процессы 1937 года. События тут намеренно сближены, черты исторических деятелей осознанно перемешаны, и возникает гнетущая картина безнаказанно торжествующего произвола, который составляет не то что главное, а единственное содержание жизни.

Памятуя о том, чем реально было межвоенное двадцатилетие в мировой истории, согласиться с такой концепцией нельзя. Вряд ли есть необходимость подробно объяснять это сегодняшнему читателю, достаточно хорошо представляющему себе истинную картину того периода — со всеми его трагедиями, но и с великим напряжением борьбы, в которой решались судьбы тысяч конкретных людей, как и судьба всего человечества.

«Скотный двор» неверно воспринимать как горькую насмешку над несбывшейся мечтой о прекрасном мире равенства и счастья, пусть сам автор вкладывал в произведение именно этот смысл. Намерение и результат не совпали: из-под пера Оруэлла вышла сатира, убийственная для всех демагогов и политических авантюристов, в какие бы одежды они ни рядились, и предостерегающая всех слишком легковверных, слишком склонных к энтузиазму в обход реальности. Через сорок с лишним лет после появления книги Оруэлла мишеней для такой сатиры все еще предостаточно в сегодняшнем мире — и оттого книга сохраняет свое живое присутствие в сегодняшней литературе.

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ,
доктор филологических наук

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ

СКОТНЫЙ ДВОР

СКАЗКА

Глава I

Мистер Джонс с фермы «Усадьба» закрыл на ночь курятник, но был так пьян, что забыл заткнуть дыры в стене. Ткнув ногой заднюю дверь, он проковылял через двор, не в силах выбраться из круга света от фонаря, пляшущего в его руке, нацедил себе последний стаканчик пива из бочонка на кухне и отправился в постель, где уже похрапывала миссис Джонс.

Как только в спальне погас свет, на ферме началось беспокойное движение. Весь день ходили слухи, что старый Майор, призовой боров из Миддлуайта, прошлой ночью видел странного сона и хотел бы поведать о нем остальным животным. Все договорились встретиться в большом амбаре, как только мистер Джонс окончательно скроется с глаз. Старый Майор (так его всегда звали, хотя имя, под которым его представляли на выставках, звучало как Краса Уиллингдона), пользовался на ферме таким уважением, что все безоговорочно согласилось пожертвовать часом сна, чтобы услышать его повествование.

Майор уже ждал, как обычно, уютно расположившись на своей соломенной подстилке на возвышении в конце амбара, под фонарем, подвешенным к балке. Ему было уже двенадцать лет, и в последнее время он раздавался скорее в ширину, но тем не менее продолжал оставаться все тем же благородным боровом, в глазах которого светилась мудрость и доброжелательность, несмотря на устрашающие клыки. Пока все животные собрались и устроились каждый по своему вкусу, прошло довольно много времени. Первыми пришли три пса — Блюбелл, Джесси и Пинчер, а за ними свиньи, которые сразу же расположились на соломе перед возвышением. Куры разместились на подоконниках, голуби, толкаясь, расселись на стропилах, а овцы и коровы прилегли сразу же за свиньями и принялись за свою жвачку. Вместе пришли упряжные лошади Боксер и Кlover. Они двигались медленно и осторожно, стараясь, чтобы их широкие волосатые копыта занимали как можно меньше места. Кlover была рослая кобыла средних лет, окончательно расплывшаяся после рождения четвертого жеребца. Внешность Боксера вызвала неволь-



ное уважение — высотой в холке более 6 футов, он был силен, как две обыкновенные лошади вместе взятые. Белая полоса, пересекавшая его физиономию, придавала ему довольно глупый вид, да он и в самом деле не блистал интеллектом, но пользовался всеобщим расположением за ровный характер и удивительное трудолюбие. После лошадей явилась Мюриель, белая коза и осел Бенджамин. На ферме он жил дольше всех и отличался препротивным характером. Говорил он редко, но и в этих случаях обычно изрекал какое-то циничное замечание — например, он как-то обмолвился, что господь бог наделил его хвостом, чтобы отмахиваться от оводов, но он предпочел бы обходиться и без оводов и без хвоста. Единственный среди всех животных, на ферме он никогда не смеялся. На вопрос о причинах такой мрачности он отвечал, что не видит поводов для смеха. Тем не менее, он был привязан к Боксеру; как правило, они проводили воскресные дни бок о бок в небольшом загончике рядом с садом, молча пощипывая травку.

Едва только Боксер и Кlover прилегли, как в амбар ворвался выводок утят, потерявших мать; взволнованно крикая, они стали метаться из стороны в сторону в поисках безопасного места, где бы их никто ненароком не придавил. Обнаружив, что вытянутые передние ноги Кlover представляют собой нечто вроде защитной стенки, утята попрыгали в это убежище и сразу же погрузились в сон. Наконец в амбар, хрустя куском сахара, кокетливо вошла Молли, глупая, но красивая белая кобылка, которая таскала двуколку мистера Джонса. Она заняла место в первых рядах и сразу же начала игриво помахивать белой гривой в надежде привлечь внимание к вплетенным в нее красным ленточкам. И последней явилась кошка, которая, как обычно, огляделась в поисках самого теплого местечка и наконец скользнула между Боксером и Кlover; здесь она беспрестанно возилась и мурлыкала во время речи Майора, не услышав из нее ни единого слова.

Кроме Мозуса, ручного ворона, который дремал на шесте около задней двери, теперь все животные были в сборе. Предложив всем устраиваться поудобнее и дождавшись тишины, Майор прочистил горло и начал:

— Товарищи, все вы уже слышали, что прошлой ночью мне привиделся странный сон. Но к нему я вернусь позже. Первым делом, я должен вам сказать вот о чем. Не думаю, что я проведу с вами еще много месяцев, и чувствую, что перед смертью я должен поделиться с вами приобретенной мудростью. Я прожил долгую жизнь, у меня было достаточно времени для размышлений, когда я лежал один в своем загоне и, думаю, могу утверждать, что понимаю смысл жизни лучше, чем кто-либо из моих современников. Вот об этом я и хотел бы вам поведать.

Итак, друзья, в чем смысл нашего с вами бытия? Давайте посмотрим правде в лицо: краткие дни нашей жизни проходят в унижении и тяжком труде. С той минуты, как мы появляемся на свет, нам дают есть ровно столько, чтобы в нас не угасла жизнь, и те, кто обладает достаточной силой, вынуждены работать до последнего вздоха; и, как обычно, когда мы становимся никому не нужны, нас с чудовишной жестокостью отправ-

ляют на бойню. Ни одно животное в Англии после того, как ему минет год, не знает, что такое счастье или хотя бы заслуженный отдых. Ни одно животное в Англии не знает, что такое свобода. Жизнь наша — нищета и рабство. Такова истина.

Но таков ли истинный порядок вещей? Происходит ли это от того, что наша земля бедна и не может прокормить тех, кто обитает на ней и возделывает ее? Нет, товарищи, тысячу раз нет! Климат в Англии мягкий, земля плодородна, и она в состоянии досыта прокормить гораздо большее количество животных, чем ныне обитают на ней. Такая ферма, как наша, способна содержать дюжину лошадей, двадцать коров, сотню овец — и жизнь их будет полна такого комфорта, такого чувства собственного достоинства, о которых мы сейчас не можем даже и мечтать. Но почему же мы продолжаем жить в столь жалких условиях? Потому что почти все, что мы производим своим трудом на свет, уворовывается людьми. Вот, товарищи, в чем кроется ответ на все наши вопросы. Он заключается в единственном слове — Человек. Вот кто наш единственный подлинный враг — Человек. Уберите со сцены Человека, и навсегда исчезнет причина голода и непосильного труда.

Человек — единственное существо, которое потребляет, ничего не производя. Он не дает молока, он не несет яиц, он слишком слаб для того, чтобы таскать плуг, он слишком медлителен для того, чтобы ловить кроликов. И все же он верховный владыка над всеми животными. Он гонит их на работу, он отсыпает им на прокорм ровно столько, чтобы они не мучились от голода — все же остальное остается в его владении. Наш труд возделывает почву, наш навоз удобряет ее, — и все же у каждого из нас есть всего лишь его шкура. Вот вы, коровы, лежашие сейчас передо мной, — сколько тысяч галлонов молока вы уже дали за прошлый год? И что стало с этим молоком, которым вы могли бы вспоить крепких телят? Все оно, до последней капли, было поглощено глотками наших врагов. А вы, куры, сколько яиц вы снесли в этом году и сколько взрастили цыплят? А остальные были отправлены на рынок, чтобы в карманах у Джонса и иже с ними звенели денежки. Скажи и ты, Кlover, где твои четверо жеребят, которых ты выносила и родила в страданиях, жеребят, что должны были стать тебе опорой и утехой на старости лет? Все они были проданы еще в годовалом возрасте — и никого из них тебе не доведется увидеть вновь. И после того, как ты четырежды мучилась в родовых муках, после того, как ты поднимала под пашню поля — что у тебя есть, кроме горсти овса и старого стойла?

Но даже наша жалкая жизнь не может кончиться естественным путем. Я не говорю о себе, потому что мне повезло. Я дожил до двенадцати лет и произвел на свет более четырехсот детей. Для свины я прожил достойную жизнь. Но ни одно животное не может избежать в конце жизни безжалостного ножа. Вот вы, юные поросята, что сидят передо мной, — все вы до одного, не пройдет и года, кончите свою жизнь в той загородке. И эта ужасная судьба ждет всех — коров, свиней, кур, овец, всех до единого. Даже лошадям и собакам достается не лучшая доля. Придет тот далекий день, когда могучие

мускулы откажутся тебе служить, Боксер, и Джонс отправит тебя к живодеру, который перережет тебе горло и сделает из тебя собачью похлебку. Что же касается собак, то когда они состарятся и у них выпадут зубы, Джонс привяжет им на шею кистряч и пинком ноги швырнет в ближайший пруд.

И разве не стало теперь предельно ясно, товарищи, что источник того зла, которым пронизана вся наша жизнь,— это тирания человечества? Стоит лишь избавиться от Человека, и плоды трудов наших перейдут в нашу собственность! И уже этим вечером может загореться заря нашей свободы, которая сделает нас богатыми и независимыми. Что нам предстоит делать для этого? Работать день и ночь, отдавая и тело и душу для избавления от тирании человека! И я призываю вас, товарищи,— Восстание! Я не знаю, когда оно вспыхнет, через неделю или через сто лет, но столь же ясно, как я вижу эту солому под моими ногами, я знаю, что рано или поздно справедливость восторжествует. И сколько бы вам ни осталось жить, товарищи, посвятите свою жизнь этой идее! И кроме того, завещаю передать мое послание тем, кто придет после вас, чтобы будущие поколения могли продолжать борьбу до победного конца.

И помните, товарищи,— ваша решимость должна оставаться непоколебимой. Пусть никакие доводы не собьют вас с пути. Не слушайте, когда вам начнут говорить, что у людей и у животных общие интересы, что процветание одной стороны означает благоденствие и для другой. Все это ложь! Людей не интересуют ничьи интересы, кроме их собственных. А среди нас, животных, пусть восторжествует нерушимое единство, крепкая дружба в борьбе. Все люди — враги. Все животные — друзья.

Едва только Майор кончил говорить, поднялся ужасный гам. Пока длилась его речь, из своих нор выскользнули четыре большие крысы и, присев на задние лапы, внимательно слушали Майора. В это время их увидели собаки, и только мгновенная реакция крыс, юркнувших обратно в норы, спасла их жизнь. Майор поднял ногу, призывая к молчанию.

— Товарищи,— сказал он,— нам необходимо обсудить еще один вопрос. Дикие звери, такие, как крысы и кролики — друзья они нам или враги? Давайте проголосуем. Я выдвигаю этот вопрос на рассмотрение собрания: являются ли крысы нашими товарищами?

Голосование прошло безотлагательно, и подавляющим большинством голосов было решено, что крыс можно считать товарищами. Против голосовали лишь четверо — три собаки и кошка, относительно которой позже было выяснено, что голосовала она в обоих случаях. Майор продолжил:

— Добавить мне осталось немного. Я лишь повторю: помните, что ваша обязанность — враждовать с людьми и со всеми их начинаниями. Каждый, кто ходит на двух ногах — враг. Каждый, кто ходит на четырех ногах или имеет крылья — друг. И помните также, что в борьбе против Человека мы не должны ничем походить на него. Даже одержав победу, отвергните все, что создано человеком. Ни одно из животных не должно жить в доме, спать в постели, носить одежду, пить алкоголь, курить табак, притрагиваться к деньгам или заниматься торговлей. Все человеческие привычки — это зло! И, кроме всего, ни одно животное не должно тиранить своих сородичей. Слабые или сильные, умные или глупые — все мы братья! Ни одно животное не должно убивать других животных. Все животные равны.

А теперь, товарищи, я расскажу вам о своем сне, что привиделся мне прошлой ночью. Я не в силах описать вам эту мечту. Это была мечта о земле, какой она станет после того, как Человек исчезнет с ее лица. И вспомнилось мне давно забытое. Много лет назад, когда я был совсем маленьким поросенком, моя мать и вся наша родня любили петь старую песню, из которой они знали только первые три строчки и мотив. Песню эту я помню с детства, но прошло столько времени, что многое забылось. И вот прошлой ночью она вернулась ко мне вместе с мечтой. И, что самое удивительное,— всплыли те слова, которые, я уверен, пели животные в давно прошедшие времена и которые, казалось, были навсегда потеряны в памяти поколений. Я сейчас спою вам эту песню, товарищи. Я стар, и у меня хриплый голос, но когда я научу вас мотиву, вы ее споете лучше. Она называется «Скоты Англии».

Старый Майор прочистил горло и начал. Как он и говорил, голос у него был хриплый, но волнующая мелодия, нечто среднее между «Клементиной» и «Кукарачей» звучала достаточно чисто. Слова были таковы:

Звери Англии и мира,
Всех загонов и полей,
Созывает моя лира
Вас для счастья новых дней.
Он настанет, он настанет,
Мир великой чистоты,
И людей совсем не станет —
Будут только лишь скоты.
Кнут над нами не взвоется,
И ярмо не нужно нам,
Пусть повозка расшибется,
Не возить ее коням!
Наше завтра изобильно,
Клевер, сено и бобы,
И запасы так обильны,
Что прекрасней нет судьбы.
Небо Англии сияет,
И чиста ее вода,
Ветер песни напевает —
Мы свободны навсегда!
Мы дадим друг другу слово —
Отстоим судьбу свою!
Свиньи, куры и коровы,
Будем стойкими в бою!
Звери Англии и мира,
Всех загонов и полей,
Созывает моя лира
Вас для счастья новых дней.

Совместное исполнение этой песни привело животных в дикое возбуждение. И едва только Майор дошел до последних слов, они сразу же начали петь ее снова. Даже самые тупые из присутствующих уже уловили мотив и несколько слов, а что же касается самых умных, таких, как свиньи и собаки, то уже через пару минут песня как бы рвалась из глубин их сердец. Несколько попыток приладиться один к другому — и вся ферма в потрясающем единстве взревела «Скоты Англии». Коровы мычали ее, собаки влзлаивали, овцы блеяли, лошади ржали и утки вскрикивали. Пели они с таким наслаждением, что песня была исполнена пять раз подряд, и каждый раз все лучше, и они могли бы петь всю ночь — если бы их не прервали.

К сожалению, шум разбудил мистера Джонса, который выбрался из постели в полной уверенности, что во двор забрался лиса. Он схватил ружье, которое всегда стояло рядом с изголовьем, и пару раз выпалил в темноту. Пули врезались в стенку амбара, собрание мгновенно прекратилось. Все разбежалось на места, где они обычно проводили ночь. Птицы вспорхнули на свои насесты, животные расположились на соломе, и вся ферма сразу же погрузилась в сон.

Глава II

Через три дня старый Майор мирно опочил во сне. Его тело было предано земле неподалеку от фруктового сада.

Случилось это в начале марта. Последующие три месяца были отмечены размахом тайной деятельности. Речь Майора заставила большинство самых сообразительных жителей фермы посмотреть на жизнь под новым углом зрения. Они не знали, когда вспыхнет Восстание, предсказанное Майором, у них не было никаких оснований считать, что оно произойдет еще при их жизни, но ясно понимали, что они должны готовить Восстание. Работа по просвещению и организации всех остальных, естественно, легла на свиней, чьи выдающиеся умственные способности были единодушно признаны всеми. Но и среди них явно выделялись два молодых боров, Сноуболл и Наполеон, которых мистер Джонс откармливал на продажу. Наполеон был большим и даже несколько свирепым с виду беркширским боровом, единственным беркширцем на ферме. Он не был многословен, но пользовался репутацией личности себе на уме. Сноуболл отличался большей живостью характера, быстрой речью и изобретательностью, но относительно меньшей серьезностью. Остальные свиньи на ферме были еще поросятами. Наибольшей известностью среди них пользовался маленький толстый поросенок по имени Визгун, с круглыми щечками, вечно помаргивающими глазками, быстрыми движениями и пронзительным голосом. Он был блестящим оратором. Обсуждая какую-то сложную проблему, он метался из стороны в сторону, и хвостик его все время подрагивал, что придавало его словам особую убедительность. Кое-кто говорил о Визгуне, что он способен превратить белое в черное и наоборот.

Они втроем переработали проповеди старого Майора в стройную систему воззрений, которую называли Анимализмом. Не-

сколько ночей в неделю после того, как мистер Джонс отходил ко сну, на тайных собраниях в амбаре они объясняли всем остальным принципы Анимализма. Сначала они встретились с тупостью и равнодушием. Кое-кто говорил о необходимости соблюдать лояльность по отношению к мистеру Джонсу, которого они называли не иначе как Хозяин или отпускали идиотские замечания типа «Мистер Джонс нас кормит. Если его не будет, мы умрем с голоду». Другие задавали вопросы: «С какой стати нам заботиться о том, что будет после нашей смерти?» или «Если Восстание так и так произойдет, то какой смысл в том, работаем мы для него или нет?», и свиньям стоило немалых трудов объяснить им, что все это противоречит духу Анимализма. Самый глупый вопрос задала Молли, белая кобылка. Первое, с чем она обратилась к Сноуболлу, было: «Будет ли сахар после Восстания?»

— Нет,— твердо сказал Сноуболл.— Мы не собираемся производить сахар на этой ферме. Кроме того, ты можешь обойтись и без него. Тебе хватит овса и сена.

— А разрешено ли мне будет носить ленточки в гриве? — спросила Молли.

— Товарищ,— сказал Сноуболл,— эти ленточки, к которым ты так привязана,— символ рабства. Неужели ты не можешь понять, что свобода дороже любых ленточек?

Молли согласилась, что это именно так, но похоже было, что она осталась при своем мнении.

Гораздо больше трудов доставила свиньям необходимость опровергать ложь, пущенную Мозусом, ручным вороном. Мозус, любимец мистера Джонса, был болтуном и сплетником, но в то же время красноречивее он умел. Он распространял слухи о существовании таинственной страны под названием Леденцовая Гора, куда после смерти якобы попадают все животные. Она расположена где-то на небе, рассказывал Мозус, сразу же за облаками. На Леденцовой Горе семь дней в неделю — воскресенье, клевер в соку круглый год, а колотый сахар и льняной жмых растут прямо на кустах. На ферме терпеть не могли Мозуса за то, что он только рассказывает басни и не работает, но кое-кто верил в Леденцовую Гору, и свиньям пришлось немало потрудиться, прежде чем они убедили всех в том, что такого места не существует.

Самой безграничной преданностью отличались две тягловые лошади, Клевер и Боксер. Сам процесс мышления доставлял им немалые трудности, но раз и навсегда признав свиней своими пастырями, Клевер и Боксер впитывали в себя все, что было ими сказано и затем терпеливо втолковывали это остальным животным. Они неизменно присутствовали на всех собраниях в амбаре и первыми затягивали «Скоты Англии», которым обычно заканчивались встречи.

Но, как оказалось, Восстание состоялось значительно раньше и произошло куда легче, чем кто-либо мог предполагать. В свое время мистер Джонс был неплохим фермером, хотя и отличавшимся крутым характером, но потом дела его пошли значительно хуже. Просадив массу денег в судебных тяжбах, он перестал интересоваться делами фермы и стал регулярно выпивать. Целые дни он проводил на кухне, развалившись в своей качалке — проглядывал газеты, прикладываясь к бутылке и время от времени кормил Мозуса кусками хлеба, вымоченными в пиве. Работники его слонялись без дела и тащили все, что плохо лежит; поля заросли сорняками; изгороди зияли прорехами, а животные часто оставались неокормленными.

Пришел июнь, и поля были готовы к жатве. В канун середины лета, который выпал на субботу, мистер Джонс поехал в Уиллингдон и так надрался в «Красном Льве», что добрался домой только к полудню воскресного дня. Подоив коров ранним утром, батраки ушли ловить кроликов, не позаботившись о том, чтобы накормить животных. Вернувшись, мистер Джонс немедленно завалился спать на кушетке в гостиной, прикрыв лицо газетой, то есть и к вечеру обитатели фермы оставались голодными. В конце концов их терпение истощилось. Одна из коров вышибла рогами дверь в закрома, которые немедленно наполнились животными. Как раз в это время проснулся мистер Джонс. В следующий момент он и четверо его батраков, вооружившись кнутами, которыми они полосовали во все стороны, были уже на месте происшествия. Чаша терпения оголодавших животных переполнилась. В едином порыве они ринулись на своих мучителей. Внезапно Джонс и остальные почувствовали, что их толкают и бьют со всех сторон. Инициатива была вырвана из их рук. Им никогда раньше не приходилось сталкиваться с животными в таком состоянии, и этот внезапный взрыв ярости тех, с кем они привыкли обращаться с небрежной жестокостью, испугал их почти до потери сознания. Они поняли, что им остается только думать о собственном спасении и уносить ноги. Минутой позже они впятером впопыхах вы-

валились на проселок, который вел к дороге, а торжествующие животные преследовали их.

Миссис Джонс выглянула из окна спальни, увидела, что происходит, торопливо покинула в саквояж первое, что попалось под руку, и покинула ферму через заднюю дверь. Мозус сорвался со своего шеста и, громко каркая, последовал за ней. Тем временем животные гнали мистера Джонса и его приспешников по дороге до тех пор, пока за ними не захлопнулись тяжелые ворота. Таким образом, прежде, чем они поняли, что произошло, Восстание было успешно завершено: Джонс изгнан, и ферма «Усадьба» перешла в их владение.

Первые несколько минут животные с трудом осознавали свою удачу. Сначала они резво обежали границы фермы, дабы убедиться, что никому из людей не удалось где-нибудь спрятаться; затем они помчались обратно на ферму, полные желания уничтожить последние следы ненавистного царствования Джонса. Помещение, где хранилась упряжь, было взломано; удила, уздечки, поводки, страшные ножи, которыми мистер Джонс кастрировал свиней и баранов — все было выброшено наружу. Вожжи, недоуздки, шоры — все эти унизительные приспособления полетели в костер, уже полыхавший во дворе. Такая же участь постигла хлысты. Все животные прыгали от радости, видя, как они горят. Сноуболл кроме того швырнул в костер и ленточки, которые в ярмарочные дни обычно вставлялись в хвосты и гривы лошадей.

— Ленточки,— сказал он,— должны быть признаны одеждой, признаком человеческих существ. Все животные должны ходить нагими.

Услышав это, Боксер стряхнул соломенную шляпу, которую обычно носил летом, чтобы уберечь от оводов свои уши, и с облегчением кинул ее в огонь.

Не потребовалось много времени, чтобы разрушить все, напоминавшее животным о мистере Джонсе. После того Наполеон отвел их в закрома и выдал каждому по двойной порции пищи, а собакам, кроме того, — по два бисквита. Затем они семь раз подряд вдохновенно спели «Скоты Англии» и пошли устраиваться на ночь. Сон их был крепок, как никогда раньше.

Как обычно, проснувшись на рассвете, они внезапно вспомнили блистательную вчерашнюю победу и все вместе потрусили на пастбище. Недалеко от него был холм, с которого открывался вид на большинство владений фермы. В чистом утреннем свете животные взобрались на его вершину и стали осматриваться. Да, все это была их собственность — все, что мог охватить глаз, принадлежало им! В восторге от этих открытий они стали носиться кругами и прыгать, выражая свое восхищение. Они катались по росе, они набивали рты сладкой летней травой, они взрывали мягкую черную землю и с наслаждением упивались ее волнующим ароматом. Затем, осматриваясь, они обошли всю ферму, с неммым восторгом глядя на пашни, пастбища, на фруктовый сад, на пруд и рожицу. Похоже было, что никогда ранее они не видели всего этого и сейчас с трудом верили, что все принадлежит им.

Затем они вернулись к постройкам и в замешательстве остановились на пороге открытой двери фермы. Теперь она тоже принадлежала им, но войти внутрь было еще несколько страшновато. Помедлив с минуту или около того, Сноуболл и Наполеон распахнули дверь настежь, и животные гуськом осторожно вошли внутрь, пугливо стараясь ничего не задеть. На цыпочках они прошли из комнаты в комнату, боясь проронить хоть шепот и в изумлении дивясь на ту невероятную роскошь, что окружала их — постели с пуховыми перинами, зеркала, софа из конского волоса, брюссельские ковры и литография королевы Виктории над вешалкой в гостиной. Они уже спускались по лестнице, когда выяснилось, что Молли исчезла. Вернувшись, остальные обнаружили ее в одной из спален. Она взяла кусок голубой ленточки с туалетного столика миссис Джонс, перекинула его через плечо и с предельно глупым видом любовалась на себя в зеркало. Все животные единодушно осудили ее и затем все вместе покинули эту комнату. Несколько окоороков, висевших на кухне, были взяты для захоронения, и в буфетной Боксер проломил копытом бочонок с пивом — все остальное в доме осталось нетронутым. Было принято единодушное решение, что ферма останется музеем. Все пришли к соглашению, что ни одно животное не должно жить в ее помещениях.

После завтрака Сноуболл и Наполеон снова созвали всех. — Товарищи,— сказал Сноуболл,— уже полшестого, и нас ждет долгий день. Сегодня мы начнем жатву. Но прежде всего мы должны кое-что сделать.

И свиньи сообщили, что в течение последних трех месяцев они учились читать и писать по старому сборнику прописей, который когда-то принадлежал детям мистера Джонса, но был выброшен в кучу хлама. Наполеон послал за банками с черной и белой красками и направился к воротам, за которыми начи-

налась основная дорога. Затем Сноуболл (именно Сноуболл, поскольку у него был самый лучший почерк) взял своими раздвоенными копытцами кисть, закрасил название «Ферма «Усадьба» на верхней перекладке ворот и на этом месте написал «Скотный Двор». Отныне таково должно было быть название фермы. После этого они вернулись к зданию, где уже стояла прислоненная к задней стенке большого амбара лестница, доставленная по приказанию Наполеона и Сноуболла. Они объяснили, что последние три месяца, когда они изучали прописи, им, свиньям, удалось сформулировать в Семи Заповедях принципы Анимализма. Эти Семь Заповедей будут запечатлены на стене; и в них найдут отражение непререкаемые законы, по которым отныне и до скончания века будут жить все животные на ферме. С некоторыми трудностями (ибо свинье не так просто балансировать на лестнице) Сноуболл забрался наверх и принялся за работу; несколькими ступеньками ниже Визгун держал банку с краской. Заповеди были написаны на темной промасленной стене большими белыми буквами, видными с тридцати метров. Вот что они гласили:

СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ:

1. Каждый, кто ходит на двух ногах, — враг.
2. Каждый, кто ходит на четырех ногах или у кого есть крылья, — друг.
3. Животные не носят платья.
4. Животные не спят в кроватях.
5. Животные не пьют алкоголя.
6. Животное не может убить другое животное.
7. Все животные равны.

Написано все было очень аккуратно, не считая только, что вместо «друг» было «дург», а одно из «с» было развернуто в другую сторону, но в целом все было очень правильно. Чтобы собранные твердо уяснили написанное, Сноуболл громко прочел заповеди. Все кивали в полном согласии, а самые сообразительные сразу же стали учить заповеди наизусть.

— А теперь, товарищи, — сказал Сноуболл, отбрасывая кисточку, — на нивы! Пусть для нас станет делом чести убрать урожай быстрее, чем Джонс и его рабы!

Но в этот момент три коровы, которые давно уже тоскливо переминались с ноги на ногу, стали громко мычать. Их не доили уже целые сутки, и все три вымени у них болели. Немного подумав, свиньи послали за ведрами и весьма успешно подоили коров, поскольку, как оказалось, свиные копытца были словно специально приспособлены для этой цели. Скоро пять ведер наполнились жирным парным молоком, на которое остальные животные смотрели с нескрываемым интересом.

— Что будем делать с этим молоком? — спросил кто-то.

— Джонс иногда подмешивал его нам в кормушки, — сказала одна из кур.

— Не о молоке надо думать, товарищи! — вскричал Наполеон, закрывая собой ведра. — О нем позаботятся. Урожай — вот что главное. Товарищ Сноуболл поведет вас. Я последую за вами через несколько минут. Вперед, товарищи! Жатва не ждет.

И животные двинулись на поля, где принялись за уборку, а когда вечером вернулись домой, то обнаружили, что молоко исчезло.

Глава III

Как они выкладывались и потели на жатве! Но их усилия были вознаграждены, так как урожай оказался даже больше, чем они рассчитывали.

Порой работа доставляла немалые трудности: техника была рассчитана на людей, а не на животных, и основным препятствием было то, что никто из них не мог работать, стоя на задних ногах. Но у свиней хватило сообразительности обойти эти помехи. Что же касается лошадей, то они знали каждую кочку на полях, в косовице и жатве разбирались лучше Джонса и его батраков. Сами свиньи фактически не работали, а лишь организовывали и руководили. Естественно, что эта главенствующая роль была обеспечена их выдающимися познаниями. Боксер и Кловвер впрягались в жнейку или в механические грабли (ни о поводах, ни о хлысте в эти дни, конечно, не могло быть и речи) и аккуратно, раз за разом, проходили все поле. Сзади шла свинья и в зависимости от ситуации руководила работой с помощью возгласов: «Поддай, товарищ!» или «Осади назад, товарищ!». Все выкладывались до предела, скашивая и убирая урожай. Даже куры и утки целый день сновали взад и вперед, таская колоски в клювах. В конечном итоге урожай был собран на два дня раньше, чем это обычно делал мистер Джонс. Более того — такого обильного урожая ферма еще не видела. Не

пропало ни одного зернышка; куры и утки с их острым зрением подобрали даже все соломинки. За время уборки никто не позволил себе съесть больше одной горсточки.

Все лето работы шли с точностью часового механизма. Обитатели фермы даже не представляли себе, что можно трудиться с таким удовольствием. Они испытывали острое наслаждение, наблюдая, как заполняются закрома, потому что это была их пища, которую они вырастили и собрали сами для себя, пища, которую отныне не отнимет у них безжалостный хозяин. После изгнания паразитических и бесполезных людей, никто больше не претендовал на собранные запасы. Конечно, на досуге приходилось о многом подумать. Не обладая еще достаточным опытом, они встречались с определенными трудностями — например, когда они приступили к уборке зерновых, им пришлось, как в старые времена, вылизывать зерна и собственным дыханием сдувать мякину — но сообразительность свиней и могучие мускулы Боксера всегда приходили на помощь. Боксер вызывал у всех восхищение. Он много работал еще во времена Джонса, ну а теперь трудился за троих; бывали дни, когда, казалось, вся работа на ферме ложилась на его всемогущие плечи. С восхода и до заката он трудился без усталости, и всегда там, где работа шла труднее всего. Он договорился с одним из петухов, чтобы тот поднимал его на полчаса раньше всех, и до начала дня он уже добровольно успевал что-то сделать там, где был нужнее всего. Сталкиваясь с любой задержкой, с любой проблемой, он неизменно говорил одно и то же: «Я буду работать еще больше» — таков был его личный девиз.

Но и остальные работали с полной отдачей. Так, например, во время уборки куры и утки снесли в закрома пять бушелей пшеницы, которую они собрали по зернышку. Хищения, воркотня из-за порции, ссоры, свары и ревность, то есть все, что было нормальным явлением в старые времена — все это практически исчезло. Никто — или почти никто — не жаловался. Правда, Молли не нравилось вставать рано утром, и если на ее пашне попадались камни, она могла сразу же бросить работу. Довольно своеобразным было и поведение кошки. Скоро было замечено, что, как только возникала неотложная работа, кошки не могли доискаться. Она пропадала часами, а потом, как ни в чем не бывало, появлялась к обеду или вечером, когда все работы были завершены. Но она всегда умела столь убедительно извиняться и так трогательно мурлыкала, что было просто невозможно не верить в ее добрые намерения. Старый Бенджамин, осел, казалось, совершенно не изменился со времен Восстания. Он никогда не напрашивался ни на какую работу и ни от чего не отлынивал; но все, что он делал, было проникнуто духом того же медленного упрямства, что и во времена мистера Джонса. О Восстании и о том, что оно принесло, Бенджамин предпочитал помалкивать. Когда его спрашивали, чувствует ли он, насколько счастливей стало жить после изгнания Джонса, он только бурчал: «У ослос долгий век. Никто из вас не видел дохлого ослас», и остальным оставалось лишь удовлетворяться его загадочным ответом.

В воскресенье все отдыхали. Завтракали на час позже, а затем все спешили на церемонию, которая неукоснительно проводилась каждую неделю. Первым делом торжественно поднимался флаг. Сноуболл нашел в кладовке старую зеленую скатерть миссис Джонс и нарисовал на ней белые копыто и рог. Каждое воскресное утро этот стяг поднимался по флашток, водруженному в саду фермы. Зеленый цвет, объяснил Сноуболл, символизирует поля Англии, а копыто и рог олицетворяют будущую Республику Животных, которая восторжествует после того, как будет окончательно покончено со всем родом человеческим. После поднятия флага все собирались в большом амбаре на общий совет, который получил название Ассамблеи. Здесь планировалась работа на будущую неделю, выдвигались и обсуждались различные решения. Как правило, предлагали свиньи. Все остальные понимали, как они должны голосовать, но им никогда не приходило в голову выступить с собственными предложениями. Сноуболл и Наполеон бурно участвовали в дебатах. Но было замечено, что они редко приходят к соглашению: что бы ни предлагал один из них, второй всегда выступал против. Даже когда все было совершенно ясно и было достигнуто единодушное согласие — например, оставить нетронутым небольшой выгон за садом, который мог бы служить местом отдыха для животных, окончивших работу, — то и тогда разгорались бурные споры о пределе пенсионного возраста для каждого вида животных. Ассамблея всегда кончалась пением гимна «Скоты Англии», и после полудня все отдыхали.

(Продолжение следует)

Перевел с английского
ИЛАН ПОЛОЦК



РИСУНОК МАРИСА АРГАЛИСА

I, IV ОБЛОЖКИ — ОФОРМИТЕЛИ
САРМИТЕ МАЛИНЯ И СЕРГЕЙ ДАВИДОВ
«РОДНИК», 1988, № 3, 1—80

50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА,

ПОЭЗИЯ,

КУЛЬТУРА,

ПУБЛИЦИСТИКА,

КРИТИКА

